

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
СЕКЦИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ РАН**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 41

Издается с сентября 1993 г.



**МОСКВА
2017**

ББК 83
Л 64

Главный редактор
А.Н. Николоюкин – д-р филол. наук

Редакция:
А.И. Чагин – д-р филол. наук (зам. главного редактора)
Е.А. Цурганова – канд. филол. наук,
Т.Г. Юрченко (ответственный секретарь)

Редакционный совет:
В.Н. Аношкина – д-р филол. наук, *И.Л. Волгин* – д-р филол. наук, *Н.В. Королёва* – д-р филол. наук, *О.А. Коростелёв* – канд. филол. наук, *Т.Н. Красавченко* – д-р филол. наук, *И.В. Логвинова* – канд. филол. наук, *А.Е. Махов* – д-р филол. наук, *В.Т. Олейник* – канд. филол. наук, *П.В. Палиевский* – д-р филол. наук, *А.Н. Сенкевич* – д-р филол. наук, *Л.В. Скворцов* – д-р филос. наук, *В.Н. Терёхина* – д-р филол. наук, *В.М. Толмачёв* – д-р филол. наук, *Е.П. Чельшев* – академик РАН

Литературоведческий журнал № 41: Науч. журн. / РАН.
Л 64 ИНИОН; Отд-ние ист.-филол. наук. Секция языка и лит.;
Гл. ред. Николоюкин А.Н. – М.: ИНИОН, 2017. – 328 с.

В журнале публикуются научные статьи по истории отечественной и зарубежной литературы, по теории литературы, а также хроника литературной жизни и библиография по литературоведению.

The Journal of Literary History publishes articles and essays on the history of Russian and foreign literature, theory of poetry, as well as literary chronicle and bibliography. The manuscripts are reviewed. The articles by postgraduates are published gratis.

Номер журнала приурочен к столетию событий в России 1917 г. Писатели и философы в течение десятилетий пытались осмыслить и объяснить их причины и последствия. Мифологизация событий 1917 г. получила отражение во многих произведениях отечественной и зарубежной литературы и критики.

Для литературоведов, культурологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Журнал входит в систему elibrary.ru

ББК 83

© Литературоведческий журнал, 2017. Научное издание

СОДЕРЖАНИЕ

1917 – СТОЛЕТИЕ – 2017

<i>Ю.С. Пивоваров. Русская Литература – Русская Революция</i>	7
<i>В.Л. Махлин. Русская революция как автобиография европейца</i>	48
<i>В.Л. Курабцев. 1917 год: Прорыв в будущее или катастрофа?</i>	63
<i>А.Н. Николюкин. Русские писатели о катастрофе 1917 года</i>	82
<i>В.Т. Олейник. «Предсказание» (1830) – пророчество или прогноз? (Проблема зла в творчестве Лермонтова)</i>	101
<i>Г.В. Хлебников. В.В. Розанов об апокалипсисе 1917 года</i>	125
<i>Е.М. Криволапова. Дневник М.О. Меньшикова 1918 года как свидетельство катастрофы России</i>	153
<i>Г.В. Хлебников. «Россия распятая» М.А. Волошина</i>	172
<i>С.Р. Федякин. Послесловие к 1917-му: (Еще раз о поэме Блока «Двенадцать»)</i>	186
<i>М.А. Юшкевич. Г.П. Федотов и революция</i>	213
<i>К.В. Душенко. «Лебединый стан» и легенда «Белой гвардии»</i>	222
<i>А.М. Ранчин. Блок, Мандельштам, Хлебников и Октябрьская революция: О подтекстах стихотворения Иосифа Бродского «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...»</i>	238
<i>И.А. Едошина. А.Н. Островский «по-советски»: Случай С.К. Шамбинаго</i>	250
<i>А.Н. Стрижёв, М.А. Бирюкова. Труды и дни проповедника Иоанна Восторгова</i>	263

Публикации

<i>Т.Н. Красавченко. Февральская революция глазами англичанина: Хью Уолпол</i>	270
<i>Хью Уолпол. Официальный отчет о Первой русской революции / Перевод с англ. и публикация Т.Н. Красавченко</i>	294

Из истории цитат

<i>К.В. Душенко. Все мы вышли из гоголевской «Шинели»</i>	319
---	-----

Заметки Кота Учёного

Кот Учёный о советском образовании	322
Пушкин и 100-летие 1917 года	324
Коротко об авторах	325

JOURNAL OF LITERARY HISTORY AND THEORY CONTENTS

1917 – CENTENNIUM – 2017

<i>Yu.S. Pivovarov</i> . Russian Literature – Russian Revolution	7
<i>V.L. Makhlin</i> . The Russian revolution as Autobiography of the European	48
<i>V.L. Kurabtsev</i> . 1917 year: Breach in the future or disaster?	63
<i>A.N. Nikolyukin</i> . Russian writers about the 1917 revolution catastrophe	82
<i>V.T. Oleynik</i> . «The Presage» (1830) – an oracle or a forecast? (Evil as the problem in the works of Lermontov)	101
<i>G.V. Khlebnikov</i> . V.V. Rozanov of the Apocalypse of 1917	125
<i>E.M. Krivolapova</i> . M.O. Menshikov's diary in 1918 as evidence of Russia catastrophe	153
<i>G.V. Khlebnikov</i> . M.A. Voloshin's «Russia Crucified»	172
<i>S.R. Fedyakin</i> . Afterword for 1917: (One more time about the Blok's poem «The Twelve»)	186
<i>M.A. Youshkevich</i> . G.P. Fedotov and the Russian revolution	213
<i>K.V. Dushenko</i> . «The demense of the swans» and the legend of the White movement	222
<i>A.M. Ranchin</i> . Alexander Blok, Osip Mandel'shtam, Velimir Khlebnikov and the October revolution: The literary subtext of the poem of Joseph Brodsky «I recognize this wind battering the limp grass...»	238
<i>I.A. Edoshina</i> . A.N. Ostrovsky «in a Soviet way»: S.K. Shambinago's case	250

<i>A.N. Strizhov, M.A. Biriukova. Archpriest Ioann Vostorgov:</i> His life and works	263
---	-----

Publications

<i>T.N. Krasavchenko. The February Revolution seen</i> by Hugh Walpole	270
<i>Hugh Walpole. Official account of the February revolution /</i> <i>Trans. from English a. publ. by T.N. Krasavchenko</i>	294

From the history of quotations

<i>K.V. Dushenko. «We are all from Gogol's Overcoat»</i>	319
--	-----

Notes of the Learned Cat

The Learned Cat on Soviet education	322
Pushkin and the centennium of the 1917	324
Author Index	325

1917 – СТОЛЕТИЕ – 2017

Ю.С. Пивоваров

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ*

Аннотация

В статье обсуждается тема соотношения Русской Литературы и Русской Революции. Литература признается одним из главных источников Революции, но и способом преодоления ее суицидальных последствий. Также рассматриваются «истоки и смысл» Революции, ее структура и периодизация. Особое внимание уделяется Февралю 1917 г. и его главным действующим лицам.

Ключевые слова: Русская Революция, Русская Литература, «лишние люди», имперсонализм, русский Гамлет, уроки Февраля, Литература как важнейшая креационистская сила русской истории и как сотериология.

Pivovarov Yu.S. Russian Literature – Russian Revolution

Summary. The article examines the correlation of Russian literature and Russian revolution. Literature is recognized as one of the main sources of the revolution and the way to overcome its suicidal consequences. «The origins and significance» of the revolution, its structure and periodization are also studied. Special attention is paid to February 1917 and to its protagonists.

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Исследование взаимоотношений власти и общества в России в ракурсе политической онтологии», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00008а).

*«Святая литература»
(о русской литературе)*

Томас Манн

*«Зверство»
(о революции и после нее)*
Борис Зайцев

I

* * *

Когда Александр Николаевич Николукин предложил мне написать статью о революции в «Литературоведческий журнал», я начал было отказываться. Мол, не специалист, не мой профиль. Однако, подумав, согласился. Да, не литературовед. Но Русская Литература и Русская Революция находятся в столь родственных отношениях... В каких? – Русская Революция вырвалась из чернильницы Русской Литературы. Или, иными словами, «русское просвещение стало русской революцией». Это в финале «Доктора Живаго» говорит один из главных персонажей романа. Уточню: русское просвещение и русская литература почти синонимы. Как и русская мысль и русская литература (Карамзин, Хомяков, Тютчев, Герцен, Чернышевский, Леонтьев, Достоевский, Толстой, Розанов, Мережковский и т.д.). Русская литература отчасти включает в себя и науку (великий стилист Ключевский, Тынянов, Шкловский и т.д.). То есть это – «наше всё».

Если согласиться с таким подходом, то тогда все очевидно – главное событие отечественной истории – Революция – вышло из недр этой «институции». А она-то сама откуда взялась? – Постараемся объяснить это, опираясь на концепцию «Русской Системы». В середине 90-х годов ее формулировали автор этого текста и А.И. Фурсов. Это была попытка найти адекватный язык для описания русской истории. «Система» состоит из трех элементов. Власть – Моносубъект нашей цивилизации. Популяция – население, лишенное субъектности (не народ, не нация). Лишний человек (понятно – заимствование из беллетристики) – не перемолотые Властью группы людей. До XVIII в. это – казачество, старoverы и т.п. После реформ Петра – европеизированное дворянство,

к которому в XIX в. подтягиваются разночинцы и представители некоторых других социальных отрядов.

Так вот Русская Литература и явилась главным делом Лишнего человека. Она стала способом выхода из треугольника Русской Системы, из моносубъектного мира. Попутно скажем, Система всегда бытовала в пространственном измерении, а не временном. Отсюда постоянные разрывы с прошлым, отсутствие преемственности как в ментальном, так и в вещественном (не устоялся институт наследственной собственности) смыслах. – Русская Литература – это создание виртуального полисубъектного (против моносубъектного) мира. Накопление социального и личностного времени (темпоральность против пространственности). Кстати, поэтому наш роман – роман-путешествие (темпорализация пространства), а не роман воспитания, как в Европе. Интересно и то, что Бальзак и многие другие пишут «роман удачи» (удача – интенция автора и героя), русский роман – «роман неудачи». Ни одного счастливого финала¹. Вместе с тем роман создает в России *privacu*, чего никогда в наличной истории не было.

В контексте нашей темы выделяю четыре важнейших качества Русской Литературы: креативность, пророчество, сотериологичность и... социологизм. Поговорим обо всем этом. О. Александр Шмеман, один из выдающихся мыслителей и проповедников прошлого века, духовник А.И. Солженицына, записал в своем «Дневнике» 5 ноября 1979 г.: «Мне вдруг стало ясно, что той России, которой служит, которую от “хулителей” защищает и к которой обращается Солженицын – что России этой *нет* и никогда не было. Он ее выдумывает, в сущности, именно *творит*. И творит “по своему образу и подобию”, сопряжением огромного творческого дара и... гордыни. Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию... Жажда пророчества и учительства восторжествовала в нем над “просто” писателем... *Сотериологический комплекс* русской литературы – Гоголь пишет нравственное руководство “тамбовской губернаторше”, Толстой создает религию. И даже Достоевский свое подлинное “пророчество” начинает путать с поучениями и проповедью»².

Продолжим мысль о. Александра Шмемана. Вот, скажем, гогаевские типы – Хлестаков, Чичиков, Коробочка, Ноздрев, Манилов, Собакевич и другие – пришли в Русский Дом и поселились

в нем навеки с «подачи» Николая Васильевича. До него их не было. То есть были, но не явленно, неосязаемо и незримо. Гоголь сказал: «Живите». И они зажили, задвигались, задышали. Пошли плодиться. И, конечно, мутировать. В редком русском человеке не найдешь одновременно Хлестакова, Манилова и Чичикова.

А ведь еще есть чеховские типы, «русские мальчики» Достоевского; все эти «лишние люди», «кающиеся дворяне», «замоскворецкие и поволжские купцы» и т.д. Наше общество с XIX в., когда возникла современная русская литература, состоит из людей, родившихся в воображении писателей. Обломов, Штольц, Онегин, Печорин, Чацкий, Рудин, Рахметов суть социологические категории, с помощью которых адекватно познается и описывается русская жизнь. Повторю: настоящая социология отечественного общества возможна на основе (и исходя из) этой типологии. Это касается и таких наук, как история, политология, экономика, право, философия. Они не представимы вне *той* России и *тех* русских, что созданы от Фонвизина до Зиновьева.

Надо подчеркнуть, что креативность и пророчества Русской Литературы обращены не только в будущее, но и – парадоксальным образом – в прошлое. И тогда это «придуманное» прошлое начинает определять будущее, складывать его по своим «чертежам». Невероятно!.. – Вот пример: Лев Толстой пишет «Войну и мир» и завершает созидание мифа «1812 год». Это один из основополагающих мифов отечественной культуры и истории (как у французов о Жанне). И для них он во много раз существеннее, важнее, чем сама героическая эпоха. Но, и это принципиально, Толстой именно «созидает» (создает). Что, кстати, не всегда вполне понимали даже проницательнейшие, умнейшие наблюдатели. Так, Петр Вяземский (кое-какие факты его биографии использованы в романе) и Константин Леонтьев (в нем жил неистребимый дух соперничества с великим графом) обвинили его в том, что персонажам 1812 г. приписан психический строй людей 60-х годов, современников Льва Николаевича. Будучи замечательно умными людьми, они «почему-то» не догадались, что «Война и мир» не про это...

Примечательно и мнение Ахматовой. По свидетельству Л.К. Чуковской, Анна Андреевна рассуждала следующим образом:

«Исторической стилизацией – стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени – он никогда не занимался. Высшее общество в “Войне и мире” изображено современное ему, а не александровское... При Александре... оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа, если бы он написал ее в соответствии с временем, – должна была бы знать пушкинские стихи. Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок: женщины Александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа»³.

И далее Ахматова делает вывод, «снимающий» раздражение Вяземского и Леонтьева. Она говорит, что Толстой был «полубог» и творил мир по своему образу и подобию («из себя и через себя»). Это – совершенно верно. Но Толстой, разумеется, не случайно не коснулся Пушкина и пушкинского в творимом им мифе. Ведь Александр Сергеевич сам по себе стал мифом – пушкинским; он мог быть только смысловым центром мифа и потому в «1812 год» не укладывался. Там центральное место было уже занято...

* * *

Это – поучительная история. В самом глубоком и широком контексте, который во многом образует тема «Русская Революция как порождение Русской Литературы», нельзя судить Толстого (и Пушкина, Гоголя, Достоевского и т.д.) как литераторов. Он действительно был «полубог», творец новой реальности (условно – мифа). Причем эта реальность, в свою очередь, порождала новые смыслы, новые типы личности («модальные», по терминологии социопсихологов⁴), новое восприятие жизни. Настоящее толстовство – это не то, что под этим названием вошло в мир. Толстовство есть совокупность, целостность и цельность созданных им мифов (помимо «1812 года» были и другие). И *это* толстовство является важнейшей движущей силой русской истории. Силой, повторю, смыслообразующей и преобразующей социоисторическую, социопсихическую и личностную «материю».

Иной тип мифотворчества и мифотворца представляет собой Н.М. Карамзин⁵. Это «пророк», обращенный в прошлое, нередко далекое. Он «предсказывает» то, что было. И его предсказания сбываются. Для всякого русского русская история – карамзинская. Даже если мы не читали Карамзина, даже если мы читали современных исследователей, опровергающих Николая Михайловича. Какое нам до этого дело! Карамзинский миф по поводу России и ее истории столь же конститутивен для русского сознания, как «дураки», «дороги», «зима, Барклай иль русский бог», «татаро-монгольское иго», «Петр», «Минин и Пожарский», «за державу обидно» и т.д. Его ретроспективное пророчество и мифология легли в основу «Русского Дома», в котором, несмотря ни на что мы и поныне обитаем. Его опасения по поводу радикальных преобразований в России XIX в. полностью сбылись в XX в.

Ф.М. Достоевский – это мифотворчество по поводу будущего. «Бесами» и «Карамазовыми» он просто «запланировал» русскую революцию. Это – общее место, это признали все. Порою кажется, что персонажи Семнадцатого года были порождением его воображения. Вплоть до физического сходства, до ситуативных повторов... Ну а тема отцеубийства, отцовства вообще, артикулированная Федором Михайловичем и одновременно проходящая через его собственную жизнь. Учеба в Инженерном училище, расположенном в Михайловском замке, где все вопиет (летом даже канавка, ведущая к большой воде, кажется, наполнена кровью; понятно – это живущие в ней йодистые растения; но – символично) об убийстве отца с ведома детей (Павел – Александр, Константин), убийство отца (врача М. Достоевского) будущего писателя (крестьяне-дети против помещика-отца), убийство Карамазовыми – сыновьями Федора Павловича, смерть Верховенского – старшего как (во многом) следствие деяний сына Петруши (опосредованное убийство), убийство Александра II (царя-отца) подданными (детьми), до которого Достоевский не дожил всего несколько дней, – однако воздух последних лет его жизни был пропитан запахом царской (отеческой) крови. И незадолго до кончины двусмысленный разговор с К.П. Победоносцевым: донес ли бы Федор Михайлович, если бы знал о готовящемся покушении на императора (отца). И мучительный ответ: нет.

Вообще эта тема, к сожалению, оказалась невероятно актуальной. Как будто проклятием она легла с нелегкой руки «омского каторжанина» (Ахматова о Достоевском) на русскую историю. Убийство Николая II стало эпилогом в чреде насильственных или странных смертей Романовых. Судите сами: помимо последнего венценосца умерщвлены Петр III, Павел I, Александр II; при не вполне ясных обстоятельствах кончили жизни Петр I, Александр I, Николай I. При этом расстрел в Ипатьевском доме стал кровавым прологом для красных вождей. Троцкий – убит. Убежден, если не в деталях, то по сути А. Авторханов в своей книге «Убийство Сталина» прав. Берия, Маленков, Хрущёв может, «впрямую» и не убивали отца народов, но эффективно помогли ему закончить свои дни. Да ведь и Политбюро (дети), отправив Ильича (отца) под домашний арест в Горки, вычеркнули его из политической жизни. Для Ленина это означало переход в небытие.

* * *

И еще вдогонку о креативности литературы и революции. Толстой выдумал Лёвина, и в марте 1917 г. он стал премьер-министром (министром-председателем) первого состава Временного правительства. Это был князь Георгий Евгеньевич Львов (Рюрикович, как и Лев Николаевич). Великий писатель, несмотря на разницу лет (33 года), хорошо знал великого земца. И дело здесь не в том, что он списал Лёвина со Львова. Это было невозможно именно из-за возрастного несовпадения (да и вообще так не делается). Напротив, нарисовав Константина Лёвина, Толстой «придумал» князя Георгия Евгеньевича. Кстати, в эмиграции Львов «оправдал» творческую фантазию своего литературного отца. Подобно Лёвину (Толстому) опростился, работал сезонным рабочим у зажиточных крестьян Подпарижья, тачал обувь, шил дамские сумочки – с этого и жил. Земского денежного запаса, к счастью, спасенного от большевиков, не трогал (на себя ни копейки), только в помощь нищенствующим эмигрантам. Львов – полностью реализованный Лёвин (иногда мне приходит крамольная мысль: отчего Толстой не создал героя типа Дурново, Столыпина, Крыжановского (не путать этого замечательного деятеля с ленинским дружкой), Поливанова и др.?)

Но и второй министр-председатель – Александр Федорович Керенский, потомственный дворянин, присяжный поверенный, депутат Государственной Думы – тоже выдумка литературы⁶. Здесь многие поработали: Тургенев, Достоевский, Чехов, Блок, Ал.Н. Толстой и др. Он прожил свою жизнь, как Рудин. Стопроцентный «лишний человек». Никому не нужный – ни эмигрантской России, ни советско-постсоветской, ни диссидентам, ни Западу. Во всем и перед всеми виноватый. Старший Верховенский. Рыцарь Прекрасной Дамы, оказавшейся Катькой из «Двенадцати» (шоколад «Миньон» жрала).

Чтобы понять, *чем* был Февраль, кем был Керенский, обратимся к свидетельствам двух замечательных русских людей – знаконца Александра Федоровича Исаака Бабеля и эмигранта Николая Осипова (умер в 1963 г.). У первого есть акварельный рассказ «Линия и цвет». Великих стилистов пересказывать нельзя... Но попробую хотя бы сюжет. Бабель познакомился с Керенским 20 декабря 1916 г. (по ст. стилю) в санатории Оллила (Финляндия, тогда особая часть Империи). Они гуляли в лесу, и вдруг писатель понял, что Керенский близорук и ничего толком не видит. Посоветовал ему купить очки. На что будущий премьер возразил: зачем? я вижу цвета, мне не нужны линии.

«А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого, когда он был верховным главнокомандующим и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России – матери и жене. Толпа удушила его овчинами своих страстей. Что увидел в ошестинившихся овчинах он – единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим никакой надежды:

– Товарищи и братья...»⁷

Помните «Бесы»? Это репортаж из последовавшей истории.

А вот Николай Осипов, младший современник Керенского и Революции. Но это все о нем, «лишнем человеке», «Рудине». «Революция, отнюдь не социалистическая по своим намерениям,

оказалась в распоряжении социалистов. Они творили чужое дело, отчего сами не были в восторге. Были они люди благонамеренные, и если судить по их намерениям, то их право если не на золотую, то на серебряную медаль неоспоримо. Их принципы были прямолинейно демократическими; *они были платоническими любовниками демократии безвоздушного пространства* (выделено мною. – Ю. П.). Руки, поднявшие грандиозное дело, были слабы и неумелы»⁸.

Точнее не скажешь. А к Александру Федоровичу еще вернемся...

* * *

В начале этого текста мы уже говорили: Русская Литература создала альтернативную (наличной) «Вселенную». Там было так, как мечталось, там был мир, к которому стремились. Я называю это виртуальной цивилизацией Лишнего Человека (по терминологии Русской Системы). Роль Церкви была отдана Литературе. Огромным влиянием пользовались «светские старцы» (Карамзин, Гоголь, Достоевский, Толстой; отчасти это продолжилось в советское время – Горький, Солженицын), которые учили жить и власть, и общество. Существовали и цари – «властители дум» (Герцен, Чернышевский), парламенты – «толстые журналы», «государственное тело» – университеты, салоны.

Главным субъектом этого мира являлся классический лишний человек. Литература создала его во многих вариантах. Во второй половине XIX в. они шагнули в революцию, которая тогда уже разворачивалась в стране (объясним это утверждение позже). То есть из субъекта альтернативного универсума они стали субъектом Русской Революции. (Когда уже *все* произойдет и наступит эпоха «зверства», Б. Пастернак подытожит в «Высокой болезни» (1923): «А сзади, в зареве легенд, / Дурак, герой, интеллигент / В окне декретов и реклам / Горел во славу темной силы, / Что потихоньку по углам / Его с усмешкой поносила / За подвиг, если не за то, / Что дважды два не сразу сто, / А сзади, в зареве легенд / Идеалист-интеллигент / Печатал и писал плакаты / Про радость своего заката».)

Кстати, откуда взялся этот Лишний? Литературной «Вселенной» был необходим образ, вокруг которого она могла бы построиться. Так возник Лишний человек. Еще раз: в нескольких вариантах («модальные личности»). Среди них были очень сильные претенденты, но по разным причинам конкурса не прошли (скажем, Обломову не хватало социально-исторического динамизма, а эпоха уже требовала этого; Печорин оказался слишком аристократически-асоциальным и т.д.). Пожалуй, наиболее вероятным победителем мог стать образ русского Христа (эту задачу ставил Достоевский), но реальная, наличная история взорвала эту великую надежду Русской Литературы. – Генетически связанный с нею образ революционера (связанный и по негативу, как отрицание, и, как – на первый взгляд, неожиданно – продолжение, и как – что уж совсем трудно представить – продолжение, «запрограммированное» самим образом русского Христа⁹) тоже провалился. Русская Революция показала всю утопически-мифологическую природу этого «идеального типа» (М. Вебер). Впрочем, и русский Христос был – по-своему – не менее измышленным и «придуманным».

Революция и несколько десятилетий после нее стали расплатой за эти «мечтания» и эту безответственность. Но – одновременно – как снятие (гегелевское «die Aufhebung») и преодоление породили новый русский тип, новую русскую модальную личность. Это – русский Гамлет. Образ не утопически-мифологизированный, а глубоко метафизический, действенный (Юрий Живаго¹⁰, Григорий Мелихов, Глеб Нержин и т.д.). Когда-то Герцен заметил, что Пушкин – это ответ России Петру. Можно сказать, что русский Гамлет – это ответ Ленину. Ибо Ленин, как многие, даже в эмиграции, считали, был выдвинут историей в наследники Русской Литературы. В этом отношении русский Гамлет не только шаг вперед по сравнению с русским Христом и русским революционером, но и преодоление Ленина, объявление его «самозванцем», не имеющим законных прав на наследство.

* * *

Здесь впору вспомнить о сотериологическом «качестве» Русской Литературы. Отец Александр Шмеман полагал, что в этом

«измерении» достижения поэзии больше, чем прозы. Возможно. Вообще-то сотериология означает спасение. Поэзия спасла (в религиозном, социальном, эстетическом смыслах) Россию. Современное русское богословие – поэзия. Как икона в допетровские времена. Богословие – это прославление Бога, Богочеловека. Это слово о Боге и Богочеловеке. Это – следование за Христом, это то, что в протестантизме называют *die Nachfolge*.

Русская поэзия сохранила и преумножила Богочеловеческое в русских душах. «Смертью смерть поправ». Она не убоялась умереть за «други своя» и свою бессмертную душу и превзошла коммунистическое «ничто», а значит, и Русскую Революцию. – Кто читал русскую поэзию XX в., кто воспитан ею, кто не выучивая наизусть, говорит ее языком (духом), тот – спасен. Тому не страшен никакой коммунизм, фашизм и т.п. Русская поэзия XX в. – опора для всех, кто выбирает добро, нормальность, любовь, что и есть спасение, доступное нам.

Кстати, и в формальном отношении поэзия XX в. взяла на себя функцию спасения. Нередко стихи заменяли молитву (запрещенную; да и многие уже не знали их). От фронтовиков не раз слышал, что «Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» К. Симонова читались, шептались по-молитвенному. Того же рода признания от интеллигентов 60–70-х годов: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой» Б. Окуджавы – молитва поколения, лишенного нормального религиозного опыта. Примеры можно множить. – А вот в XIX в. русская поэзия в основном пародировала молитву. С детства помню лермонтовское: «Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня, от маршировки меня избавь, в парадировки меня не ставь...» Хотя, конечно, были и исключения. Одно из них Иван Саввич Никитин. Но читали ли его?..

Скажем и о сотериологическом содержании прозы пореволюционного времени. Здесь не поддающуюся оценке роль сыграл «Доктор Живаго» (может быть, «Спекторский» эстетически сильнее и новее, но в историческом смысле менее животворен). Вообще-то, как теперь это совершенно ясно, Пастернак писал его всю жизнь, начиная еще с поэтических и прозаических опытов десятых годов (конечно, не будь Революции, мы ничего бы этого не имели). Писать-то писал, *написать* смог лишь после Отечественной

войны, которая открыла возможности для русской самоэмансипации¹¹. Ведь и у него, как у всех наших главных выразителей, всё по Пушкину – «и неподкупный голос мой / был эхом русского народа». Русские вновь обрели голос, когда затравленные и травящие друг друга массы стали возвращаться в состояние «народ», когда запуганный и пугающий всё и вся обыватель («проваренный в чистках предатель» – Мандельштам) стал возвращаться в состояние «человек». Что это такое, объяснил сам Борис Леонидович: «Жить и сгорать у всех в обычае, / Но жизнь тогда лишь обес-смертишь, / Когда ей к свету и величию / Своею жертвой путь прочертишь». – *Своею*, а не классового врага, не «низшей» расы, не политического оппонента. И голос Пастернака стал эхом этого нового русского народа.

Главное в «Докторе...» не литература (она, как всегда у этого человека, гениальна и непревзойденна; интонации и ритм прозы и стихов единственные в мировом искусстве; и чего уж вообще никогда ни у кого не было (кроме Пушкина) – атмосфера, и материальная, и духовная одновременно, – подобно кванту, и «материя», и «волна», – которая будто заключена в тексте, окутывает его, располагается между слов, букв, на полях, которая, как паузы у актеров, – важнейшее из того, что они могут сказать (внешне, слухово – не сказать); и эта атмосфера в процессе чтения вырывается из текста, межтекстъя белых островков и побережий страниц и заполняет то пространство, в котором ты существуешь), но – *христианство*. И вот в каком смысле.

Все мы знаем зацитированные слова Г.В. Федотова: «Капитанская дочка» самое христианское произведение русской литературы. Верно. Именно это пушкинское, а не мучительные попытки Федора Михайловича «явить миру образ русского Христа», не моральные искания зрело-позднего Толстого, не славянофильская утопия «Святой Руси». Конечно, все это вместе «работало» в России XIX в., отчасти даже в XX в. – в несчастной Эсэсэсэрии. Но необходимо было нечто иное и новое, сказанное *современным* (во всех отношениях) голосом. В *этом* смысле «Доктор...» подобен «Капитанской дочке», христианство которой не в (гениальном) выдумывании князя Льва Николаевича Мышкина, не в (гениальных) сценах «Братьев...» и «Бесов», не в (гениальной) диалектике духовного восхождения «Преступления...», не в толстовском

«Возмездие аз воздам» и Нехлюдове «Воскресения» (может быть, в обоих случаях лучшей мировой прозе), а в естественной, простой, свободной атмосфере, при всем ужасе и безобразии описываемого. «Капитанская дочка» и «Доктор Живаго» и вправду «евангельские» тексты. И потому могучие (помните, когда Ахматова узнала о романе: «могучая евангельская старость / и тот горчайший Гефсиманский вздох»). Атмосфера «Капитанской дочки» позволила русскому человеку (к сожалению, только из культурно-привилегированной среды) в XIX столетии строить приемлемое общество, минимизировать рабство, варварство, насилие, творить. Все это унаследовал «Доктор...» в совершенно новых формах и тонах. Это стало преодолением лжи Русской Революции и ответом России граждан на поражение Деникина, Колчака, Врангеля и др. в Гражданской войне.

Но, конечно, не один «Доктор...». Платонов, Булгаков, Зощенко, проза Мандельштама и Цветаевой, Гроссман, Солженицын, Шаламов и многие другие (когда начинаешь перечислять, дух от счастья захватывает).

* * *

Теперь изменим русло нашего разговора. Причем, как мне кажется, в сторону несколько неожиданную. Однако без этого понимание темы «Русская Литература – Русская Революция» будет далеко не полным. Речь пойдет о том, *как* и *почему*, создав тип «лишнего человека», модальной личности альтернативной «Вселенной», литература сразу же взялась за его уничтожение и достигла успеха. – Кстати, этот успех был юридически оформлен в первой советской Конституции (июль 1918 г.). Лишние люди образовали в ней категорию «лишенцы». Впервые в юридической истории появилась социальная группа, которой был присвоен каталог запретов. То есть ее наделили не объемом определенных прав, но – бесправья («нельзя», «запрещается», «не разрешается» и т.д.).

Итак, образ «лишнего человека», скажем в который раз, – центральный в диспозиции культуры «золотого века» нашей истории – XIX (говоря языком Карла Ясперса, русское «осевое время»). И как только «лишний» явился на свет, Литература принялась

изживать его. Подобно Тарасу Бульбе, убивающему своего сына Андрия («я тебя породил, я тебя и убью»; а ведь этот гарный хлопец – Андрий, не Гоголь – был тоже «лишний человек»). Контрнаступление начал «проклятый хохол» (Розанов о Гоголе: «Ты победил, проклятый хохол» – так Василий Васильевич приветствовал Великий Октябрь). На Чацкого, Онегина, Печорина он обрушил «мертвые души», свинские рожи. Ими, этими «мертвяками», покрылась вся Русь. Как снегом засыпало. А затем явился умелец покруче – Лев Толстой. Заставив весь мир «плакать» над образами своих «лишних» (Андрей – тоже Андрий, Пьер, Анна Каренина, Лёвин, Нехлюдов и др.), утопил их затем в народности (да-да, той самой, уваровской; хотя впервые это слово произнес князь П.А. Вяземский).

У Чехова же от «лишних людей» остались болезнь, серость, безысходность. «Чеховский интеллигент» – это ведь то, чего боялся Константин Леонтьев. Это – «средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». Это – «вторичное смесительное упрощение» или «упростительное смешение». Это – унылое и беспросветное существование...

Но эпоха подлинного имперсонализма настанет после 1917 г. Маяковский: «Единица! Кому она нужна?! Голос единицы / Тоньше писка / ...Единица – вздор / Единица – ноль» и т.д. Единичность, индивидуальное отрицается во имя «Мы» – не «Я», но «МЫ». Схожее мы обнаруживаем у Замятина – «ВСЕ» и «Я» – это единое «МЫ», «МЫ» от Бога, а «Я» от дьявола (другое дело, что Евгений Иванович сам так не думал, он «отражал» новую реальность). Ну и, конечно, Платонов («Котлован», «Чевенгур» и пр.). О нем точно сказал Бродский: «Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего». Мир Платонова – это «неодушевленная масса», без истории и времени, «фиктивный мир», «бытие в тупике» (а соединив Бродского с Дмитрием Галковским, одним из лучших отечественных писателей нашего времени, получим – «бытие в бесконечном тупике»; не правда ли хорошая метафора для победившего в ходе Революции и строительства тоталитарной диктатуры имперсонализма?).

Все это было характерно и для многих других больших литераторов той эпохи: Блока («Скифы», «Двенадцать»), поздних

Мандельштама и Цветаевой (имперсонализм Блока, скорее, мировоззренческий, а у этих двоих – выразившийся в новой поэтике), Хлебникова, раннего Заболоцкого. То, что процесс самоликвидации человека в первые четыре десятилетия XX в. зашел в литературу за все мыслимые пределы, доказывает поведение Пастернака (это не отменяет того, что мы о нем говорили). Он, с горечью и любовью (при этом немного сверху вниз) укорявший Маяковского за предательство поэзии, за то, что тот опустил до «трагедий ВСНХ» (т.е. упрекал за отречение от человека, личности в пользу обезличенности, «массовидности» – одно из словечек Ленина), он, навзрыд рыдавший над телом друга и вроде бы понимавший гибельность такого пути, уже через год весело скажет: «Весь я рад сойти на нет / в революционной воле». Слава Богу, с ним этого не произошло. Но и ему не удалось избежать тенденции расчеловечения (правда, в том же 31-м дописан «Спекторский»...).

* * *

В чем же здесь дело? Что происходило с лучшими русскими людьми? – За помощью и объяснениями обратимся к Семену Людвиговичу Франку (1877–1950), который все более и более выбирается из-за спин Бердяева, С. Булгакова и др. А его лицо все более и более становится лицом русской философии. Впрочем, еще много десятилетий назад крупнейший историк отечественной мысли и сам перворядный мыслитель В.В. Зеньковский назвал его «самым выдающимся русским философом вообще»¹², а его «систему... самым значительным и глубоким, что мы находим в развитии русской философии»¹³, «высшей точкой развития русской философии вообще»¹⁴.

Около 1925 г. (в эмиграции) Франк пишет две принципиально важные (и для нашей темы тоже) работы – «Сущность и ведущие мотивы русской философии» и «Русское мировоззрение». Пишет по-немецки (это не ново: Чаадаев и В.С. Соловьев по-французски). И для немцев. С целью объяснить и объясниться. И с надеждой на понимание. Которое тогда русские люди на Западе нередко находили. К примеру, у высокоценимого Семеном Людвиговичем Макса Шелера.

Что же такое говорит в этих работах Франк? Вкратце: «...Русским мыслителям совершенно чуждо представление о замкнутой на себе самой индивидуальной личностной сфере. Их основной мотив – связь всех индивидуальных душ, всех “Я” так, что они выступают интегрированными частями **сверхиндивидуального целого**, образуя **субстанциальное “Мы”**». Как бы ни было велико влияние лейбницевской монадологии на отдельных русских мыслителей, все они отвергали учение о закрытости и изолированности монад. Вопреки Лейбницу они полагали, что монады не только взаимодействуют между собой, не только связаны с Богом и миром, но и обладают собственным бытием только в такой взаимной связи. Русскому мировоззрению свойственно древнее представление об органической структуре духовного мира, имевшееся в раннем христианстве и платонизме. Согласно этому взгляду, каждая личность является звеном живого целого, а разделенность личностей между собой только кажущаяся. Это напоминает листья на дереве, связь между которыми не является чисто внешней или случайной; вся их жизнь зависит от соков, полученных от ствола. Проникая во все листья сразу, эти соки внутренне связывают их между собой»¹⁵.

Такой «сверхиндивидуальный», органицистический подход позволяет ему сделать заключение: «Русское рассмотрение человеческого духа в социальной и исторической философии... выступило как религиозная этика коллективного человечества»¹⁶. Разумеется, этому «коллективному человечеству» противостоит «человечество индивидуальное». «...Русская философия резко противоположна западноевропейской... Западное мировоззрение исходит из “Я”; индивидуалистический персонализм соответствует его идеализму. “Я”, индивидуальное сознающее бытие или вообще составляет единственное и последнее основание всего прочего, или являет собой... своевольную и самодовольную, на себе замкнутую и от всего остального независимую сущность. “Я” выступает единственной метафизической точкой жизни, единственным звеном, соединяющим жизнь и бытие; личность обладает последней реальностью только в глубине замкнутого на себе и непроницаемого для других “Я”»¹⁷.

Далее, отталкиваясь от «индивидуалистического персонализма» Запада, Франк весьма ярко обрисовывает «соборный пер-

сонализм» России, русскую социологию соборности. «...Русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию “МЫ” или “МЫ-философию”. Для нее последнее основание жизни духа и его сущности образуется “МЫ”, а не “Я”. “МЫ” мыслится не как внешнее единство большинства “Я”, только потом приходящее к синтезу, а как первичное... неразложимое единство, из лона которого только и вырастает “Я” и посредством которого это “Я” становится возможно. “Я” и “ТЫ”, мое сознание и сознание, чуждое мне, мне противостоящее и со мной связанное, оба они образуют интегрированные, неотделимые части первичного целого – “МЫ”. И не только каждое “Я”, связанное и соотнесенное с “МЫ”, содержится в этом первичном целом. Можно утверждать, что в каждом “Я” внутренне содержится “МЫ”, потому что **“МЫ” образует последний опорный пункт, глубочайший корень и внутренний носитель “Я”**. Коротко говоря, “МЫ” является органическим целым, т.е. таким единством, в котором его части тесно с ним связаны, им пронизаны. “МЫ” полностью присутствует в своих частях, как их внутренняя жизнь и сущность. Но “Я” в его свободе и своеобразии этим не отрицается. Только своеобразие и свобода “Я” образованы такой связью с целым, жизненность “Я” создается сверхиндивидуальной целостностью человечества»¹⁸.

Вот и получается, что русский имперсонализм от Гоголя до Платонова имеет глубочайшие онтологические корни. Он не случаен, философски запечатлен Франком, а литературно – нашей великой словесностью. В этом (и в этом тоже) и истоки и смысл Русской Революции.

Думаю, что решающую победу (слава Богу, «решающую» на время, на несколько лет) над «Я» «МЫ» одержали в «Климе Самгине». В этом смысле это главный роман ушедшего века. Как «Евгений Онегин» – ему предшествовавшего. Недаром между ними сто лет. Вот в эту сотню все у нас и уложилось. И поразительно то, что между пунктом отправления и пунктом прибытия так много схожего. Онегин и Самгин, с определенной точки зрения, самые близкие в русской литературе персонажи. У них общая трагедия (судьба) – им невыносимо бремя человека, бремя личности. И то и другое – опыт гениального отчаяния, опыт невозможности *быть*. Прямо по Цветаевой: «Жизнь это место, где жить нельзя», или по

Рильке: «Невозможность жизни и страдание». Анна Ахматова говорила о Кафке: «Это про меня».

Скажу и я: «Онегин» и «Самгин» тоже «про меня». Про невозможность человека на Руси. Но здесь сходство Пушкина и Горького заканчивается. Онегин становится самым трагическим «лишним человеком», а Самгин растворяется в массе, в «МЫ», причем самым страшным способом. Вспомним финал романа: Алексей Максимович не успел дописать его, остались наброски, однако совершенно убедительные – ясно, о чем идет речь. – Встреча Ленина на Финляндском вокзале, вокруг броневика толпа, «тесная, как единое тело...» Он сразу «как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней». Горький показывает: сила Ленина во вращении в единое тело массы, растворении в ней.

А вот как описывается гибель последнего «лишнего человека» Клима Ивановича Самгина.

«Финал.

Широколицая женщина в клетчатой юбке, в черной кофте, перевязанной накрест красной лентой, в красном платке на рыжеватых волосах, шагая рядом с мужиком без шапки и лысоватым, счастливо улыбаясь, смотрела в его кругло открытый, ошетилившийся рот.

Мужик грозно пел:

Отр[ежемся...]

Конец.

– Уйди! Уйди, с дороги, таракан. И – эх, тар-ракан!

Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот...

Ревел густым басом:

– Делай свое дело, делай!

– Порядок, товарищи, пор-рядок. Порядка хотите. Мешок костей.

С[амгин]

Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.

Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает.

Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это, тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку».

Всё: «Я» утоплено в кровавом «МЫ». Только что живой «Я» – Клим Самгин превращается в «МЫ» – массу его останков. По метафорике смерти одна из самых сильных сцен мировой литературы.

Представляете, какой подвиг совершила Русская Литература (от Пастернака до Солженицына), преодолев «МЫ»-Революцию, вышедшую – во многом – из органики почвы.

II

* * *

Теперь поговорим о Революции. Точнее, о ее главном событии – Феврале. Именно это вышло из чернильницы Русской Литературы. Да, конечно, и Октябрь, и его деятели тоже оттуда. Но, так сказать, по негативу. Февраль же – исполнение всего того, что наша Литература и создавала, и страстно желала.

Кстати, пора уже начать писать книгу с названием «Уроки Февраля». Помните: «Уроки Октября» Льва Троцкого?

Что же такое Февраль? Наши современники практически солидарны в том, что это – ошибка, преступление, самоубийство, предательство и т.п. Война худо-бедно шла к концу, при всех опасениях и усталости победа была не за горами. А здесь нож в спину стране. Развязываются страшные стихии, верх берут разлад и распад, деструкция и безответственность. Как на дрожжах растут сепаратистские настроения.

Увы, все это правда. Хотя очень горько это признавать. – Но что же произошло? – Для серьезного ответа необходимо...

* * *

...Обратиться к истокам и смыслу революции.

Понятно, что эти слова заимствованы у Н.А. Бердяева (знаменитые «Истоки и смысл русского коммунизма»). Но Русская Революция – явление гораздо более глубокое, широкое, сложное, чем русский коммунизм. Последний, при всем его, как говорили раньше, всемирно-историческом значении, «лишь» одна из нескольких составляющих Русской Революции.

Русская Революция – это не 1917 г. с его двумя революциями: Февральской и Октябрьской. Это и не 1905–1907 гг. плюс 1917 г. То есть это не совокупность даже трех революций, хотя все они – важнейшие ее события. Русская Революция – это историческая эпоха примерно между 1860 и 1930 гг. Это – 70 лет, жизнь человека, жизнь поколения. Она началась реформами Александра II и закончилась победой Сталина и сталинцев во внутрипартийной борьбе, сворачиванием НЭПа и коллективизацией. **Русская Революция – это период русской истории между отменой Крепостного Порядка и установлением Второго Крепостного Порядка большевиков (ВКП(б)).**

Имея в виду грандиозные изменения, которые происходили в России в 60–80-е годы XIX в., Ф. Энгельс в 1893 г. говорил: «Освобождение крестьян в 1861 г. и связанное с ним – отчасти как причина, а отчасти как следствие – развитие крупной промышленности ввергли эту самую неподвижную из всех стран, это европейский Китай, в **экономическую и социальную революцию**» (выделено мною. – Ю. П.)¹⁹. Добавим: это было также революцией в социальной психологии и массовой ментальности. В начале XX столетия революция обрела политическое измерение. Таким образом, она носила универсальный (для русского общества) характер. (Не упустим и ее правового среза.)

Содержанием и целью Русской Революции была эмансипация общества и индивида. К весне 1917 г. эта цель была достигнута (какой ценой – и этот вопрос принципиальный – скажем позже). После этой победы движение повернулось вспять, в сторону восстановления рабства. Говоря красиво, Семнадцатый был пиком – русская история взлетела к свободе и, не удержавшись, рухнула вниз.

И все-таки: о русских революциях в Русской Революции. **Одно из больших исторических заблуждений (как современников, так и нас, потомков) заключается в том, что революция 1905–1907 гг. квалифицируется как «неудачная», «незаконченная»;** рассматривается как «репетиция», «прелюдия» к 1917 г., т.е. настоящей революции. – С моей же точки зрения, эта революция, во-первых, была успешной (насколько вообще революция может быть успешной; ведь это всегда трагедия). Во-вторых, нормальной, вполне сопоставимой с некоторыми европейскими револю-

циями, скажем, – 1848–1849 гг. Причем сопоставимой и по характеру, и по интенсивности протекания, и по результатам.

Главная удача революции 1905–1907 гг. заключалась в том, что она завершилась компромиссом между властью и обществом, а не победой одной из этих двух сил. Результатом этого компромисса стали Конституция 23 апреля 1906 г., широкая политическая реформа и столыпинское преобразование страны.

При этом все составляющие успешного результата революции не были случайными. За каждой из них стояла своя история, своя «подготовка». Конституция подвела итог более чем столетнего – когда осмысленного, когда «инстинктивного» – продвижения России от Самовластия к конституционной и ограниченной монархии. Выдающийся правовед и историк, эмигрант В. Леонтович писал: «...Конституция от 23 апреля 1906 года представляла собой правовые рамки, в которых... можно было достичь политической цели, так долго остававшейся недостижимой и состоявшей в том, что монархия принимала либерализм как свою программу, а общественность сотрудничала с традиционными силами монархии при проведении в жизнь этой программы и даже находила какое-то внутреннее единство с этими силами»²⁰. О том же раньше говорил и В. Маклаков: «В России были тогда две силы. Была историческая власть с большим запасом знаний и опыта, но которая уже не могла править одна. Было общество, много правильно понимавшее, полное хороших намерений, но не умевшее управлять ничем, даже собой. Спасение России было в примирении и союзе этих двух сил, в их совместной и согласованной работе. Конституция 1906 года – и в этом ее основная идея – не только давала возможность такой работы, но делала ее обязательной. Идти вперед, менять можно было только при обоюдном согласии. Соглашение между двумя политическими силами сделано было необходимым условием государственной жизни»²¹.

Иными словами, Конституция 23 июня 1906 г. создала самые благоприятные условия для продвижения России к более совершенному состоянию. Это был в высшей степени взаимовыгодный компромисс власти и общества.

Широкая политическая реформа означала признание за большей частью подданных империи политических прав и допуск их к управлению (и здесь было продолжено более чем вековое

дело). Столыпинский же план предполагал фундаментальное изменение социальных, экономических и правовых условий жизни русского народа. То есть он не сводился только к решению крестьянского вопроса (хотя это и было сердцевиной), но затрагивал страну в целом, во всех ее измерениях.

6 марта 1907 г. П.А. Столыпин выступил с большой речью в Думе. В ней сформулировал программу коренных преобразований русского социума. Она «представляла собой одно из самых решительных наступлений либерализма во всей русской истории»²². Эта программа стала основой правительственной политики вплоть до начала войны (после убийства Петра Аркадьевича ее продолжил В.Н. Коковцев). Приведем ее основные положения: 1) **религиозная терпимость и свобода совести** – были разработаны процедуры перехода из одного вероисповедания в другое, а также создания новых религиозных общин; устранялись все правовые ограничения, связанные с вероисповеданием; 2) **неприкосновенность личности** – арест, обыск и цензура корреспонденции могли иметь место только на основании судебного постановления; в случае полицейского ареста законность его должна быть проверена судом в течение 24 часов; предварительное расследование по политическим преступлениям проводят не жандармские офицеры, а судебные следователи; адвокат допускается к подзащитному уже во время предварительного следствия; предполагалось существенно изменить уголовно-процессуальный порядок, привести его в соответствие с «европейским стандартом»; 3) **совершенствование системы самоуправления** – создание нецензовых земств в волостях, расширение права голоса на земских выборах, придание земствам новых функций, ограничение надзора административных органов за деятельностью органов самоуправления; 4) **административная реформа** – создание целостной системы гражданской администрации; организация административных судов; 5) **аграрная реформа**; 6) **трудовое законодательство** – введение различных видов страхования, узаконение экономических забастовок; 7) **народное просвещение**.

В этот день П.А. Столыпин говорил в Думе: «В основу всех правительственных законопроектов... положена... общая руководящая мысль, которую правительство будет проводить и во всей своей последующей деятельности. Мысль эта – создать те

материальные нормы, в которые должны воплотиться новые правоотношения, вытекающие из всех реформ последнего царствования. Преобразованное... отечество наше должно превратиться в государство правовое... Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном законе еще и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности, государственности и... старыми установлениями и законами, находящимися с ними в противоречии»²³. Таким образом, им подчеркивалось: возникающие как результат реформ правоотношения будут иметь в соответствующих законах защиту от любой попытки их нарушения, в том числе и со стороны власти. Кроме того, П.А. Столыпин имел в виду следующее: новое законодательство необходимо для того, чтобы отменить старые установления и законы, противоречащие конституционному строю, к которому перешла Россия. Иначе говоря, им ставилась задача согласования всего правопорядка страны с Основными законами в редакции 23 апреля 1906 г.

Да, эта революция была удачной! Кстати, еще и потому, что ни власть, ни общество не «взорвали» народ. Народный мир, пережив волнения и повышенное напряжение, все-таки устоял, сохранил равновесие.

* * *

Что касается Февральской революции, то она могла быть и могла не быть. В отличие от революции 1905–1907 гг. эта не была исторически «запрограммирована». Более того, даже состоявшись, имела возможности развиваться иначе. А Октябрьская – нет.

Почему же произошла Февральская революция? – Ставя этот вопрос, мы имеем в виду не влияние войны (а оно было; и было одной из причин революции), неэффективные, а порой безответственные действия властей (включая Николая II), не «заговор» военных, не недалёковидность и (тоже) безответственность «общественников», не стечение обстоятельств (снежная зима, затруднения в подвозе к Петрограду хлеба, очень холодная погода с внезапным к концу февраля – началу марта потеплением, когда жители города, «засидевшись» дома, высыпали на улицу и т.д.) и т.д. Это все причины важные, но, так сказать, важностью второй очереди.

По большому счету, Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни общество, ни власть не поняли: революция **уже** (в 1905–1907 гг.) **была**. И максимум того, что общество могло тогда «переварить», оно получило. И максимум того самоограничения, на которое тогда могла пойти власть, она установила. Таким образом, всем следовало оставаться в этих рамках, рамках исторического компромисса власти и общества и в рамках Конституции, не выходить за них, искать там соглашения и решения вопросов. Может быть, после войны эти рамки и расширились бы. Виновны обе стороны: царь и бюрократия (не вся, конечно) стремились к сужению этих рамок, общество стремилось их раздвинуть. И те и другие хотели выйти из этого исторического «договора».

Зимой 1917 г. общественникам померещилось: час настал. Власть **можно** взять в свои руки. За годы войны их влияние, практическая сноровка и самооценка резко выросли. Власть же, напротив, казалось, не знала, **что** делать. Суетилась, куда-то пропали адекватные люди. – Все получилось очень легко. Дунул теплый мартовский ветер, и императорскую Россию снесло. Сто лет отчаянной, смертной борьбы с царским режимом, а финал схватки – почти оперетта. Почему? Вот главный вопрос к Февральской революции.

* * *

А вот и ответ: русское государство, русская институциональная система, даже русская полицейщина – при всех их грозности, грузности, громадности, при всех страхах, которые они наводили (наводят – это сохранилось) на ближних и дальних – чрезвычайно неустойчивы, неэластичны, неэффективны, но: хрупки и ненадежны. И чуть что, разлетаются вдребезги, в щепки, в ничто. (События 1991 г. подтверждают это.) – Вот и тогда, в начале 1917-го легкий мартовский ветер уронил Россию как Институт. А власть царь сдал добровольно (и противозаконно: нарушил и Конституцию, и закон прапрадеда Павла о престолонаследии). Общественники взяли у него власть в самом прямом смысле: как мы у кого-нибудь берем ключ и поселяемся в комнате, квартире, гостиничном номере. – Всё. Спор был закончен. Либералы (всех

оттенков, включая консервативных) и социалисты (всех оттенков, включая радикальных) получили страну в свои руки.

Но вот уже 100 лет историки задаются вопросом: куда «слиняло» общество летом – осенью (особенно осенью) 1917 г.? – А ведь оно имело за плечами весьма приличный политический опыт, умение самоорганизоваться, разветвленную по всей России сеть различных союзов, партий и т.д., деньги, наконец. К примеру, современный российский исследователь В.М. Шевырин убедительно рассказывает нам о громадной по своему размаху деятельности Всероссийского союза городов, Земского союза и Центрального Военно-промышленного комитета в годы Первой мировой войны. Это были подлинно всероссийские организации. Скажем, в Союз городов входило 630 городов, а в Земский союз – 7728 учреждений. Они организовывали госпитали, пункты питания, стирку белья, бани, помогали беженцам. Были активны в тылу, на фронте, на путях следования войск, раненых и беженцев²⁴.

Еще раз скажу: между 1914 и 1917 гг. «общественники» очень выросли и организационно, и политически. Почему же их противостояние тенденциям, которые вели к Октябрю, оказалось крайне неэффективным?

Ответ на этот вопрос связан с ответом на главный вопрос русской революции: что такое Октябрь 1917 г.? – Его мы не поймем, если не скажем еще об одной Революции, которая развивалась параллельно и синхронно Русской Революции, и тоже в России. Это была Революция крестьянства, т.е. Революция более 100 млн человек, подавляющего большинства населения страны. И вот к ней Русская Литература имеет лишь косвенное отношение.

Следовательно, для того чтобы уяснить, что происходило в России между примерно 1860 и 1930 гг., надо исходить из факта двух одновременных, «пересекающихся», «диффузирующих» друг в друга, однако самостоятельных революций. Каждая из них имела свое собственное содержание и смысл, характер и цели (если позволительно говорить о целях исторического процесса).

Но почему две революции? – Это следствие фундаментального раскола России на две субкультуры в результате преобразований Петра I. Об этом в свое время точно сказал В.О. Ключевский: «...Из древней (допетровской. – Ю. П.) и новой России вышли не два смежных периода нашей истории, а два враждебных

склада и направления нашей жизни, разделившие силы русского общества и обратившие их на борьбу друг с другом, вместо того чтобы заставить их дружно бороться с трудностями своего положения»²⁵. А до него А.И. Герцен: «Две России с начала XVIII столетия стали враждебно друг против друга. С одной стороны, была Россия правительственная, императорская, дворянская, богатая деньгами... С другой стороны, Русь черного народа, бедная, хлебопашенная, общинная, демократическая, безоружная, взятая врасплох, побежденная... Что же тут удивительного, что императоры отдали на разграбление своей России, придворной, военной, одетой по-немецки, образованной снаружи, Русь мужицкую, бородатую, неспособную оценить привозное образование и заморские нравы, к которым она питала глубокое отвращение»²⁶. И он же: «...Две разных России... община и дворянство, более ста лет противостоящие друг другу и друг друга не понимавшие. Одна Россия – утонченная, придворная, военная, тяготеющая к центру – окружает трон, презирая и эксплуатируя другую. Другая – земледельческая, разобщенная, деревенская, крестьянская, находится вне закона»²⁷.

Итак, возникли две России – не понимающие друг друга, разнящиеся по всем базовым цивилизационным и культурным характеристикам. Обе они зажили собственными жизнями. Правда, одна находилась у другой в рабстве. – Здесь необходимо подчеркнуть: будущие фигуранты Русской Революции – власть и общество – принадлежали к одной субкультуре – верхней, европеизированной, созданной Петром Великим.

Этом раскол России во многих отношениях определял ее историческое развитие в XVIII–XIX столетиях.

Таким образом, каждая из двух субкультур переживала свою собственную революцию. Но этого тогда никто не знал и не понимал...

* * *

Теперь о крестьянской революции. У нее было несколько измерений. Одно из них – знаменитый «аграрный кризис». Его диспозиция такова: демографический взрыв второй половины XIX – начала XX в. привел к перенаселению в деревне²⁸; к этому времени

были распаханы все доступные тогда целинные земли, экстенсивный же характер земледелия сохранялся; в общине началось имущественное расслоение на богатых, средних и бедных. Ситуация потенциально становилась взрывоопасной.

Сначала ведомое С.Ю. Витте «Особое совещание по сельскохозяйственным нуждам» (1902–1905) пыталось теоретически разобраться с этой проблемой, затем П.А. Столыпин и его последователи (1907–1914) решить ее – известным способом – практически. Однако спровоцированная Февралем *общинная революция* покончила со столыпинской реформой, почти полностью пожрав ее результаты. – А 28 июня 1917 г. Временное правительство (инициатива министра-эсера Виктора Чернова) принимает решение, запрещающее столыпинское разверстование земли и фактически частную собственность на землю.

Иными словами, общественники сдаются перед разворачивающейся крестьянской революцией. И дело здесь не в том, что в их рядах возобладала эсеровская линия, а линия Витте – Столыпина – кадетов оборвалась. Эсеровщина и стала последним словом общественников – говоря выпендренно – на суде истории, потому что столыпинщина обломала зубы о хребет передельной общины.

Так где же корни крестьянской русской революции? – К концу XVIII столетия – ходом событий, властью, помещиками (во многом как реакция на пугачевщину) – была создана передельная община. Ввели «тягло» – справедливую, равную систему распределения платежей и рабочей (трудовой) повинности. Цель была одна: поддержание равенства – нет бедных, нет богатых, нет пугачевых, нет бунта. А в основе всего – перманентное перераспределение, передел земли и уравнивание всех. Таким образом, социальная энергия миллионов русских мужиков канализируется вовнутрь. Купируется возможность социального взрыва, выброса излишка энергии. Но перманентно-передельный тип социальности (уточним: передельная община рождается не только и, может быть, не столько в результате определенных действий определенных людей) – во многом следствие многовековой адаптации населения к природной русской бедности, к «запрограммированной» в этих северных широтах скудости вещественной субстанции. Что, кстати, «предполагает» низкий уровень потребления.

Самодержавно-помещичья социальная гармония закончилась, когда разразился «аграрный кризис». Экстенсивно-передельный инстинкт Всероссийской Общины выразился во все возрастающем стремлении к захвату помещичьих, государственных и пр. земель. Столыпинская земельная реформа вроде бы указала нормальный (в смысле: не кровавый) путь выхода из этой крайне опасной для всех ситуации. Действительно, ее успехов, особенно если принять во внимание, что на все про все история «выделила» лишь семь лет, недооценивать нельзя. — Однако пришел 1917 год и в результате известных причин вновь поднялся уравнилельно-передельно-захватный общинный вал.

* * *

Вот здесь-то большевики и оказались у кассы истории. И взяли ее. Непопулярный в научных кругах Р. Пайпс пишет: «Есть в русском языке слово “дуван”, заимствованное казаками из турецкого. Означает оно дележ добычи, которым обычно занимались казаки южных областей России после набегов на турецкие и персидские поселения. Осенью и зимой 1917–18 годов вся Россия превратилась в предмет такого “дувана”. Главным объектом дележа была сельскохозяйственная собственность, которую Декрет о земле от 26 октября (1917 г. — Ю. П.) отдал для перераспределения крестьянским общинам. Именно этим переделом добычи между крестьянскими дворами в соответствии с нормами, которые свободно устанавливала каждая община, и занимались крестьяне до весны 1918 года. На это время они потеряли всякий интерес к политике»²⁹.

Молодцы большевики! Нашли дело для русского народа. А сами быстрехонько укрепляли свой режим. В январе 1918 г. провели еще одну революцию — разогнали Учредительное собрание и самоучредились в Советскую республику.

Большевики вправду нашли дело для всего русского народа. «Дуван» проходил и в промышленности (фабзавкомы и «рабочий контроль» свелись к разделу доходов, имущества, оборудования предприятий), и в армии (прежде чем отправиться домой, солдаты грабили арсеналы, склады и т.д.), и в государственной сфере. Да-да, государство тоже стало «предметом» передела. Об этом —

тот же Р. Пайпс: «...Зимой 1917–18 годов население России занималось дележом не только материальных ценностей. Оно растаскивало русское государство, существовавшее в продолжении шести столетий: государственная власть тоже сделалась объектом “дувана”. К весне 1918 года вторая по величине Империя мира распалась на бесчисленные политические образования...»³⁰

Таким образом, большевистская революция во многом была именно переделом власти государства. Нельзя сказать, что ленинцы все это придумали. Тем не менее «официальный лозунг “Вся власть Советам” облегчал этот процесс, позволяя региональным советам различных уровней – краевым, губернским, уездным и даже волостным и сельским – требовать независимой власти на подчиненной им территории. Результатом стал полный хаос»³¹.

Еще раз: передел земли, фабрик и заводов, армейского имущества и – как высшая форма передела – власти-государства. Конечной же «монадой», на которую передел власти не покушался, была *волость*. Здесь властный передел остановился. Внутри волости шел передел земельный. На границах волости – и это не случайно – встретились два главных русских передела. – Напомним всем хорошо известное: слово «власть» происходит от слова «волость». То есть, видимо, волость является первичной ячейкой русской власти. **Кроме того, именно на волостных рубежах от энергий двух этих переделов (власти и земли) рождается ключевой феномен истории России – властесобственность.** (Фундаментальность волости хорошо понимал крупнейший российский государствовед, юрист и историк, эмигрант Н.Н. Алексеев (1876–1964): «Известное количество сельских советов объединяются в некоторое высшее целое, именуемое волостью. Эту административную единицу советский строй унаследовал от старой России – и не только петербургской, но и древней, московской... Волость осталась в качестве органа местного крестьянского самоуправления после реформ императора Александра Второго. Большевики связали старую волость с советской системой...»)³²

Но все далеко не так просто с этой русской передельной общиной, учинившей революцию, которая смела все результаты деятельности послепетровской европеизированной субкультуры (хотя и сама она не была незаконным, побочным «ребенком» этой субкультуры). – Исследования общины давно уже показали: ее

экзистенция строится на двух противоречащих друг другу тенденциях (обычаях-институтах) – к становлению нормальной частной собственности на землю и необходимости постоянно поддерживать принцип «равных для всех оснований» (перманентный передел). Общим местом этих исследований стало утверждение, согласно которому антагонистические отношения этих тенденций несли в себе зерно разрушения общины. В конечном счете должен был, полагали аналитики, победить один из двух принципов. Но они ошибались.

Эволюция общины после завершения общинной революции 1917–1922 гг. и до начала коллективизации 1929 г. показала: обе эти тенденции – обязательные условия ее существования. Саморазвитие общины шло не в двух противоположных направлениях. Как бы это парадоксально ни звучало, но эти тенденции были лишь разными проявлениями одной «субстанции».

В скобках заметим: субстанция общины тоже менялась. Община становилась более открытой миру, более гибкой, принимавшей теперь и определенное неравенство и новые формы организации – кооперацию, в первую очередь. То есть не исключено, что община трансформировалась в нечто социально устойчивое, эффективное, адекватное русской Современности, в нечто в духе Чаянова – Кондратьева... Однако, как мы знаем, общине сломали хребет в 1929 г.

Так что же, большевики пришли к власти на волне общинной, крестьянской революции, на волне общенационального «дувана», место для которого было расчищено затуханием революции европеизированной субкультуры, подъемом той же общинной революции, войны, развалом государства? – Да, без этого большевики не победили бы.

* * *

В 1917 г. «столкнулись» две Революции. Столкнулись, как поезда. И подобно железнодорожной катастрофе произошла историческая катастрофа. Оба поезда сошли со своих путей.

К весне-лету 1917 г. Революция европеизированной субкультуры достигла всех своих целей. Здесь бы ей остановиться, передохнуть, «подумать» и начать строить. Но **именно в этот**

момент в нее врезалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. Ее мощь лишь начинала разворачиваться. Большевики сумели сыграть на этом столкновении: на «временном» угасании одной Революции и подъеме другой. Развал государства и армии дал еще одну волну мощного разрушительного свойства.

* * *

Одна из важнейших тем в деле понимания Революции – соотношение Февраля и Октября. Сколько же об этом написано! Какие интеллектуальные силы участвовали в решении этой задачи! И что же? – В общем и целом имеются две позиции. Первую занимают либералы, которые убеждены: Февраль – это хорошо, Октябрь – плохо. Общего у них нет. Более того, Октябрь есть отказ от Февраля и его отрицание. Вторую позицию занимают все остальные. Когда-то в свойственной ему манере (мы бы назвали ее нагло-самоуверенным экспрессионизмом или отвратительно-талантливым журнализмом) Л.Д. Троцкий описал ее следующим образом: «Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских покровов»³³. Февраль и Октябрь, говорил он, связаны между собой так же, как зерно, породившее колос³⁴.

Если отбросить характерные для вождя большевиков «соглашательские покровы» и соответствующие (для троцких) коннотации, то можно утверждать, что *так* думает подавляющее большинство думающих о Революции. А разве позиция А.И. Солженицына иная? – Вот, например: «Если в Феврале было мало крови и насилия и массы еще не раскатились, – то все это ждало впереди: и вся кровь, и все насилие, и захват народных масс, и сотрясение народной жизни... Наша революция разгуливалась от месяца к месяцу Семнадцатого года – вполне уже стихийно, и потом Гражданской войной, и миллионным же чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и искусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний – и может быть закончилось лишь искоренением крестьянства в 1930–1932

и перетряхом всего уклада в первой пятилетке. Так вот и катилась революция – 15 лет»³⁵. – Мастерски выстраивает Александр Исаевич сущностную хронологию Русской Революции, показывая как из одного «разгуливается» другое, как от исходной точки – Февраля – приходим к чекистскому террору. А изучая протоколы работы Временного правительства, он видит: «накатывается... продовольственная реформа... через которую мы начинаем уже с мурашками угадывать большевицкие продотряды»³⁶.

Какая же из этих позиций адекватная или хотя бы ближе к истине? – Обе, и одновременно не та и не другая. Разумеется, правы либералы, защищающие *свой* Февраль. Какой террор, какая гражданская война, голод, истребление крестьянства? – **Сто лет послепетровская европеизированная субкультура шла к самозамансипации и эмансипации русского общества.** С 60-х годов XIX столетия, о чем мы уже говорили, в стране начались революционные изменения. Наконец, к Февралю 1917-го достигли всех целей. И *содержательно* эта революция себя исчерпала. Да, она не сумела построить новую, демократическую Россию. Но ведь это уже задача пореволюционная...

Однако правы и сторонники второй позиции (вот парадокс: трудно найти менее схожие исторические фигуры, чем Троцкий и Солженицын, а в этом – ключевом для русских – вопросе по сути дела стоят на одной позиции). Конечно, Февраль развязал руки Октябрю. Событийно, конкретно-исторически одно перетекло в другое. И главные действующие лица этой драмы как-то очень плавно и убедительно сменили друг друга: сначала царская бюрократия и либерально-социалистическая общественность, затем либералы и социалисты, социалисты и большевики и, наконец, только БОЛЬШЕВИКИ.

Тогда в чем же ошибочность обеих позиций? – И та и другая – поверхностны. Они не идут вглубь социальных процессов, развертывавшихся столетиями. Нужен *принципиально* иной взгляд на Русскую Революцию, иной подход.

* * *

Мы должны понять структуру Русской Революции.

Первое. Она (1860–1930) была двойной комбинацией трех революций. С одной стороны, это 1905 г., Февраль и Октябрь 1917 г. (как нас учили в школе). С другой стороны, Эмансипационная революция послепетровской европеизированной субкультуры, предвестниками которой выступили декабристы и которая победила весной 1917 г. Победила и почила в бозе. Свои задачи она выполнила, а строить новое ей было не по силам, не по плечу. Общинная же революция второй послепетровской субкультуры была традиционалистской, почвенной, старомосковской. Она началась весной 1917 г. и, по мнению специалистов, закончилась к 1922 г. Ее результат: **все** пахотные земли России наконец-то принадлежали Общине, столыпинская же реформа – последнее, что могла предложить ей европеизированная субкультура – была похоронена.

Второе. Ничего общего – содержательно – между двумя этими революциями не было. Это – следствие послепетровского раскола на две субкультуры. Но, разумеется, и мы отмечали это, дело происходило в одной стране, и потому эти революции «пересекались», сталкивались, «вмешивались», диффузировали друг в друга. Эмансипационная революция лезла в деревню, проводила там реформы, провоцировала и т.д. Процессы, происходившие в общине, безусловно, затрагивали город (разными способами и путями, сейчас об этом говорить не будем) и всю европеизированную субкультуру в целом. Тем более что барьеры между ними постепенно рушились. Вместе с тем **имплицитно** общинная революция была направлена против «русских европейцев», европеизации и модернизации России. Против всего этого «восставали» те ценности, традиции, модели социальной психологии и социального поведения, которые в своей известной работе о русской революции (1906) Макс Вебер квалифицировал как «первобытный коммунизм».

Третье. Большевистская революция пришла на историческую «площадку», которую ей расчистила (от государства) Эмансипационная революция. Причем пришла в тот момент, когда «эмансипаторы» полностью выдохлись. Это было весной и летом 1917 г. И уже вовсю полыхала Общинная революция, которая не

только не мешала, но в высшей степени им способствовала и была ими использована (мы уже говорили об этом).

* * *

Выше мы вскользь упомянули, что Февраль в каком-то смысле был юридически «запрограммирован». Объясним в чем. — Мне много раз приходилось писать о неслучайности и адекватности Конституции 1906 г. Об этом же много раз говорили выдающиеся русские правоведы, общественные деятели, ученые (некоторые их мнения приводились в этом тексте).

Однако нельзя не сказать и об определенной «лжи» этой Конституции. В ее политико-правовое измерение (систему) были «втиснуты» два прямо противоположных друг другу института и принципа.

Первый — императорская власть, обладавшая суверенитетом, т.е. монопольно владевшая источником всех властей и законов; иначе говоря, сама и бывшая этим источником. Имевшая также все виды легитимностей: сакральную (от Бога), «демократическую» (Романовы избраны на царство Учредительным Земским собором 1613 г.), исторически-преемственную (правили страной 300 лет) и формально-юридическую (закон о престолонаследии Павла I). Основные законы 1906 г. закрепляют все эти типы легитимности в конституционном тексте современного образца. Тем самым придают ей еще один вид легитимности — конституционно-правовой.

Второй — Дума, имевшая демократическую легитимность, т.е. по избранию, конституционно-правовую (по Основным законам) и издающая общеобязательные для всех без исключения россиян законы. Если к этому добавить, что, согласно конституции империи, Судебный Сенат — высшая судебная (кассационная) инстанция — обладал правом принимать решения, которые никем, включая императора, не могли быть обжалованы, то получается, что Дума плюс Сенат составляли вместе систему власти, потенциально альтернативную императорской. И хотя юридически в рамках Основных законов 1906 г. императорская власть была сильнее, чем «законодательно-судебная», социальный расклад и ситуация в обществе менялись явно в пользу новой системы власти. Это

сознавали и представители императорской власти, и сторонники парламентско-судебной.

Да, Конституция 1906 г. была историческим компромиссом короны и общества. Но и одновременно возможным потенциальным источником нового взрыва. То есть Февраль Семнадцатого юридически был заложен в Основных законах. Другое дело, что можно было этим источником не воспользоваться. Воспользовались. Именно Временный комитет IV Государственной думы уничтожил императорскую власть. Это один из важнейший уроков Февраля.

* * *

Ну хорошо, все это так. Февраль – трагическое событие нашей истории. Стыдное. Посыпем голову пеплом. – Почему же тогда огромное количество выдающихся и самых простых людей Империи были рады, да что там рады – счастливы. Их охватило какое-то пасхальное настроение (с Пасхой сравнивали первые дни после отречения Николая II многие современники и мемуаристы). Что-то подобное Питер пережил за 116 лет до этого. После убийства Павла I (11 марта 1801 г.), как свидетельствует тот же Карамзин, «все» погрузились в лихорадку счастья, восторга, парящей легкости. В чем же здесь дело? В обоих случаях массовый психоз? И что за взрыв безответственного веселья?

Как всегда, нам поможет объяснить это великая русская литература – в лице Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама. Борис Леонидович в своем несравненном «Весеннем дожде» (обратите внимание на название) пишет (не поленимся прочитать это): «Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил / Лак экипажей, деревьев трепет. / Под луною навывкате гуськом скрипачи / Пробираются к театру. Граждане, в цепи! / Лужи на камне. Как полное слез / Горло – глубокие розы, в жгучих, / Влажных алмазах. Мокрый нахлест / Счастья – на них, на ресницах, на тучах. / Впервые луна эти цепи и трепет / Платьев и власть восхищенных уст / Гипсовую эпопею лепит, / Лепит никем не лепленный бюст. / В чьем это сердце вся кровь его быстро / Хлынула к славе, схлынув со щек? / Вот она бьется: руки министра / Рты и аорты сжали в пучок. / Это не ночь, не дождь и не хором / Рвущееся: «Керенский, ура!», /

Это слепящий выход на форум / Из катакомб, безысходных вчера. / Это не розы, не рты, не ропот / Толп, это здесь, пред театром – прибой / Заколебавшейся ночи Европы, / Гордой на наших асфальтах собой».

В характерной для молодого Пастернака поэтике история, современность, политика объясняются через природные явления – весна, дождь, черемуха, деревья, лужи, розы, тучи и т.д. Весна – пробуждение, начало жизни, счастье, свежесть, восторг («полное слез горло»). И всему этому соответствует Керенский, более того, является подобием и олицетворением. Он аккумулирует энергию этого весеннего восторга и изливает ее на послушные ему толпы. Это он выводит к свету и радости, творчеству и свободному созиданию миллионы томившихся в «катакомбах, безысходных вчера». Более того, Пастернак включает русскую революцию в европейский (значит, мировой) контекст. Да еще как! Она и ее персонификатор выступают чуть ли не спасителями Европы (читай: мировой культуры и благоустройства), которая как-то заколебалась (война, бойня, смерть), но вновь обрела гордость «на наших асфальтах».

Суммирую: Февраль и первые за ним месяцы – это великий финал (увы, не начало, как думалось многими тогда) многодесятилетней (от декабристов) эмансипационной деятельности («жизни и судьбы») нашей интеллигенции, общественников, тех, кто мечтал и боролся за свободную, современную, справедливую Россию. Поэтому есть два возможных подхода к Февралю. Это дебют, приведший к кровавому Октябрю и Гражданской. Или эндшпиль длительного периода постепенного обретения свободы. В реальной жизни было и то и то. Но нельзя игнорировать и эту «весеннюю» сторону событий весны Семнадцатого.

И еще одно соображение. В последнее время все мы (ну, почти все) печалимся о той прекрасной и много обещавшей дореволюционной России. Правильно делаем: это была (по моей терминологии) приемлемая страна, шедшая в нужном направлении. Параллельно мы отвергаем всякие (все) революции. К тому же, как это недавно выяснилось, – они «цветные», да еще и криминальные (кстати, на языке уголовников «цветной» означает «полицейский», и это интересный поворот в определении любой революции, которые, повторю, все цветные; для точности: речь идет о своей полиции, а не чужеземной). От революции же у современ-

ных идеологов рукой подать до оппозиции. Которая не просто имеет свою точку зрения и стремится поправить дела в обществе, нет, она на 99% – «пятая колонна», «враг народа», «иностранный резидент».

Но вот в предреволюционные годы большинство интеллигенции и общественников самоопределялись иначе. Себя и свою родословную они идентифицировали именно с протестным, антирежимным движением. Подчеркиваю: речь идет не только о «бомбистах», но о широком круге просвещенных и обеспеченных людей. – Вновь обратимся к Б. Пастернаку, к его поэтическому свидетельству. Надо сказать, что несмотря на то что он родился в еврейской семье, его родители, братья, сестры были в полной мере вписаны в социальный порядок и культурный истеблишмент. Они не относились к разряду изгоев, париев, аутсайдеров. Это типичное самопонимание умеренного и далекого от политики человека.

Поэма «Девятьсот пятый год», глава «Отцы»: «Это – народовольцы, / Перовская, / Первое марта³⁷, / Нигилисты в поддевках, / Застенки, / Студенты в пенсне. / Повесть наших отцов, / Точно повесть / Из века Стюартов, / Отдаленней, чем Пушкин, / И видится, / Точно во сне. / Да и ближе нельзя: / Двадцатипятилетье – в подполье. / Клад – в земле, / На земле – / Обездушенный калейдоскоп. / Чтобы клад откопать, / Мы глаза / Напрягаем до боли. / Покоряясь его воле, / Спускаемся сами в подкоп. / Тут бывал Достоевский. / Затворницы ж эти, / Не чаяв, / Что у них, / Что ни обыск, / То вывоз реликвий в музей, / Шли на казнь / И на то, / Чтоб красу их подпольщик Нечаев / Скрыл в земле, / Утаил / От времен и врагов и друзей. / Это было вчера, / И, родись мы лет на тридцать раньше, / Подойди со двора, / В керосиновой мгле фонарей, / Среди мерцанья реторт / Мы нашли бы, / Что те лаборантши – / Наши матери / Или / Приятельницы матерей».

Для людей этого типа (культурный, политический, экономический авангард России) Февраль показался и был в первые недели (даже месяцы) моментом долгожданного освобождения и реализации почти вековой мечты. Да, ведь и бомбисты далеко не все хватались за бомбу, потому что, во-первых, были злодеи, а во-вторых, ничего другого делать не умели (и не хотели). Вспомним выступление на суде Александра Ильича Ульянова. Он сказал, что власть

не дает интеллигенции обратиться к народу и участвовать в формировании общественной жизни. И поэтому они вынуждены обратиться на себя внимание *таким* образом. – Не соглашаюсь с этим, но свои резоны, своя правда у старшего Ульянова была.

Теперь – Мандельштам. Если Борис Леонидович приветствовал Февраль и Керенского весной Семнадцатого, так сказать, «на входе», то Осип Эмильевич – оплакивал в ноябре, «на выходе». Этим двум прямо-противоположным ситуациям полностью соответствуют их разнящиеся поэтики. У Пастернака – экзотически-восторженная, задыхающаяся, совершенно неожиданная в сближениях, определениях, переходах, не всегда сразу-доступная, как будто путающаяся, не замечающая обыденности, рвущаяся к каким-то новым смыслам и пространствам (аналог ей новая физика начала XX в. и особенно квантовая физика). У Мандельштама – неоклассическая, акмеистская, выверенная, точная до дрожи, формально-безупречная, но решающий шаг за пределы видимого, осязаемого, наличного мира сделан. Обретен совершенно новый голос в русско-мировой поэзии: печально-погребаящий, спиритуально-торжественный. Не вызывающий сомнения, что он имеет на *это* высшее право (при всех глубочайших различиях это же можно сказать об Анне Ахматовой).

Ноябрь 1917 г., Февраль сметен, Керенский выброшен из актуальной русской истории. Раздается реквием, Мандельштам прощается от имени России («и неподкупный голос мой был эхом русского народа»): «Когда октябрьский нам готовил временщик / Ярмо насилия и злобы, / И ошетинился убийца-броневик / И пулеметчик низколобий, – / – Керенского распять! – потребовал солдат, / И злая чернь рукоплескала: / Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, / И сердце биться перестало! И укоризненно мелькает эта тень, / Где зданий красная подкова; / Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: / Вязать его, щенка Петрова! – Среди гражданских бурь и яростных личин; / Тончайшим гневом пламени, / Ты шел безтрепетно, свободный гражданин, / Куда вела тебя Психея. / – И если для других восторженный народ / Венки свивает золотые – / Благословить тебя в далекий ад сойдет / Стопами легкими Россия».

Казалось бы, – голос Ахматовой: «Все расхищено, предано, продано, / Черной смерти мелькало крыло, / Все голодной тоскою

изглодано», – но Мандельштам, даже в сравнении с Пастернаком, поднимает наше понимание Керенского, следовательно и Февраля, на новый уровень. Это лучший во всех смыслах памятник Событию и центральному человеку. Это, по природе своей неревизируемое, понимание Эмансипационной революции и ее вождей. Это наперед, на вырост, на столетие единственное определение соотношения Февраль – Октябрь. Даже А.И. Солженицыну, потомку и продолжателю Аввакума, Достоевского и Толстого, не удалось его «снять».

Распят, Пилат, злая чернь, октябрьский временщик, щенок Петров, свободный гражданин, благословляющая его в аду Россия. Да, в аду – это ответственность за поражение (но ведь и Христос в известном смысле тоже потерпел поражение...). Михаилу Булгакову потребовалось около десяти лет, чтобы написать, по большому счету об этом же, многостраничный гениальный роман, Осипу Мандельштаму – двадцать строк.

Помните реакцию М.И. Кутузова на непреодолимые трудности французов в захваченной ими Москве – «Россия спасена». Имея два этих (Бориса Леонидовича и Осипа Эмильевича) свидетельства, можно с уверенностью утверждать: Февраль, Керенский, князь Львов, другие спасены, оправданы, защищены, направлены в вечное хранение золотого фонда русской истории.

Пишу через 100 лет после События, знаю, что было потом, вместе с другими поучительно говорю об ошибках, безответственности, непонимании и т.п. всех этих царей, генералов, министров, общественников и т.д., но почему-то в голову лезет не имеющее отношения к этому (просто по другому поводу): «Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале навзрыд...».

Навзрыд...

Февраль и его деятели проиграли все на свете (и себя тоже, про нас и говорить нечего). Спустя 100 лет его (и их) идеалы и ценности являются для русского общества путеводной звездой.

Вот что я могу сказать о соотношении Русской Литературы и Русской Революции. Вне всякого сомнения, революция была главным содержанием литературы. Разумеется, при условии согласия с тем контекстом, который был предложен автором этой статьи.

-
- ¹ Даже в кажущейся благодати сцен в Лысых Горах 1820 г. сквозит скорее несчастье для Пьера и юного Николеньки Болконского. Ни с чем не сравнимое мастерство Толстого!
- ² *Шмеман А., прот.* Дневники: 1973–1983. – М.: Русский путь, 2007. – С. 287.
- ³ См.: *Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. – М.: Согласие, 1997. – Т. 2. – С. 65.
- ⁴ В 60-е годы XX в. американцы Алекс Инкельс и Дэниэл Левинсон разработали концепцию «модальной личности». Точнее – «модальных личностей». Национальный характер любого народа проявляет себя в пяти-шести разновидностях «модальной личности».
- ⁵ Подробнее о нем я писал в статье «Уроки Карамзина». См.: Труды Отделения историко-филологических наук. – М.: Наука, 2017. – С. 24–43.
- ⁶ А еще немного кино. Керенский как будто сошел с лент «великого немного» десятих годов. Убежден: это одна из важнейших причин его оглушительной популярности в первые месяцы после падения монархии.
- ⁷ *Бабель И.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. Рассказы 1913–1924 гг.; Публицистика; Письма. – М.: Худ. лит-ра, 1990. – С. 106–107.
- ⁸ *Осинов Н.* Февральская революция // Мосты. – Мюнхен, 1967. – С. 72.
- ⁹ В сущности, об этом же говорит Владислав Ходасевич: «Пламенная вера пополам с пламенным кощунством. Пьяные философы, готовые пристрелить каждого, на кого укажет “революция”. Чернобородые идеологи в кожанках. Светлокудрые нестеровские отроки, прославившиеся впоследствии в основном как исполнители приговоров...» – Цит. по: *Пивоваров Ю.С.* Полная гибель всерьез. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 311.
- ¹⁰ Лет 15 назад я сказал Е.Б. Пастернаку, что роман его отца это русский вариант «Гамлета». Но Евгений Борисович как-то пропустил это мимо ушей. А мне и сейчас так кажется. Не случайно великий поэт был и переводчиком «Гамлета».
- ¹¹ О потенциально освободительном для России характере и результатах событий 1941–1945 гг. я довольно много говорил в последние годы. Не будем повторяться.
- ¹² *Зеньковский В.В.* История русской философии. – Л., 1991. – Т. II. – Ч. 2. – С. 158.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же. – С. 178.
- ¹⁵ *Франк С.Л.* Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 158.
- ¹⁶ Там же. – С. 159.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1962. – Т. 22. – С. 406.
- ²⁰ *Леонтович В.В.* История либерализма в России, 1762–1914. – Париж: YMCA PRES, 1980. – С. 465.

- ²¹ *Маклаков В.* Власть и общественность на закате старой России: (Воспоминания современника). – Рига, (Б.г.). – С. 585.
- ²² *Леонтович В.В.* Указ. соч. – С. 518.
- ²³ *Столыпин П.А.* Речи, 1906–1911. – Нью-Йорк: Телекс, 1990. – С. 37.
- ²⁴ *Шевырин В.М.* Власть и общественные организации в России (1914–1917). – М.: ИНИОН РАН, 2003. – С. 46–54.
- ²⁵ *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. – М.: Наука, 1983. – С. 363.
- ²⁶ *Герцен А.И.* Избранные философские произведения: В 2 т. – М.: Политическая литература, 1948. – Т. 1. – С. 267.
- ²⁷ *Герцен А.И.* Письма издалика: Избранные лит.-крит. ст. и заметки. – М.: Современник, 1984. – С. 208.
- ²⁸ Попутно заметим: между 1880 и 1910 гг. демографический взрыв пережили большинство крупных стран Европы (за исключением Франции): Австро-Венгрия – 30% (прибавки населения), Великобритания – 26, Германия – 43, Россия – 50%. Это одна из причин Первой мировой и всех последующих европейских революций.
- ²⁹ *Пайнс Р.* Создание однопартийного государства в Советской России (1917–1918) // Минувшее. Исторический альманах. – М.: Прогресс, Феникс, 1991. – С. 91.
- ³⁰ Там же. – С. 93.
- ³¹ Там же.
- ³² *Алексеев Н.Н.* Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – С. 329.
- ³³ *Троцкий Л.Д.* История русской революции: В 2 т. – М.: ТЕРРА, Республика, 1997. – Т. 2. – С. 25.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ *Солженицын А.И.* Размышления над Февральской революцией. – М.: НИК «Российская газета», 2007. – С. 78.
- ³⁶ Там же. – С. 74.
- ³⁷ Первое марта 1881 г. – убийство Александра II.

В.Л. Махлин

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК АВТОБИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙЦА*

Аннотация

В статье излагается и комментируется концепция Русской революции 1917 г. как составная часть историософии западной культуры в книге «Великие революции» немецко-американского мыслителя О. Розенштока-Хюсси (1888–1973). Суждения и оценки этого автора необычны и до сих пор актуальны тем, что Русская революция поставлена в глобальный контекст европейских революций Нового времени и понята как «автобиографическая» история «протеста» европейца XX в. против западной (капиталистической) цивилизации.

Ключевые слова: революция, интеллигенция, герменевтика, диалог, Маркс, Ницше.

Makhlin V.L. The Russian revolution as autobiography of the European

Summary. The article is about O. Rosenstock-Huessy's conception of the Russian 1917 revolution in the context of an overall process in the development of the Western civilization. According to this author's most important book «Out of Revolution», Russian Revolution was, and still remains, the last link in the «autobiography» of the contemporary European, i.e. in the history of his «protest» against the Western (capitalist) civilization.

Отличительная и поучительная особенность наиболее глубоких концептуальных высказываний о революции 1917 г. ее современников – как советских, так и антисоветских, как российских, так и западноевропейских, – это явное отличие их всех от суждений

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-03-00687а: «Герменевтика классическая и современная: Ретроспективы и перспективы».

и оценок последних десятилетий. В наше время о 1917 году судят, чаще всего, с позиций «судей окончательных», но теперь эти судьи не столько «господа социалисты», к которым иронически адресовался Достоевский в позапрошлом веке, сколько их обратные подобию всех мастей. Во всяком случае, даже самые пристрастные суждения и оценки современников той революции настолько еще *связаны опытом* – переживался ли этот опыт вблизи или издали, – что они, парадоксальным образом, ближе к истине, чем многие современные суждения, которые тем больше кажутся «окончательными», чем меньше они сознают свою подлинную, не риторическую связь с отрицаемым прошлым (отрицавшим собственное прошлое). Свидетельства современников революции ближе не к истине вообще, но к множеству конкретных истин (подчас несоизмеримых); и этот опыт, даже самый ужасный или смехотворный, – *не окончательный*. Ведь то, что пережито по-настоящему, не может быть изжито как только прошлое, а с другой стороны, прошлое не выводимо и не объяснимо из одних только своих следствий и так называемых результатов. Интересной иллюстрацией этого тезиса является историко-теолого-экономическая герменевтика Русской революции немецко-американского христианского мыслителя, историка и гуманитарного эпистемолога Ойгена Розенштока-Хюсси (1888–1973)¹.

Под «герменевтикой» здесь следует понимать не традиционную гуманитарную дисциплину в сфере теологии, филологии или юриспруденции, но *способ подхода* к социально-историческому опыту прошлого и современности в их «онтологически-событийных» (по терминологии раннего М.М. Бахтина) взаимосвязях; предметом исследования здесь является не только и не просто прошлое, но, по терминологии Г.-Г. Гадамера, «действенная история» (*Wirkungsgeschichte*) – традиции прошлого, *воздействующие* на современность и современников независимо от их «самосознания». Такой подход к социально-историческому опыту и наукам исторического опыта («гуманитарным») характерен для современной философии исторического опыта, как бы она ни назывались и кем бы персонально ни представлялась². О. Розеншток-Хюсси – один из мыслителей такого рода «нового мышления» (*das neue Denken*), как это называлось в Германии в 1920-е годы; но, кажется, из них из всех только он один применил так понятый метод

к феноменам больших европейских революций, в частности – Русской революции.

О самом О. Розенштоке-Хюсси (далее – РХ) здесь достаточно сказать, что этот крестившийся в 16 лет самый молодой в 1913 г. приват-доцент Германии, участник Первой мировой войны, тяжело раненный под Верденом, принадлежал к особой генерации европейских мыслителей и гуманитариев первой половины прошлого столетия, к тем, кого он сам называл *the post war thinkers* – мыслителям, пережившим «Великую войну» 1914–1918 гг. Русская революция 1917 г. была для РХ прямым следствием той войны и последней из европейских революций Нового времени, давшей свой особый, «русский» ответ на общеевропейские вопросы и чаяния новой мировой эпохи – *постбуржуазной* и *постхристианской* современности XX в., которая потребовала от интеллектуальной элиты, сложившейся в традициях довоенного, «буржуазно-христианского» общества еще XIX в., радикального переосмысления научных, религиозных, мировоззренческих оснований европейского человека и человечества на по-гегелевски «Страшном суде» мировой истории, разразившемся в 1914 г. и определившем собою *начало конца* Нового времени в прошлом столетии.

За свою долгую жизнь РХ написал немало книг по-немецки и по-английски, сначала на родине, а после 1933 г. – в эмиграции в США³. Одна из этих книг (его любимая) в оригинале называется *Out of Revolution*; о ней и пойдет речь ниже⁴. Русский перевод книги – «Великие революции» – нельзя признать вполне точным, но в оправдание его можно сказать, что даже редкие американские ученики РХ затруднялись в интерпретации названия. Более удачным представляется перевод: «Из революции выходящий», предложенный в начале 1990-х годов русско-американским переводчиком ранних философских рукописей М.М. Бахтина Вадимом (Всеволодовичем) Ляпуновым (Ljapunov); такой перевод во всяком случае фиксирует существенный для РХ момент онтологическо-событийного выхода всякой великой революции за свои хронологические и географические пределы – в прошлое и, в особенности, в будущее. Книга была написана и издана в США в 1938 г.; фактически это переработанный англоязычный вариант написанной на родном языке и опубликованной еще в 1925 г. в Германии книги «Европейские революции и характер наций»⁵.

Подзаголовок американской книги так же важен, как и ее эпитафия. Латинский эпитафия (почему-то отсутствующий в русском издании) гласит: DE TE FABULA NARRATUR – «рассказывается о тебе», или «эта история – о тебе». Иначе говоря, ты сам(а), как современник XX в., являешься наследником истории своей нации и западноевропейской истории в целом, причем независимо от того, сознаешь ты это или нет, нравятся тебе «традиции» твоего отечества, твоего сознания и мышления, или ты воспринимаешь их критически. Подзаголовок книги – «Автобиография западного человека» – уточняет и заглавие, и эпитафия: история Запада, по мысли автора, – это «автобиография» европейца, вехами которой являются великие национальные революции, рассказанные РХ в обратном хронологическом порядке – «от Ленина до Лютера» и дальше вглубь Средневековья, вплоть до «папской» научно-образовательной революции XI в. и рождения Университета как интернациональной институции, предвосхитившей эпоху европейского Просвещения XVIII в. и предопределившей последующую общественно-политическую и общекультурную историю Запада.

РХ, несомненно, согласился бы с еще памятным многим из наших современников партийным лозунгом о «всемирно-историческом значении Октябрьской революции», но это значение РХ понимает совершенно иначе и достаточно непривычно. Его книга писалась на пике «красных 30-х», и автор пытается уловить – под характерным для него углом зрения «тысячелетия на дворе» – нечто существенное в самой одержимости тех лет (в СССР и на Западе) понятием «революция», не давая, однако, увлечь себя моментом, когда многие интеллектуалы в США и в Европе либо по зову сердца, либо идя в ногу со временем вступали в разных странах в коммунистическую партию (чтобы не менее решительно выйти из нее уже в 1939 г. после советско-нацистского «пакта», или в последующие десятилетия). В чем же своеобразие философии революции РХ и его интерпретации Русской революции?

В свое время великий немецкий социолог-мыслитель Макс Вебер (1864–1920) утверждал, что философ XX в. является по-настоящему современным лишь постольку, поскольку он в состоянии принять всерьез двух философов XIX в. – Маркса и Ницше, в самом споре с ними. РХ был именно таким мыслителем: он опирается на и отталкивается от Маркса и Ницше для того, чтобы

«оволить» (слово М.М. Пришвина) марксизм и нищезанятие как наиболее убедительные и опасные массовые движения своей современности, так или иначе захваченной идеей «революции», – «слева» и «справа», «сверху» и «снизу». Интерпретация РХ Русской революции – попытка понять ее в единстве «да и нет», одновременно «изнутри» (в ее предпосылках, стремлениях и задачах) и «извне» (в ее нравственных и экономических требованиях, но также в ее безнравственной, варварской жестокости), как, действительно, всемирно-историческое событие, которое он определяет как «грандиозную карикатуру на западную цивилизацию» (62) – карикатуру, предостерегающую и наставляющую именно «западного человека», ответственного за это событие. Ответственного в том смысле, что, по РХ, Русская революция была ответом также и на *его*, современного европейца, вопросы, *его* историю, религию, науку, цивилизацию и утопию; а значит, она была (и остается) последним по времени событием в истории западного человека. Вот почему Русская революция оказывается композиционным началом в книге об этой истории: DE TE FABULA NARRATUR.

Таков, по терминологии РХ, его «экзистенциальный диалогизм» (existenzielle Dialogismus)⁶, которому примерно соответствует – в плане *взаимоотношения* эпох, наций и великих революций – знаменитая мысль Зосимы в «Братьях Карамазовых», что «все за всех виноваты», а в истории русской философии – положение социальной онтологии и эстетики молодого М.М. Бахтина: «Нельзя доказать своего **alibi** в событии бытия»⁷. «Диалогизм» в таком понимании лишен как абстрактно-теоретических, так и абстрактно-гуманистических коннотаций: движение исторических сил – это не только и не столько взаимоотношение и конфликт враждующих интересов, сколько взаимоотношение объективных *вопросов и ответов* внутри той или иной мировой эпохи, того или иного «тела времени» (Zeitkörper). Не случайно в «русском» разделе книги среди прочего высказана мысль, что после мировой войны 1914–1918 гг. мир стал необратимо единым, и большие войны в нем возможны уже не с «чужими» (как прежде в истории), а со «своими» – гражданские войны. Революция 1917 г., следствием которой стала худшая из войн – гражданская, оказывается, по мысли РХ, предвестием всех последующих мировых катаклизмов, революций и войн, противостояний и катастроф. И если мы хотим понять

и оценить Русскую революцию как последнее и решающее, «тотальное» событие в истории Нового времени, но при этом – что важно для РХ – остаться в постхристианскую эпоху христианами, то мы должны занять одновременно пристрастную и беспристрастную позицию по ту сторону и религиозного, и научного *идеализма*, по ту сторону как теологической, так и интеллигентски-морализаторский оппозиции «добра» и «зла», понятых как бы «вообще», но в действительности конъюнктурно и корыстно (т.е. подразумевая *свое alibi* в событии бытия).

Стиль книг РХ подчеркнуто не академический, даже анти-академический. Историк-медиевист по специальности, впитавший в себя почтенные традиции германской университетской науки, один из самых образованных людей своего времени, – РХ (как и его друг, рано умерший, но гораздо больше известный и почитаемый на Западе религиозный мыслитель Франц Розенцвейг (1886–1929)), непочтительно называл современный университет «каменным веком» и пытался превратить традиционные академические дисциплины – филологию, историографию, философию, теологию, социологию, политэкономия, лингвистику и статистику – в некоторое междисциплинарное синтетическое учение, излагаемое, по определению самого РХ, «третьим стилем», в жанре философской публицистики, адресованной не столько профессионалам и экспертам (менее всего – «расе мыслителей», по его мнению, радикализовавшей в Новое время греческую метафизику в ущерб христианскому Откровению, а потому ответственной за катастрофу культуры и расовую идеологию нацизма⁸), сколько околонушной публике и «человеку с улицы». В духе Ницше (и против Ницше) РХ «философствовал молотом», но его антиакадемизм и риторика – обманчивы: этого мыслителя легко цитировать, но не так легко понять (и уж никак не «человеку с улицы»). Дистанцировавшись от академической науки как института, РХ – вполне в духе его же «экзистенциального диалогизма» – *в ответ* был отвергнут академической наукой: в Европе и в США на него не принято ссылаться (т.е. вводить в научную дискуссию). Впрочем, в области духовно-идеологического творчества тезис «нет человека – нет проблемы» не всегда верен: дело не в человеке самом по себе,⁹ но в проблемах, которые он пытался помыслить и разрешить.

* * *

В Розенштоковой¹⁰ концепции Русской революции целесообразно выделить и прокомментировать основные ходы мысли, дающие подступ к пониманию внешне фрагментарного целого. На фоне известных истолкований революции 1917 г. философами русской эмиграции (Н.А. Бердяевым, Ф.А. Степуном, Г.П. Федотовым и др.) концепция РХ выглядит одновременно и знакомой, и чуждой; возможно, как раз в этом качестве она может заинтересовать отечественного читателя даже сегодня, и как раз сегодня.

1. По РХ, две главные духовные силы, или «источника», определяют и предопределяют историческое развитие и судьбу любой нации: это *религия* в ее отношении к нерелигиозным областям человеческого опыта (например, экономике или политике), с одной стороны, и *образование* в его отношении к религиозным народным верованиям и национальным традициям – с другой. РХ никогда не был в России и не знал русского языка, но его поездка в Болгарию в 1927 г. (с болгарских впечатлений начинается «русский» раздел его книги) послужила для него ключом к пониманию феномена Русской революции. В самом богатом и посещаемом православном монастыре, где в спальных помещениях было черно от клопов, мух и москитов, настоятель уверял приезжих, что Создатель любит насекомых так же сильно, как и человека, а в «псевдо-западных отелях» поражало обилие «духовных инородцев» – ученых, интеллектуалов, подчас высококвалифицированных, которые не находили спроса и применения у себя на родине и вели полунищенское существование. Современность нации, по мысли РХ, была такой не в силу экономических или политических факторов самих по себе, но в силу незримо-очевидного давления всей толщи духовной истории («традиций»):

Мертвая церковь и класс интеллектуалов, мыслящих по-иностранному, – вот проклятие стран, лежащих к востоку от римских и протестантских вероисповеданий. Один Бог знает, что любой из нас принужден был бы делать в условиях, когда оба источника одухотворения – религия и образование – уродуют себя в одинаковой степени (33).

С точки зрения РХ, в результате разделения Восточной и Западной церквей (1054) Православие дорого заплатило за свои преимущества, довольствуясь иконопочитанием и обрядоверием в сочетании с полным подчинением земной власти. Большевики в своем иконоборчестве на свой лад сохраняют и продолжают народное иконопоклонство, т.е. веру в то, что тот, кто поклоняется иконам, тот и христианин (39). Поэтому великая русская мечта созданной Петром интеллектуальной элиты – *войти в историю*, прорубив окно в европейскую цивилизацию, – во время Русской революции неизбежно должна была принять характер антицерковной и антирелигиозной, но тоже *веры*, а именно: веры в европейское просвещение и науку, в обратное официальной церкви и Царству Божьему царство Знания, которое, согласно Ф. Бэкону, «есть сила».

Различие в историческом бытии между Россией и Западом, по мысли РХ, собственно, и стало (и остается) событием взаимоотношения *между* ними – духовно-идеологическим и культурно-просветительским событием, обусловившим Русскую революцию как следствие и даже предвосхищение западноевропейской современности.

2. Воплощением и выражением двустороннего «уродства» в религии и в образовании, по мнению РХ, неизбежно оказалась русская *интеллигенция* («духовные инородцы»), причем в своих лучших проявлениях – стремлениях и страданиях, в своем самозаклании. «Чингисхановская» жестокость Ленина и большевиков в отношении собственного народа, считает РХ, – это ответная реакция на безмерные страдания не столько идеализированного интеллигенцией «народа» или «пролетариата», сколько самой интеллигенции. Марксизм учит тому, что люди в своей общественной жизни руководствуются преимущественно классовыми интересами, но, по выражению РХ, «подземный крестовый поход» русской интеллигенции против своего государства, начавшийся задолго до 1917 г. и задолго до отрицания собственности, был прямым отвержением каких-либо *собственных* интересов: «Что случилось с этими людьми, что они действовали против своих собственных интересов в течение более чем столетия?» (47). В предварительном виде ответ РХ гласит:

С 1825 по 1880 два поколения интеллигенции страдало за право думать, читать и писать. К 1880 конфликт с правительством стал непримиримым. По этой причине русская Революция была неизбежна уже в 1880. <...> Как поток, разделившийся на рукава, распалась жизнь русского общества. Один рукав тёк по поверхности, другой повернул в новое русло – глубоко под землей (61).

Вестернизированная интеллигенция должна была неизбежно стать – в лице наиболее идейных и догматичных своих представителей – «орденом людей, отказавшихся от всех нормальных потребностей социальной жизни» (59), поскольку русская интеллигенция – в отличие от западного Университета – не вырастала из общих социальных, религиозных и образовательных потребностей, а напротив, порывала со своею же почвой и обретала сплоченность именно благодаря своей неукорененности, беспочвенности, которая у революционеров имела характер сознательного, выстраданного бунта против своего национального прошлого. Так возник специфически русский тип «нигилиста», воспитанный на западных идеях и авторитетах, лучшей питательной средой которого была эмиграция в центрах европейского либерализма, в Швейцарии, Париже или Лондоне. Этот тип –

студент, интеллектуал, конспиратор и политик, сплавленные в одно целое, – но прежде всего человек, говорящий «нет» существующему порядку. Эти люди не хотели пропустить свой призыв в мировую историю (51).

Между образованным слоем и революционными активистами, естественно, были противоречия, но не было принципиального различия в отношении к самодержавию, которое, в большинстве случаев, только репрессиями могло *отвечать* на необходимость общественных перемен. РХ ссылается на парадоксальный случай из биографии Ленина: сестра его тещи, в течение 30 лет заведовавшая женской гимназией в Новосергиевке, завещала все свои сбережения сестре, а та отдала эти сбережения дочери и ее мужу, которые во время мировой войны оказались в тяжелом материальном положении: «По иронии судьбы вышло так, что старая заведующая гимназией сэкономила всю жизнь на еде, для того чтобы

революционер, ненавидевший все, что она любила, мог вести антивоенную пропаганду за границей» (54).

3. «Подземное» революционное движение в царской России, по мысли РХ, приобрело исключительное своеобразие и остроту благодаря легальной печати. В самодержавно-феодальном государстве XIX в., где не было «гражданской» гласности, публичности и общественного мнения в западном смысле, их заменяла литература:

В других странах Европы цивилизация есть, так сказать, результат всех социальных и политических схваток корпораций и классов. В России происходило наоборот: политическая жизнь начиналась через культуру. В Европе партии основываются на базе корпоративных социальных интересов. Группы со сходными интересами избирают и основывают свои органы. В России пресса и литературные органы были тем, что вызывало новые партии к жизни и позволяло им существовать. В то время как в Европе каждый реально действующий индивид представлял профессию или корпорацию и поддерживался своей группой или привилегиями группы, в России индивид мог преуспеть лишь как индивид – и никогда как представитель своего социального слоя (47).

Иначе говоря, литература была не одним из каналов коммуникации, определявших общественную жизнь, но, в сущности, единственной публичной сферой и формой общественного сознания, в которой осуществлялась самоидентификация «критически мыслящей личности». Цензура только обострила и углубила отрицательное отношение образованного общества к действительности:

Жестокость Петровских реформ и формирование персонала путем отправки молодых людей за границу или обучения их иностранцами привели к тому странному результату, что литература в России началась с сатиры, с критики существующего общества. У нее были отстраненные глаза, как глаза иностранца, и перо, которое следовало негативной и дидактической линии (48).

Изнанкой литературных мечтаний и литературоцентризма, героического или анархического культа «личности» и литературных «властителей дум» была аморфность социальных структур, неразвитость и пустота общественной жизни и, как следствие, чудовищный разрыв между индивидом и его окружением, между сознанием и бытием, между словом и делом. Это, а главное, неспособность власти реформировать и сплотить вокруг себя общество – стало естественной питательной почвой революционных настроений:

Неудивительно, что все образованные люди бросились в социализм. Социализм делал литературу пропагандой. Социалисты претендовали на выражение классового сознания пролетариата. Но в России не существовало пролетариата. Здесь основную тяжесть классовой борьбы нес не рабочий-пролетарий, которого Маркс и Энгельс видели голодающим на хлопковых фабриках Ланкашира. Хотя русские были первыми переводчиками «Капитала» с немецкого, атаки на капитализм, содержащиеся в этой книге, вызывали энтузиазм у не-капиталистов и не-пролетариев. Члены феодального класса посвятили себя изучению Маркса с той же готовностью, которая за 20 лет до того привела Толстого к изучению школьной системы гётевского Веймара, с той же увлеченностью, с какой любители музыки в царской России кинулись поклоняться западной музыке и музыкантам (50).

В силу всех этих предреволюционных предпосылок в России стало возможным то, что до 1917 г. представлялось скорее невозможным и немыслимым, а именно: захват власти большевиками и построение – под знаменем марксизма и мировой революции – псевдосоциалистического, псевдопролетарского, псевдосоветского государства, чуждого европейскому социализму и «европейскому человеку», но ими инспирированного в плане идейном по онтологически-событийной логике «вопроса» и «ответа» – примерно в том же смысле, в каком в плане экономическом английский флот в XVIII в. был построен из русского леса (36).

4. РХ называет современное ему государство «Советов» – «евразийской фабрикой овсянки» (таков иронический заголовок всей «русской» части его книги). Вышеупомянутая «грандиозная карикатура на западную цивилизацию» интересует РХ не столько своей плановой экономикой и громогласной статистикой двух первых пятилеток, сколько внешне победоносной и впечатляющей, но внутренне катастрофической и комической драмой *большевизма*, победившего в России и вопреки и благодаря Марксу, западному социализму и самой русской интеллигенции.

Согласно РХ, именно большевики – а не куда более многочисленные и популярные до 1918 г. эсеры с их культом деревни и мужика – в условиях проигранной войны, распада и хаоса нации могли дать русскому народу (и дали, во всяком случае, на время) реальную духовно-идеологическую и экономическую, «тотальную» перспективу в большом контексте европейской и мировой истории. Большевики сумели привить народным массам и примитивно радикализовать – под маской «научной идеологии» марксизма – традиционную русскую интеллигентскую мечту «догнать и перегнать» якобы загнивающий Запад экономически и идеологически, а тем самым реализовать старинное православно-славянофильское упование на то, что именно русский народ спасет Европу и весь мир от капиталистической эксплуатации и приведет человечество к светлому будущему бесклассового коммунистического общества:

*Это была не русская, и не пролетарская, но европейская мысль, что страдала в России. Будучи европейскими мыслителями, читателями и учениками, русские интеллигенты оказались спрессованы в бесстрашный батальон. Они были не чем иным как **разочарованными европейцами** (57).*

Таким образом, по мысли РХ, большевизм довел до предела диалектику самоотрицания-самоутверждения русской интеллигенции как «разочарованных европейцев». Сталин, победив в партийно-гражданской войне еще верившего в мировую революцию интернационалиста Троцкого, пошел более традиционным, более национальным, более понятным широким массам путем построения социализма «в одной отдельно взятой стране» и, уничтожив

соратников по большевистской партии, одновременно продолжает и подрывает дело Русской революции в своей «грандиозной карикатуре» на Маркса и на марксизм. Ибо Маркс – это «последний по времени *протест* против существующего порядка вещей» – протест, совершенно органичный для «западного человека», свобода которого «никогда не была убаюкана и усыплена каким бы то ни было порядком вещей» (62); тогда как для православных русских, взявших на вооружение «единственно верное», упрощенное учение Маркса, «протестный» склад мышления внутренне скорее чужд и внешне лишь навязан вестернизированной интеллигенцией и ее революционным авангардом и могильщиком – большевизмом. Но теперь [а РХ, не будем забывать, пишет (переписывает) свою книгу в 1937–1938 гг.] сам уничтожается в контексте так называемого возвращения вытесненного – ресентимента исторически искаженных, «смердяковских» традиций прошлого (религиозных и культурных):

*Максим Горький в 1934 г. официально провозгласил на съезде писателей поворот к восстановлению чистоты языка русских классиков. Это показывает, что Россия вступает сейчас в свой период **Реставрации**. Уничтожение, самоубийство или ссылка всех прежних соратников Сталина говорит о том же. **Коммунизм восстановил царизм минус его союз с западным капитализмом. И Петр Великий, реабилитированный в советском кино, свидетельствует о том, что революционный период, символизировавшийся Троцким, закончился** (62).*

* * *

Мы, постсоветские постсовременники разразившейся 100 лет назад Русской революции, даже не соглашаясь или корректируя хлесткие формулировки автора книги «Из Революции выходящий», думается, в новом столетии, в новой (в сущности, постреволюционной, если не «постисторической») ситуации во всем мире должны согласиться с ним, по крайней мере, в одном принципиальном отношении. Мы, сегодняшние, сами – *из Революции выходящие, но бессильные из нее выйти, «оволить»*. Современная

временная «вненаходимость» давнему и недавнему прошлому не гарантирует, что мы способны дать по-настоящему ответственный ответ на вопросы, усилия и утопии прошлого. Это тот случай, на фоне которого приходится совсем не риторически признать себя наследниками русских «разочарованных европейцев» XIX и XX вв. – почти независимо от того, как мы сами оцениваем и понимаем это наше наследие. Традиционное представление, в соответствии с которым там, на Западе, наступила беспросветная «европейская ночь» – представление, парадоксально сближающее славянофила Хомякова и западника Герцена в позапрошлом столетии, а русских эмигрантов в советский век¹¹, – вот, похоже, стержневая духовно-историческая причина новой очередной «трагедии интеллигенции» в наше время – как в России, так и на Западе. Для особо продвинутых западных интеллектуалов, унаследовавших «протест» против капитализма и западной цивилизации, пресловутый «свет с Востока», возможно, окончательно, по выражению из Достоевского, «погас в уме» после краха СССР, тогда как современный Запад, даже с поправкой на новый очередной виток анти-западной патриотической пропаганды, уже не может предоставить *готовых образцов*, на которые ориентировались (как положительно, так и отрицательно) поколения русских «разочарованных европейцев».

Иначе это можно выразить так: все привычные, догматизированные «парадигмы» духовно-идеологического прошлого – исчерпаны; отсюда, похоже, своеобразная пустота и глубокое *молчание* современности после конца Нового времени в прошлом столетии. Позитивная сторона общеевропейского кризиса, может быть, в том, что открывается потребность в каком-то новом «новом мышлении», новом повороте в старом «споре древних и новых». Не где-нибудь, а в «русском» разделе обсуждавшейся книги о великих европейских революциях читаем:

Устойчивые процессы наших оценочных суждений часто сохраняются неизменными в изменившихся обстоятельствах. Ученому (a scholar) труднее изменить свои методы, чем целой нации – сменить религию (90).

-
- ¹ О жизни и творчестве этого мыслителя см. работы его российских переводчиков и комментаторов: *Пигалев А.И.* Прерванная игра, или Трудное возвращение в историю // Вопросы философии. – 1997. – № 8. – С. 135–137; *Он же.* Язык, культура и история в диалогическом мышлении Ойгена Розенштока-Хюсси // *Розеншток-Хюсси О.* Язык рода человеческого. – М., СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 575–597; *Махлин В.Л.* Что значит говорить (Несколько комментариев для читающих О. Розенштока-Хюсси // *Он же.* Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. – М.: Знак, 2009. – С. 312–340.
 - ² Подробнее об этой традиции см.: *Махлин В.Л.* Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. – М.: Знак, 2009.
 - ³ Некоторые из этих книг переведены на русский язык: «Речь и действительность» (М., 1994, 2008), «Бог заставляет нас говорить» (М., 1997), «Язык рода человеческого» (М., 2000), «Великие революции» (2002).
 - ⁴ См.: *Розеншток-Хюсси О.* Великие революции: Автобиография западного человека. – М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002. – С. 32–106. Перевод книги сделан по второму изданию: *Rosenstock-Huessy E.* Out of Revolution: Autobiography of Western Man. – Norwich: Argo Books, 1969. Ниже книга цитируется по указанному русскому переводу с указанием страниц в скобках.
 - ⁵ Переиздание этой книги: *Rosenstock-Huessy E.* Die europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen. Brendow Verlag, Moers, 1987.
 - ⁶ *Rosenstock-Huessy E.* Ja und Nein: Autobiographische Fragmente. – Heidelberg, 1968. – S. 68.
 - ⁷ *Бахтин М.М.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 261.
 - ⁸ См.: *Розеншток-Хюсси О.* Раса мыслителей, или Голгофа веры // *Розеншток-Хюсси О.* Язык рода человеческого. Цит. изд. – С. 7–35.
 - ⁹ Подробнее об этом см.: *Махлин В.Л.* Что значит говорить (Несколько комментариев для читающих О. Розенштока-Хюсси) // *Махлин В.Л.* Второе сознание. Цит. изд. – С. 312–340.
 - ¹⁰ Необычность фамилии «Розеншток-Хюсси» объясняется тем, что Розеншток, женившись, присоединил к своей фамилии фамилию жены-швейцарки.
 - ¹¹ См. проникновенный анализ этого мотива: *Бочаров С.* «Европейская ночь» как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле // *Бочаров С.* Вещество существования. – М., 2014. – С. 312–325.

В.Л. Курабцев

1917 ГОД: ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ ИЛИ КАТАСТРОФА?

Аннотация

В статье анализируются черты онтологических аспектов событий 1917 г. Причины утраты христианских ценностей в России и ряд существенных событий в СССР оцениваются как катастрофа. Это проявляется в признании атеистических и аморальных ценностей (после 1917 г). В статье подчеркнута необходимость радикального (христианского) переосмысления ценностных установок России.

Ключевые слова: катастрофа 1917 г., идолопоклонники, «русская идея», развитие России, православие, духовная цивилизация.

Kurabtsev V.L. 1917 year: Breach in the future or disaster?

Summary. The ontological aspects of the events of 1917 year are treated in the article. The loss of Christian valuables in Russia and substantial events in the USSR came as spiritual disaster. The atheist and immoral valuables prevailed after 1917 year. The article also indicates the necessity of Christian rethinking of accepted values in Russia.

*С лязгом, скрипом, визгом
опускается над Русскою Историю
железный занавес [19, 427].*

В.В. Розанов. Апокалипсис нашего времени

*Он сказал: довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.*

О. Мандельштам

Мы почти все в трагическом 1917-м *провалились*. По словам И.А. Ильина, это «бедствие» «равновелико по своей глубине и по своим последствиям разве только татарскому погрому, хотя разворачивается в совершенно иных формах. Как тогда, так и теперь дело идет о *самом бытии России*, об ее *исторической судьбе*, о *субстанции ее духа*» [10, 294].

Мы почти все в трагическом 1917-м оказались *нечисты*. «Нечистый, – т.е. имеющий вражду к ближнему, или ненависть, или зависть, или осуждение» [6, 337].

Была *и* вражда, особенно обездоленных к «буржуям». Была *и* ненависть, разжигаемая революционерами. Была *и* зависть – к образованным и богатым людям. Было *и* осуждение – к тем, кто «несправедливо» правил или служил «несуществующему» Богу. Немудрено, что мы *соблазнились новым проектом «Царства Небесного» на Земле*, ища Правды, Справедливости, Лучшего и доверяя яростным обличителям неправды Российской империи. Доверяя тем, кто потакал исконной «русской жажде абсолютного» (Н.А. Бердяев).

И мало кто понимал, что интернационализм – скорее утопическая иллюзия, особенно в условиях войны; что коммунистический гуманизм – это «крайний антиперсонализм», с отрицанием духовности и свободы личности (Бердяев). А безбрежный *коммунистический нигилизм* (отрицание Бога, общечеловеческой морали, частной собственности на средства производства, национальных чувств и др.) потребует массовых расстрелов, насилий, концлагерей; настоящей социальной войны и настоящего геноцида по социально-сословным и идеологическим признакам.

Нечистота накапливалась, прежде всего, в разночинной интеллигенции. Еще в начале XIX в. просвещенный поэт А.С. Пушкин мог позволить себе написать вот такие строки (подобное писал в XX в. Демьян Бедный):

*Мы добрых граждан позабавим
И у позорного толпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим* [19, 348].

И они вряд ли проходили незамеченными в умах читающей публики, в умах интеллигенции, в умах русской элиты. Для Пуш-

кина (автора также «Гаврилиады» – об архангеле Гаврииле как «любовнике» девы Марии) и для многих интеллигентов эта *православно-антиправославная раздвоенность* была едва ли не нормой. Она вырастала, как написал С. Нилус в начале XX в., «из того душевного язычества, которым в наши времена так глубоко, почти с пеленок, заражен так называемый «интеллигентный» слой русского общества» [15, 44–45].

И эти душевно-языческие интеллигенты приходили в организации (народовольцы, РСДРП, эсеры), сражавшиеся за «счастье народа». Все они были жителями «интеллигентского города Безумие, интеллигентского города Высокомерие, интеллигентского города Нигилизм, интеллигентского города Самомнение, интеллигентского города Страсть» [2, 4]. Эти «горожане», в ситуации не совершенной реализации мещанского благополучия в России и острой бифуркации 1914–1917 гг., нашли «новый священный текст».

«Писание» было неотразимым: всемирная коммунистическая революция; тотальное освобождение пролетариата и беднейших слоев; всеобщая справедливость, равноправие, счастливая жизнь с переходом в «светлое будущее». И Россия в этом «тексте» «прочла свою судьбу» [17, 100]. Но многим эта судьба была *навязана*, причем с неотвратимой жестокостью. Можно было только или без надежды сопротивляться, или эмигрировать, или пристраиваться к новому порядку (если ты не запятнан ненародным происхождением или борьбой с новой властью).

Как написал архимандрит Иоанн (Крестьянкин), «высшая степень овладения нами помыслом именуется страстью» [1, 203]. То есть душа, подогреваемая бесовской силой, «воспламеняется» неким помыслом не от Бога и начинает свою страстную душевную «агрессию против духа» [1, 93]. И уже не заповеди Божьи важнее, а какая-либо «единственно научная» мысль, свежая идея, «нужная» идеология. Наука успешна и эффективна, а следование заповедям – малопонятно, и эффективность его (особенно небесная или трансцендентная) сомнительна.

Важнее наука и выбор своего из науки. Важнее проявить себя, возможно, и непризнанного гения. Важнее решиться на бунт, и пойти наперекор «отжившим» традициям. А.П. Чехов заметил среди актеров большое число людей, полагающих, что они –

непризнанные гении. Но их, скорее всего, было достаточно и среди обычных русских интеллигентов. А когда у «дяди Вани» не получается в художественном творчестве, то есть надежда, что получится в творчестве политическом, социальном, революционном.

Зло накапливалось в разных слоях, сословиях и даже в самом, как-то заметно дехристианизированном народе. Снова встрепенулся, почувствовал свободу и захотел быть «как боги» русский человек. Св. Иоанн Кронштадтский написал об этом времени так: «Церковь стала для многих чужой. <...> Но зато рядом с *этим безбожным поколением* (курсив наш. – В. К.) стоит великая живая стена из право и искренно верующих людей – русский простой народ, которого не поколеблет наша интеллигенция, наши... толстовцы» [21, 393]. Но в целом Россия накануне 1917 г. была скорее «безобразным зрелищем страстей человеческих».

Многие как бы православные люди на рубеже XIX–XX вв. поддались миру с его «всякой распущенностью, бесстрашием, свободомыслием, своеволием, огульным пьянством и блуждением» [21, 318]. Супруги «сплошь и рядом» нарушали супружескую верность; дети оставались «распутными отцами или матерями на произвол судьбы» [21, 393]. Нередки были случаи самоубийств (топились, стрелялись, отравлялись); и так далее. Все это происходило и в XIX в. и осмыслялось в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского. Описано св. Иоанном Кронштадтским; в русской литературе, например у Л. Андреева, у М.А. Булгакова, у А.П. Чехова (пьеса «Иванов»; рассказы).

Уже с XVIII–XIX вв. в России наблюдались процессы *секуляризации* в разных слоях общества. Н.А. Бердяев удачно пошутил по поводу книги Г.В. Флоровского «Пути русского богословия»: ее нужно было назвать «Беспутья русского богословия». Петр I не понимал – как это монахи «молятся за всех». «Ведь все молятся!» – говорил он и планировал сделать из монастырей полезные светские учреждения. А Екатерина II не видела почти никакой разницы между лютеранством и православием (см.: Флоровский, Пути русского богословия). А в результате, согласно св. Иоанну Кронштадтскому, сложилась *почти постхристианская ситуация*: «Характер людей XIX в., второй половины, – самообожание, самозаконие (автономия), материализм в жизни и духовный скептицизм (неверие)» [21, 77].

Люди охлаждались в вере и теряли ее по разным причинам. И восставали так, что становились врагами Богу. Эти люди описаны Ф.М. Достоевским в образах Федьки Каторжника, Смердякова, Кириллова, Ставрогина, Федора, Ивана и Дмитрия Карамазовых и других. И в жизни происходило то же самое: известный мыслитель Добролюбов «теряет веру, пораженный злом, несправедливостью, страданиями жизни» [3, 41]. А выходец из семьи священника гуманист В.Г. Белинский готов был из сочувствия к страданиям народа «снести голову хотя бы сотням тысяч». Чем он гуманнее очевидных и беспощадных революционеров – Нечаева или Бакунина? Ф.М. Достоевский записал после прослушивания речей М.В. Бакунина в 1867 г. в Женеве: «Бакунин – старый, гнилой мешок бредней. Ему легко детей хоть в нужнике топить» [11, 25]. Для Бакунина-«революционера», как он сам об этом вещал, было вообще ничего не «жалко в этом мире».

Но и Белинский не слишком далеко отошел. Н.А. Бердяев даже сделал вывод: «Белинский предшественник большевистской морали» [3, 34]. Для таких неправославных русских, ставших подлинными *идолопоклонниками*, человек сам по себе уже ничего не значил (хотя за его «счастье» они как бы и боролись). Ум Маркса или Ленина был непомерно выше, а, главное, научнее и «нужнее», нежели Ум несуществующего Бога. Божий Промысел и Божья кара для таких личностей уже не существовали.

Тем более если речь о радикалах – большевиках. Они воистину непреклонные, эти *«монахи» бога по имени «Коммунизм»*. Их орден, «зачатый в подполье, накопивший в нем гнезда незабываемых обид, изголодавшийся по власти» [10, 129], шел к «величайшему насилию и величайшей лжи» [10, 93]. Среди них оказалось множество представителей разных народов России, в том числе евреев, интеллигентов и полуинтеллигентов, из среды обиженного царским правительством «избранного» народа. «Мессианский темперамент еврейства, несомненно, повлиял на формирование большевизма и придал его революционизму черты иступленной апокалиптики» [17, 97].

Идя на каторги и страдания, идя на преследования и лишения, они боролись и умирали «за правое дело». Горели «религиозной» страстью и силой духа, уничтожая «отжившую» старую Россию. Среди революционеров были по-настоящему сильные

личности, например безбожник и коммунист Н. Спешнев, входивший в кружок петрашевцев, который, вероятно, послужил «Достоевскому поводом к созданию образа Ставрогина» [3, 28], главного «беса» известного романа.

Им тайно помогала воевавшая с Россией Германия и другие заинтересованные силы. Эта «холодная» и нехолодная война продолжается и в XXI в.: «Все делается целенаправленно для развала страны, ровно, как и в 1917» [13, 67]. И большевики оказались теми твердыми прагматиками и решительными насильниками, которые, воспользовавшись стимулированной ими же революционной ситуацией, *сменили тип Русской цивилизации*.

Есть также особое мнение, что их красная пятиконечная звезда – «каббалистический знак»; что мавзолей построен с использованием «символики престола сатаны» [11, 9]. По мнению Марка Леона, только поняв Моисея Гесса, существенно повлиявшего на Маркса и Энгельса, «можно понять сатанинские глубины коммунизма» [11, 18].

Н.А. Бердяев предположил, что мессианскую идею еврейства Маркс перенес на пролетариат: «тот же драматизм, та же страстность, та же нетерпимость» [17, 94]. С обязательным замечанием явных улучшений жизни пролетариата Европы. С «энергетикой величайшего нетерпения и страсти» *новых избранных*. С поголовным уничтожением «*гоев*» – «дворянства, купечества, казачества, единоличного крестьянства» [17, 96] и других сословий России.

Кончилась «Русская История» (опустился «железный занавес», как выразился В.В. Розанов) и родилась в скоротечных муках новая *Советская цивилизация*. Как написал Розанов, «Россия слиняла в два дня». И началась чудовищная переоценка. «Переоценка всех ценностей – таков сокровеннейший характер *всякой* цивилизации» [22, 537] (О. Шпенглер). Советская цивилизация тоже творила свое, небывшее, принимая «наследство больших действительностей» [там же] и многое из наследства разрушая «до основания».

Опустился тяжелый занавес над династиями Рюриковичей и Романовых (так, что даже в советских учебниках по истории о них говорилось немного и искаженно), над родовитыми дворянскими семьями, над многими гениальными и талантливыми людьми, над

русским офицерством и героями Первой мировой войны, над старым русским православием и другими конфессиями, над русской моралью, историей, ценностями. Может быть даже, что закончилась не только Русская История, но и *Русская Идея* (православная, по своей сути). Или она очень сильно трансформировалась.

Согласно мнению А.С. Панарина, «в советский строй» была «втайне вмонтирована... русская идея» [16, 675]. Панарин во многом парадоксально прав, потому что Империя перешла из рук в руки с неизбежной преемственностью. Перешла и мессианистическая заданность России, детерминированная величайшими масштабами страны, вопросами сильной обороны (во враждебном окружении), геополитическими, идеологическими и другими интересами СССР. Была даже мечта о всемирном советском государстве. Был, скорее всего, и Божий Промысел. Да и православие, уничтожаемое и притесняемое, никуда окончательно не исчезло, как почки на деревьях, появляющиеся еще зимой.

Н.А. Бердяев эту связь обозначил в следующих словах: «Русский коммунизм... есть деформация русской идеи... принявшей в атмосфере войны и разложения уродливые формы» [3, 126]. Он связан с русскими традициями, причем «не только хорошими, но и очень плохими» [3, 126]. К числу плохих традиций Бердяев относил установку на тоталитарное объяснение всего и вся. Если в России увлекались гегельянством, то оно тут же делалось «тоталитарной системой мысли и жизни, охватывающей решительно все» [3, 24].

Бифуркации 1917 г. способствовали темные традиции народнической борьбы с использованием террора; обычное неприятие буржуазного успеха; традиционная антиномия жестокости и сострадания в душе русского человека и другое. Н.А. Бердяев вряд ли ошибся, говоря, что русский народ весьма противоречив: «жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный» [3, 15].

И победил Октябрь 1917-го – масштабный тектонический сдвиг. Нечто неотвратимое и ужасное – для многих граждан России, для России. Такого же масштаба сдвиг произошел, вероятно, и в 1991 г. (как отрицание отрицания). Началась *социальная война* (с миллионами погибших).

И явился, как пишет Бердяев, новый «антропологический тип», новые отношения, новая мощная жизнедеятельность. Рождалась тоталитарная Советская Сверхдержава, с ее «абсолютным деспотизмом обмирщенности» [9, 141], с безбрежной государственной монополией и абсолютной властью Политбюро ЦК ВКП(б) или КПСС.

Как полагал Г.В. Флоровский, еще со времен европеизации Петра Великого «русская душа... растягивается в напряжении между... церковным и мирским» [18, 83]. Выбор из этой антиномии чего-либо одного всегда означал для России какие-либо существенные потери. Чрезмерный акцент на духовном ослаблял материальную культуру, а чрезмерный акцент на мирском (как у советских коммунистов) производил духовные опустошения и в конце концов приводил страну к гибели. То же, как правило, наблюдалось у отдельного человека нашей цивилизации. СССР выбрал исключительно мирское. И в том числе поэтому проиграл. *В России оптимально всегда находить меру между Русью Святой и Русью Культурной.*

Однако Бердяев отметил не только негативные стороны масштабных событий: «Большевистская революция путем страшных насилий *освободила народные массы, призвала их к исторической активности* (курсив наш. — В. К.), в этом ее значение» [3, 12]. Бердяев также определил советскую философию как «философию социального титанизма» [3, 123], причем коллективистского. Русскому коммунизму, согласно его мнению (30-е годы), свойствен «исключительный актуализм и динамизм». Судя по теоретической и практической работе, решимости В.И. Ленина, И.В. Сталина, многих крупных коммунистов, с этим можно согласиться.

Бердяев уверен, что благодаря революции «в русском народе обнаружилась огромная витальная сила, которой раньше не давали возможности обнаружиться. При этом естественно произошло понижение уровня культуры, ибо высокая культура всегда создается путем качественного отбора и в сравнительно узком кругу элиты» [3, 112].

Однако заметим, что «витальная сила» проявлялась почти всегда в русской истории и культуре, иначе бы не состоялась и сама Русская цивилизация, тем более после пробуждения нацио-

нального самосознания в XIX в. А что касается высокой культуры, то тут тоже необходимо посмотреть антиномически: развитие музыкального и живописного искусства не понизилось, развитие киноискусства пошло более интенсивно, развитие науки, техники, промышленности в целом, – вероятно, пошло более интенсивно. Пострадала философия, богословие, изучение и знание древних и европейских языков, традиционная этика, гуманитарные науки, гуманитарное образование и другое. Некоторые науки, как известно, вместе с их адептами были репрессированы (генетика, кибернетика и др.).

Большевики сумели пробудить в отпавших от Бога (и, вероятно, в том числе православных) людях *сильные страсти и надежды*, связанные, прежде всего, с новой русской *ценностью* и дорогой – коммунизмом. Не надуман политический и трудовой энтузиазм в СССР; великая энергетика побед над гитлеровской Германией, Японией, другими противниками. Похожее, но в связи с верой в господство арийской расы и тысячелетнего рейха, произошло с немцами в гитлеровской Германии. *Как полагал преп. Исихий, пресвитер Иерусалимский (V в.), бесы уводят нас «всегда лживым мечтанием»* [7, 182] (курсив наш. – В. К.).

Большевики нашли нечто в русском сердце (в том числе с помощью возбуждения «лживого мечтания»), и *переключили его с режима упования, пусть и частичного, на православную веру в режим социального «пламенного мотора»*, причем с крайним насилием и жестокостью по отношению к колеблющимся и «социально чуждым». И Россия отправилась уже не к Царству Святого, а скорее, к «царству» лукавого.

Новые герои как бы не были инородными пришельцами: крупнейших большевиков, включая Ленина, Бердяев назвал, вероятно ошибочно, «типически русскими людьми». Но эти «типически русские люди» повели себя как *невиданные палачи* и не останавливались ни перед чем, следуя своим идеям. Например, В.И. Ульянов-Ленин написал: «*Провести беспощадный массовый террор против... попов*» [11, 54]. И решительно реализовывал вместе с «товарищами» подобные масштабные изуверские проекты. Потрясают, в частности, массовые расстрелы священнослужителей на Бутовском полигоне Москвы. Есть ли им оправдание? Или их нужно не замечать, вспоминая достижения СССР?

Большевиков вел яростный антихристианский морализм (демонофания), мощно проистекавший из веры в народ, пролетариат и коммунистическую идеологию; вело яростно-энергичное (деятельностное) начало. Не о них ли сказал св. Иоанн Кронштадтский: «У человека страстного и совесть грешная, и свобода растленная, а у иного – и совсем сожженная» [21, 373]? «Добро» такого человека с легкостью может оказаться на удивление страшным злодейством.

Демонофаническая беспощадность с легкостью утвердилась в стране, отмеченной как православная. И вряд ли ошибся Г.В. Флоровский, написавший парадоксально пугающие слова о русском народе: «В революции открылась жесткая и жуткая правда о русской душе, открылась вся эта бездна неверности и давнего отпадения, и одержимости, и порчи. Отравлена, и взбуждена, и надорвана русская душа. И эту душу, одержимую и зачарованную, растревоженную злым сомнением и обманом, исцелить и укрепить можно только... светом Христова разума» [18, 516]. Но, как оказалось, со светом Божьего разума опоздали и проиграли, – новый порядок утвердился на 74 года.

О нелюбимой правде русского народа (проявлениях жестокости, цинизма и хулиганства, *помимо хорошего*) писали многие: например, Н.О. Лосский (см. «Характер русского народа»), В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев. В.Ф. Эрн пытался защитить русский народ, отвечая С.Л. Франку, написавшему о «непобедимой стихии зла, дикости и темноты, за которую ответственна та же Россия» [23, 83, цит. Франка].

Дикость и темнота тех окаянных лет были в том числе связаны с «пробуждением» «скотского... низшего типа человека» [8, 50], который жил «без всяких идей», по-скотски. Этот тип, близкий Шарикову из «Собачьего сердца» М. Булгакова и греческому охлосу (социальному отребью), тоже подключился к возможностям и «дарам» великой революции – как свой, «социально близкий».

Корни нравственности, о которых писал В.С. Соловьев в «Оправдании добра», – стыд, жалость и благочестие, – вдруг оказались отвергнутыми. Стало не стыдно убивать и мучить только за православную веру. Стало не жалко кулаков и *их жен, детей, старых родителей*. Стало не нужно исправлять себя в направле-

нии благочестия, благоговения. *Нечестивые и самоуверенные стали строить новый порядок*. И взрывать дорогие русскому сердцу храмы, и вскрывать мощи русских святых.

Вероятна и еще одна причина этой социальной демонизации: А. Храповицкий (XIX в.) полагал, что воля каждого человека — «по существу не злая, но непослушная и горделивая» [18, 435]. Русские, россияне оказались не просто с такой непослушной душой, а с обостренно «горделивой» душой, да еще и в бифуркационное время России. Люди вышли из подчинения. Не оказалось в душе нравственной или православной опоры и защиты.

В людях проявилась *«сатанинская гордость»*: то есть когда человек «делает себе равными всех... и не терпит быть ниже»; когда «не уважает, как должно, начальника»; «равняет себя со всеми образованными» [21, 65] и так далее.

Мало кто понимал, что «свобода не в беспочвенности, и не в почвенности, но в истине и истинности жизни, в озаренности от Духа» [18, 507]. Нечестивые закрыты для Духа Святого.

Поэтому *русский народ «созрел» и пришел, усиливая свои низкие и демонические стороны*, как бы к пропасти ада и оказался достоин той страшной (для многих) участи, которая последовала за победой Октября 1917 г. «От кого это бедствие? Кто бы ни был его виной, но оно послано от Господа» (св. Иоанн Кронштадтский написал эти слова в связи с кронштадтским пожаром) [21, 134].

Хотя, конечно, многие люди, особенно из народа, и выиграли в чем-то существенном от победы большевиков.

Флоровский имеет полное право вопрошать: «Русская революция не была ли духовной катастрофой, обвалом в душах, восстанием, и прорывом страстей, — не из духовного ли корнесловия приходится ее объяснять, прежде всего?» [18, 517–518]. Жившие «по велению необузданной натуры, по заветам злой силы» [1, 212] научили и заставили жить почти так же десятки миллионов бывших православных, мусульман, иудеев, буддистов и других. Формировалось «другое общество, другая территория и, строго говоря, *другой народ*» [12, 69].

Троцкий решительно ответил просившим его, как еврея, раввинам о сохранении синагог: «Я не еврей, я большевик». Как бы православный и как бы русский Ленин исключительно с презрением и ненавистью говорил о «боженьке», «попах», интелли-

генции, помещиках, кулаках и других. У него была совсем другая вера – вера в Революцию: «Что хорошо для революции, то и морально».

Св. Григорий Нисский назвал подобных людей «злыми и свирепыми зверьми, т.е. людьми, неспособными к умозрению и богословию» [14, 121] и уже поэтому «яростно» нападающими на святые догматы и на верующих людей. А многие из народа, в том числе охлос, реализовывали сатанинские планы.

Маркс замечательно и «научно» научил Ленина и других, что общечеловеческая мораль – абстрактна (в негативном смысле) и не подходит для понимания (и применения) в конкретно-исторических условиях. Необходима истинная, «конкретно-историческая» мораль. Поэтому красный террор даже и не скрывался за какими-то лицемерными словами. *Расстрелять столько-то или можно побольше (поменьше)* – вот один из основных стержней бесчеловечной морали, политики и практики Ленина, Сталина и, вероятно, всех их сподвижников. Все решалось просто: если идеологически важен атеизм, то нужно последовательно уничтожать представителей богословской идеологии. И жестко манипулировать оставшимися.

Н.А. Бердяев написал: *«Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа»* (курсив наш. – В. К.) [3, 93].

Так ли? Русские, действительно, склонны к догматическому и абсолютному (или «тоталитарному»). И как бы оказались готовы к догматическому (коммунистическому) обновлению. Но готовы были, приняли бы и другие аттракторы после бифуркации 1917 г.: конституционную монархию (идея Б.Н. Чичерина), демократическую республику с усилением централизованной власти (ближе к взглядам К.Д. Кавелина), православно-демократическое правление. Но случилось иначе, причем, несомненно, по Божьей воле. Говоря православным языком, – *народ, желавший все и сразу и забывший о Боге, получил наказание от Бога*. Как были наказаны евреи – геноцидом, особенно от Древнего Рима, и рассеянием в первые века нашей эры.

Проиграло Самодержавие; проиграло старое Православие; проиграла Белая армия; проиграла идеология «Самодержавие, Православие, Народность»; проиграли высшие и консервативные

слои русского общества. Несовершенное (по причине частичности веры у людей), ослабленное Православие начала XX в. не смогло противостоять активному искушению коммунизма.

Русская империя не выдержала натиска социально-экономических проблем и натиска «научных», агрессивно-романтических идей и оказалась банкротом по высшему идейному, да и духовному счету. Почти аналогичное произошло и с СССР. А победители и народ получили и то, что ожидали (но по-другому), и то, чего не ожидали. В том числе массовые расстрелы тех самых людей, которые сами беспощадно расстреливали ради Пролетарской Революции. Но так бывает в истории всегда («хитрость Мирового Разума» Гегеля).

И этот как бы «Разум» вывел Россию (СССР) на уровень мировой сверхдержавы, лидера освоения космоса и атомной энергии, созидателя новых отраслей промышленности и сельского хозяйства, образца «дружбы народов» и союза национальных республик. Он сделал из дореволюционной России образец образования, образец светской морали, образец социальной защищенности и социальной справедливости, образец спорта, образец многих видов искусства, науки, военной техники и так далее. Обычный человек получил реальное право на труд и отдых, бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье и так далее. Появились многочисленные советские социальные «лифты» для самых обычных людей – образовательные, научные, политические, профессиональные, военные и другие.

Но эта же сверхдержава оказалась прославленной и жестокими потерями в ходе революции и Гражданской войны; страшными репрессиями на протяжении десятилетий. Можно даже говорить о состоявшемся *социально-сословном расизме и геноциде* – «расизме внутреннем... эндогенно направленном геноциде» [17, 103] (в отличие от нацистского расизма по отношению к отдельным этносам и расам, в том числе и вне страны). А также состоялся *идеологический* (по критерию «исповедования» коммунистической идеологии) *геноцид*. И кто не был умерщвлен сразу, страдал в одном из лагерей ГУЛАГа (около 3000 мест заключения; репрессированы, по данным общества «Мемориал», около 4 млн человек).

Сверхдержава прославилась этим обширным и страшным архипелагом ГУЛАГ, тоталитарным контролем над каждым чело-

веком и обществом, почти закрытым внешним миром и чудовищной цензурой.

Она получила известность своими элитными привилегиями для партийных работников; эксплуатацией (иногда жестокой) колхозников, рабочих, трудящихся граждан; голодомором. Она не пощадила свою родную природу и духовно-религиозные основы жизни каждого человека и этноса; не пощадила православие и ислам, иудаизм и буддизм и многое другое. Она навязала свою единственную «научную», утопическую идеологию на всех уровнях жизни и деятельности человека (от рождения и детского сада и до смерти); навязала эту же идеологию всем этносам, социальным группам и всему обществу, беспощадно отсекая все иное. Она контролировала *все и всех* (после смерти Сталина как-то мягче).

При этом советский образ жизни был, согласно *точному диагнозу* А.С. Панарина, парадоксален: «Верхи тайно вели западный образ жизни... как потребительская богема спецраспределителей; низы же были обречены на “советский образ жизни” с его пресловутыми дефицитами» [17, 81].

Но, снова парадоксально, можно оценивать СССР и совсем иначе, как С.Г. Кара-Мурза: «Харизма СССР – наше достояние и наше сокровище» [12, 73]. То есть *Советская цивилизация оказалась очень противоречивым и периодами жестоким цивилизационным экспериментом*.

Люди пристраивались, жили и умирали – без покаяния, без веры в Бога, без исповеди и причащения; в могилке под Красной Звездой*. И не понимали давно уже известного (от св. Антония Великого и раньше): «Величайшая болезнь души, крайняя беда и пагуба – не знать Бога» [5, 82]. Не знали вразумления св. ап. Павла: «Или не знаете, что несправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни *идолослужители* (курсив наш. – В. К.)... – Царства Божия не наследуют» (1 Кор 6. 9–10). А верующих (в марксистско-ленинский путь) коммунистов, особенно из правящих слоев, и активно помогавших им можно называть именно так: *идолослужители*.

Наша «бездна неверности и давнего отпадения» имеет много причин, но первостепенны следующие: во-первых, это традиционное, едва ли не с Крещения Руси, *двоеверие*. То есть частичное православие и не забытые сакральные элементы язычества.

И сегодня это сохраняется в финно-угорских и других этносах России. Во-вторых, это сильнейшее, разрушительное для веры, *влияние образования и научных открытий XIX – начала XX в.* – теории Дарвина, теории Маркса и Ленина, философии Ницше, теории Фрейда и других. Будущий православный писатель С. Нилус после окончания университета стал, как он пишет, неправославным человеком. Флоровский глубоко объяснил то, что может происходить с ученым или образованным человеком: «“Не-верующая наука”, конечно, никак не “нейтральна”. Это своего рода “против-богословие”»; и страстность в ней возможна «темная и злобная» [18, 518]. Поддавались даже священники – некоторые пытались сочетать доверительный интерес к Дарвину с верой в Библию.

В-третьих, это разлагающее *влияние новых свобод, демократических аспектов* жизнедеятельности после освобождения 1861 г. Народ (и тем более интеллигенция) стал больше полагаться не на Бога, а на самого себя, или исключительно на самого себя. И был более открыт новым идеям и идеологиям, особенно многообещающей и очень «научной» марксистской. Шла разночинная дифференциация населения, *растекание бывших православных по социальным слоям, сектам, обществам, партиям, образам жизни, ценностям.*

«Одержимость» и «порча» многих людей, помимо основной причины – отпадения от веры, во-первых, определялась острым желанием *улучшить свою жизнь*, и при этом *предать* фундаментальные основы Русской цивилизации. По аналогии с мотивами «апостола» Иуды Искарота.

Хотя, конечно, авторитет самодержавия с января 1905 г. был заметно подорван. Накануне октября 1917 г. в России произошло несколько крупнейших рабочих забастовок. Как написал св. Иоанн Кронштадтский об одной из них: «Своевольная, вредная для всех забастовка, полная анархия» [21, 421], с неповиновением начальству. Крестьяне мстили своим барам и поджигали помещичьи имения. На фронтах наблюдалось явное нежелание воевать со стороны многих солдат; имели место «братания» с противником. В социальных группах, в семьях был свой беспорядок, развал и хаос.

Во-вторых, *Первая мировая война и заметные неудачи русской армии* обострили противоречия в социально-политической и экономической жизни России. Слишком многие были недовольны. К этому добавилась безудержная агитация большевиков в среде солдатской массы и массовое дезертирство. Русский патриотизм становился из определяющей ценности ценностью второстепенной.

Н.А. Бердяев так описал события этого периода русской истории: Временное правительство провозгласило «отвлеченные гуманные принципы», без вдохновляющей силы и энергии для народных масс. Для русского человека они оказались слишком слабыми, как бы инвалидными мыслями. «Либеральные идеи были всегда слабы в России и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновляли» [3, 30].

Это правительство не было способно справиться с «разлагающейся войной, разлагающейся армией и притом колоссальной, многомиллионной армией» [3, 114]. «Только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии» [там же]. И только большевики сумели демагогически внушить массам те лозунги и символы, которые помогли их организовать и захватить с их помощью власть.

Больная народная душа, «растревоженная злым сомнением и обманом», оказалась перед фактом *смены цивилизаций*, перед фактом диктатуры большевиков, перед фактом «неслыханной тирании» (Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов) радикалов с их беспощадной ВЧК. Но хотелось бы надеяться, что «эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. <...> Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет Своего народа» (Ветхий Завет, Вторая Книга Маккавейская, 6. 12; 16).

Что можно сказать сегодня по поводу столетия Октября 1917 г.? Как относиться к этим великим событиям, определившим судьбу России, ее населения, судьбу мира на десятки, а может быть, и больше, лет? Найдём ли мы *свое буржуазно-небуржуазное будущее*?

Для нас характерно не слишком благожелательное отношение к «богатым», к мещанам, и нередко лишь частичное одобрение

«власти капитала». Это, вероятно, определяется и тем, что *«Россия не призвана»* (курсив наш. – В. К.) к благополучию, к телесному и духовному благоустройству, к закреплению старой плоти мира» [4, 31]. Это заметно и в русской литературе и философии. «Обличение буржуазности Запада – традиционно-русский мотив» [3, 29].

Возможно, А.С. Панарин открыл одну из причин этого: у России «историко-эсхатологический темперамент – неспособность целиком жить настоящим и принимать статус-кво»; «Россия имеет призвание звать в будущее» [17, 197], можно сказать, некое *не-буржуазное будущее*. И это одна из причин такой фанатичной веры многих россиян в «научную» идеологию большевиков, а на рубеже 90-х годов – в прозападные обещания и прогнозы демократов.

Но русским пора осознать простые вещи: нельзя доверяться «юпитерам века сего» [21, 78].

Как бы нам трудно ни жилось, *нельзя предавать православие. Нельзя предавать хорошую власть и русскую армию. Нельзя предавать русский патриотизм и другие национальные ценности!* «Отказ от собственной истории, корней и традиций – это социогуманитарная катастрофа» [13, 27].

Не пора ли нам поискать истину в словах Г.В. Флоровского: «Умственный отрыв от патристики и византизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и духовных неудач в русском развитии» [18, XV]? Не это ли важная причина победы большевиков в 1917 г. и устроенного ими геноцида? Не отсюда ли наказание в виде страшных поражений и потерь (в том числе в связи с голодом в блокадном Ленинграде) времен Великой Отечественной войны?

Нельзя поддаваться чуждым нашей судьбе аргументам и, забыв «дорогу в Храм», жить *безбожно* и решать на потребу дня судьбоносные дела. Не будем теми, кто «не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется» (Мф 13, 21). *«Доколе Россия будет православна и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, доколе она будет могущественна и непоколебима»* (курсив наш. – В. К.) [21, 101].

А новые боги, как сказано в Библии, никогда никому не помогали. Да и не боги они. Древние Ваал, Молох и Астарта – тоже, конечно, не боги.

«Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему.

И воспыал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян» (курсив наш. – В. К.) (Ветхий Завет, Книга Судей Израилевых, 10, 6–7).

* Символика красной звезды неоднозначна: она значима для многих советских людей, особенно для солдат Победы, в захоронениях погибших воинов; она несла и светлый, высокий смысл («наш»).

1. *Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)*. Опыт построения исповеди. – М.: Издание Сретенского монастыря, 2006. – 255 с.
2. *Архимандрит Рафаил (Карелин)*. Церковь и интеллигенция. – Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2009. – 320 с.
3. *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания УМКА-PRESS, 1955 г. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
4. *Бердяев Н.А.* Судьба России. – М.: Советский писатель, 1990. – 346 с.
5. Добротолюбие. В 12 т. Т. 1. – М.: Русский Духовный Центр, 1993. – 336 с. (Переиздание 1905 г.).
6. Добротолюбие. В 12 т. Т. 2. – М.: Русский Духовный Центр, 1993. – 304 с. (Переиздание 1905 г.).
7. Добротолюбие. В 12 т. Т. 3. – М.: Русский Духовный Центр, 1993 – 368 с. (Переиздание 1905 г.).
8. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 24. Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь–декабрь. – Л.: Наука, 1982. – 518 с.
9. *Иеромонах Серафим (Роуз)*. Человек против Бога. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. – 256 с. (Духовное наследие русского зарубежья).
10. *Ильин И.А.* Собрание сочинений: Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней. – М.: Русская книга, 2001. – 576 с.
11. Истоки зла (Тайна коммунизма). – М., 2010. – 95 с.
12. *Кара-Мурза С.Г.* Символическое наследие СССР и зачем оно нам. – М.: Когито-Центр, 2016. – 75 с.
13. *Курносков Ю.В.* Философия аналитики. – М.: ООО «РИТМ», 2016. – 320 с. (Серия «Русская аналитическая школа»).
14. *Лосский В.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. – Киев: Путь к Истине, 1991. – С. 95–259.
15. *Нилус С.* Великое в малом. – Новосибирск: Изд-во «Благовест», 1992. – 391 с.
16. *Панарин А.С.* Православная цивилизация. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 1248 с.
17. *Панарин А.С.* Россия в циклах мировой истории. – М.: МГУ, 1999. – 288 с.

18. *Прот. Георгий Флоровский*. Пути русского богословия. 3-е изд. – Paris: YMCA-PRESS, 1983. – 600 с.
19. *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. – М.: Правда, 1981. – 413 с.
20. *Розанов В.В.* Уединенное. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. – 543 с.
21. *Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский*. Я предвижу восстановление мощной России. – М.: Институт Русской цивилизации, 2012. – 640 с.
22. *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. – М.: Мысль, 1993. – 663 с.
23. *Эрн В.Ф.* Сочинения. – М.: Правда, 1991. – 575 с.

А.Н. Николюкин

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О КАТАСТРОФЕ 1917 ГОДА

*Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре.*

Аннотация

Русские писатели в России и в эмиграции оценивали Октябрьский переворот 1917 г. как катастрофу для страны и народа. Эксперимент построения светлого будущего коммунизма путем принуждения и порождаемого им страха рассматривался ими как преступная утопия.

Ключевые слова: Г. Федотов, В. Розанов, М. Горький, М. Пришвин, А. Куприн, И. Бунин, З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Блок, Б. Зайцев, А. Амфи-театров, М. Волошин и революция 1917 г.

Nikolyukin A.N. Russian writers about the 1917 revolution catastrophe

Summary. Russian writers in Russia and in the emigration considered the October revolution as a great catastrophe for the country and the people. They witnessed, that the experiment to set in the communism in Russia by force and mortal fear turned out as a criminal utopia.

Гениальный Пушкин даже месяц точно указал и перевел на новый календарь, когда бесы-большевики закрутились по всей России. И наступил обещанный Лермонтовым «России черный год».

Но взглянем на минувшее серьезно. Французская революция XVIII в. имела два этапа: свержение монархии (1792) и установка

якобинской диктатуры (1793). Революция 1917 г. в России состояла из двух этапов: Февральское низвержение монархии и Октябрьский переворот, установивший диктатуру одной партии. Как во Франции, так и в России, это была одна продолжавшаяся революция. Только французы терпели диктатуру одной партии 13 месяцев, а мы – 73 года. Терпели, поверив сначала трем ленинским обманам: мир, хлеб и земля. Мир обернулся развязанной пятилетней Гражданской войной; хлеб обернулся голодом 20-х, 40-х и послевоенных годов; обещанная земля была отобрана и превращена в колхозное рабство. «Терпеньем изумляющий народ» всё это вынес.

Разного рода катастрофы бывали в истории Руси. Катастрофа нашествия Наполеона была решена пожаром Москвы и народной войной. Катастрофа нашествия фашизма была решена жизнью 27 млн россиян и мужеством народа, о котором писала А. Ахматова.

Но бывали в истории России и более длительные, коренные катастрофы. Таково монголо-татарское иго, сначала кровавое, а затем перешедшее в мирное взимание дани. Таковым стал тяжелый эксперимент большевиков, начавшийся с кровавой Гражданской войны, красного террора и завершившийся лишенными каких-либо сил правителями СССР, приведшими страну к неизбежному распаду.

Когда-то в «Былом и думах» А.И. Герцен сказал, что варяги нужны были России, чтобы сложились княжества, монголы, – чтобы сделаться государством. Следуя логике либерала Герцена, можно сказать, что существование советского государства нужно было, чтобы в России утвердился капитализм. Разве этот факт можно оспорить?

Самой страшной катастрофой стал большевистский переворот 1917 г., когда после предательства правящей элиты весь народ лишился России, а часть его поверила в утопическую идею коммунизма. Это была преступная идеология большевистского террора, покорившая почти всю страну под лозунгами построения социализма. И потому через три поколения последовала катастрофа 1991 г., когда мы потеряли советскую империю, но в результате перестройки освободились от тоталитарного режима. Страна распалась на части.

Были утрачены завоевания победы над фашизмом. Возникла власть дикого капитала. Народ обнищал и попал в историческую ловушку права выхода республик из страны. Такова была плата за потерю России в 1917 г. Зло большевизма, которому поверила часть народа, не осталось без наказания. Иные не хотят этого понимать и сегодня. А какую Россию тогда мы потеряли! Не с «сохой», а богатую страну с великими учеными, писателями, деятелями искусства, Россию, кормившую зерном всю Европу. Результатом неудачно проведенной крестьянской реформы 1861 г. стал переворот 1917 г. И мы приобрели страну с бедным населением и стальным промышленным щитом, который не выдержал и рухнул в первый год Отечественной войны. Коммунистическая система потерпела страшное поражение, народ же выиграл войну с фашизмом. Но какой ценой! Об этом писал Виктор Астафьев. Вместе с тем советская система заложила то человекообразующее начало, которое остается до сих пор.

Выдающийся русский историк Г.П. Федотов писал в эмиграции в годовщину 20-летия октябрьского государственного переворота: «Преступление, лежащее в основе октября, миром забыто. Большинство о нем никогда не слыхало. В наш век – век мифов и легенд – на Западе уже укрепилась легенда об октябре как о восстании против царизма. Что же говорить о России, где государство, обладающее монополией лжи, в течение 20 лет культивирует октябрьскую легенду?»¹.

Переворот 1917 г. оказал злое воздействие на весь мир. Сначала незамеченный, он с укреплением власти большевиков стал пагубным, обманным примером для подражания и преклонения во многих странах. Таково так называемое «международное значение Октября».

В истории России было две тенденции.

Одна линия – разрушители национального уклада жизни России – шла от лично благородных декабристов к русофобии Герцена с его «Колоколом» и к безумным утопиям Чернышевского, к призывам к топору и индивидуальному террору народников. «До основания» удалось разрушить экономику и культуру России только Ленину и его поделщикам во время мировой войны. Они захватили власть, добились поражения России в войне и стали строить на массовом терроре свое Царство Антихриста, про-

существовавшее, как предсказывал еще В. Розанов, семь десятилетий. Ленинизм как теория, основанная на социальной лжи, был неспособен понять, что революционный переворот в России ведет к цивилизационному тупику. Закон жизни гласил: разрушение Бастилии, на месте которой появилась надпись «Здесь танцуют» (или у нас «Жить стало лучше, жить стало веселей»), неизбежно привело к якобинским гильотинам. История показала, что ленинизм – это преступное учение утопического коммунизма, приведшее в результате к гибели миллионов людей в России и многих странах.

Другая линия в истории России – со времен Илариона, великих князей, созидателей Великой Руси, от Петра Великого и Пушкина, который послал приветствие своим друзьям-декабристам в Сибирь, но осудил тайные общества и заговоры в статье «О народном воспитании». Обращаясь к «Клеветникам России», Пушкин предсказал ненависть Герцена, популярность которого была развенчана Катковым. Славянофил Ю. Самарин писал Герцену о «нравственной заразе, которую вы напустили на Русскую землю и привили сотням и тысячам молодых людей», о его материализме, который «вам пришлось по руке, как таран, которым вы разбивали семью, церковь и государство» (письмо Ю. Самарина от 3 августа 1864 г., при советской власти не публиковалось). Великим зеркалом бесов революции выступил Достоевский. Л. Толстой стал подлинным певцом существующей России в ее победах и поражениях. Последним на краю пропасти Россию удерживал Столыпин, с убийством которого надолго прервалась стезя созидателей. Остались лишь разрушители, о которых Розанов писал: «Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены (Октябрь)»². Генерал Власов предал Россию и был казнен. Ленин и его партия предали великую историю России, но их покарать, как заранее заметил В. Розанов, было уже некому.

Розанов выразил эмоциональное восприятие ленинизма. Федотов взглянул на ленинизм как историк: «Тоталитарное государство, упразднившее всякую личную свободу, управляемое единой партией под властью неограниченного вождя... Изобретателем был Ленин, а Муссолини и Гитлер заимствовали у него его политическую систему: абсолютизм, партия, вождь»³. Гитлер

утверждал превосходство немцев (расизм), Ленин утверждал превосходство класса рабочих (диктатура пролетариата).

В истории России не было более страшного человека, зло творившего под личиной блага, чем Ленин с его открытой русофобией. Едва ли кто решился бы назвать его русским человеком. Ленинизм оказался на практике самой человеконенавистнической утопией в истории.

Большевики унижали и уничтожали после 1917 г. *все сословия, кроме рабочих* (социальный расизм). Это вызывало неприятие и возмущение писателей России, призванных хранить ее духовные ценности. В результате мы потеряли Россию и получили в 1922 г. страну из четырех букв, к которой могли присоединяться другие страны, не изменяя ее названия. Такая «копилка коммунизма», по мнению ее создателей.

Историю надо помнить, понимать и справедливо оценивать. 18 ноября 1921 г. решением Политбюро ЦК РКП(б) была введена цензура. Отменена с 1 января 1990 г. Это рамки поднадзорной советской литературы. М. Горький, ставший с годами певцом советской власти, в январе 1918 г., когда он еще не утратил совесть, писал о звериной сущности большевизма:

«Правительство Смольного относится к русскому рабочему, как к хворосту: оно зажигает хворост для того, чтобы попробовать – не загорится ли от русского костра общеевропейская Революция? Это значит – действовать “на авось”, не жалея рабочий класс, не думая о его будущем и судьбе России – пусть она сгорит бессмысленно, пусть обратится в пепел, лишь бы произвести опыт, страшный».

Расстрелы уличных демонстраций начались большевиками 5 января 1918 г. в Петрограде и продолжались до 2 июня 1962 г. в Новочеркасске, но и этим не окончились. Тот же М. Горький сравнивал известные события во главе с попом Гапоном 9 января 1905 г. с расстрелом по приказу Ленина 5 января 1918 г.:

«9-го января 1905 г., когда забитые, замордованные солдаты расстреливали, по приказу царской власти, безоружные и мирные толпы рабочих, к солдатам – невольным убийцам – подбегали интеллигенты, рабочие и в упор, в лицо – кричали им:

– Что вы делаете, проклятые? Кого убиваете? Ведь это ваши братья, они безоружны, они не имеют зла против вас, – они идут

к царю просить его внимания к их нужде. Они даже не требуют, а просят, без угроз, беззлобно и покорно! Опомнитесь, что вы делаете, идиоты!». «5-го января 1918 года безоружная петербургская демократия – рабочие, служащие – мирно манифестировала в честь Учредительного Собрания. Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания – политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю...

“Правда” лжет, когда пишет, что манифестация 5 января была организована буржуями, банкирами и т.д. и что к Таврическому дворцу шли именно “буржуи”, “калединцы”.

“Правда” лжет, – она прекрасно знает, что “буржуям” нечему радоваться по поводу открытия Учредительного Собрания, им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии и 140 – большевиков.

“Правда” знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала “Правда”, она не скроет позорного факта...

Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы.

И точно так же, как 9 января 1905 года, люди, не потерявшие совесть и разум, спрашивали стрелявших:

– Что вы делаете, идиоты? Ведь это свои идут? Видите – везде красные знамена, и нет ни одного плаката, враждебного рабочему классу, ни одного возгласа, враждебного вам!

И так же, как царские солдаты – убийцы по приказу отвечают: – Приказано! Нам приказано стрелять⁴.

Так началась Гражданская война, развязанная большевиками.

М. Пришвин в статье о Ленине, ставшем организатором расстрелов народных манифестаций, статье под прямым названием «Убийец» (1917) писал: «Дворянин Ульянов-Ленин затеял в крестьянской России пролетарскую республику, и нет ничего

ненавистней ему, наверно, Учредительного собрания, которое он называет мещанским»⁵.

7 ноября 1917 г. Пришвин записывает в Дневнике: «Вот совершилась теперь мировая катастрофа и наступила диктатура пролетариата, а я по-прежнему в тюрьме, и лучшие часы, когда так я хожу с винтовкой, из которой не умею стрелять» (Пришвин участвовал в дежурстве у ворот с винтовкой, из которой не умел стрелять). 24 июля 1918 г. он рассказывает в Дневнике, как русский народ по приказанию Троцкого снимал возле храма Христа Спасителя изваяние царя Александра III:

«Царская фигура одевается изо дня в день лесами, человек наверху возле короны копаются, как лилипут. Статуя 1000 пудов веса, в туловище можно устроить спальню и кабинет, в сапоге выпастся человеку. На работу отпущено 20 тысяч денег. Раз уже пробовали снять его и не могли, теперь делают это планомерно под руководством архитектора, который дознался, что царь “составной”. Вокруг шеи царя петля, канат спускается книзу, за концы привязывают мачты и поднимают кверху. Общее впечатление такое, что вся масса лилипутов хочет царя удавить».

Итоговую мысль о катастрофе 1917 г. Пришвин записывает в Дневнике 18 ноября 1920 г.: «Для нас загадочны Октябрьские дни, и мы им не судьи пока, но завеса в настоящем упала: коммунизм – это название государственного быта воров и разбойников».

Картину жизни Петрограда после незаконного захвата власти большевиками уже 9 ноября 1917 г. воссоздала Зинаида Гиппиус (стихотворение «Сейчас»):

*Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.*

Еще 16 мая 1917 г. Розанов писал в «Новом времени» о нависшей опасности со стороны «ленинцев» и об их «классовых вождениях», которые «угрожают всей России попасть в обладание какого-нибудь одного класса, тогда как она была и есть совокупность классов, есть единство и целостность страны со всеми ее окраинами и во всем множестве составляющих ее народностей»⁶.

Сущность ленинизма как преступной теории Розанов видел в том, что индивидуальный террор народников Ленин заменил массовым террором против всех сословий, против всех, несогласных с ним (так называемая «диктатура пролетариата» как суть ленинизма). В статье «Как начала гноиться наша революция» Розанов обозначил момент, когда революция из рук романтиков перешла в руки преступников (как столетие спустя в 2014 г. на Украине): «С приездом Ленина начался явный переворот в революции. Прошли ее ясные дни. Вдруг повеяло вонью, разложением. До тех пор было все ясно, твердо, прямо»⁷.

Розанов, как и многие тогда, считал, что Ленин обращает Россию в дикое состояние. «Ленин отрицает Россию. Он не только отрицает русскую республику, но и самую Россию. И народа он не признает. А признает одни классы и сословия, и сманивает всех русских людей возвратиться просто к своим сословным интересам, выгодам. Народа он не видит и не хочет. <...> России нет: вот подлое учение Ленина. Слушавшие его не разобрали, к чему этот хитрый провокатор ведет. Они не разобрали, что он всем своим слушателям плюет в глаза, называя их не “русскими”, а только “крестьянами”»⁸.

И вот Россия распалась. «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая “Великого переселения народов”»⁹.

После встречи с Лениным в 1919 г. А.И. Куприн записал свое тягостное впечатление: «Этот человек, такой простой, вежливый и здоровый – гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Ивана Грозного. То есть при всем своем душевном уродстве, были все-таки люди, доступные капризам дня и колебаниям характера. Этот же – нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И притом – подумайте! – камень в силу какого-то волшебства – мыслящий! Нет у него ни чувств, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая непобедимая мысль: падая – уничтожаю»¹⁰. Ленин – самый нравственно страшный человек в истории России. Вопреки библейской мудрости («Дом, разделившийся сам в себе, не устоит»)

он построил государство, части которого имели право на выход. Можно ли после этого говорить о политическом уме Ленина даже с точки зрения истории коммунизма? История показала обратное.

* * *

Черные дни России с убитыми, лежащими на улице, Иван Бунин назвал «Окаянные дни». Это самое верное определение того времени. Великий писатель воссоздал глубокую и прочувствованную историю жизни в большевистской России 1918–1919 гг. Еще в Дневнике 1917–1918 гг. он отмечает 4 ноября 1917 г., как изменился облик людей на улицах Москвы после захвата власти коммунистами. «Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла... Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!».

Писатель говорит о внешнем виде победителей, возвращавшихся по Поварской улице после похорон на Красной площади «борцов большевиков»: «Вид – пещерных людей. Среди Москвы зарыли чуть не тысячу трупов... Была Россия! Где она теперь. О Боже, Боже»¹¹.

И заканчиваются описания «окаянных дней», воцарившихся на долгие десятилетия, обвинением так называемой передовой мысли, подготовившей за столетие после декабристов разрушение России: «Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? – поистине сказочно богатой и *со сказочной быстротой процветавшей!* – и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение – это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!» [с. 149–150].

В Петрограде Бунин видел большевистскую пропаганду в действии. «Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых? Комедию проделали с полным легко-

мыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой» [с. 114].

Накануне «интернационалистического праздника» 1 мая 1918 г. Бунин с возмущением наблюдает разрушение памятника Скобелеву на Тверской улице: «Это хамское, несказанно-нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса! А завтра, в день предания Христа – торжество предателей России!» [с. 62]. Пасха была в том году 5 мая.

Уничтожение памятников культуры, столь характерное для большевиков, особенно первых лет, вызывало горечь у писателя. В связи со слухами о приближении немцев он «слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов... Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно» [с. 80].

Но Бунин не был бы Буниным, если бы тут же в первый предвесенний день не записал: «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно хороша была одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость? К вечеру все повесенному горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег» [с. 75]. Как будто вдруг повеяло будущим Буниным, автором «Темных аллей».

И возникал вопрос о большевиках: «Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?» [с. 87]. Встреченный бывший министр юстиции Временного правительства П.Н. Малянтович «рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

– Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да не, вы только подумайте, ведь мы только

демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех!» [с. 89].

В Одессе, куда Бунин с женой переехал в июне 1918 г., было то же разорение. «Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...» [с. 92].

Одесса под властью большевиков производила тягостное впечатление. «Город чувствует себя завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, “кроет матом”. По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за “павшего борца” (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен)...

Вообще, как только город становится “красным”, тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается. Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда...

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие этой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!» [с. 109–110].

Бунин выступил свидетелем дорвавшегося до власти бунта. «бессмысленного и беспощадного», свидетелем такой силы правды, какую нигде не встретишь в такой глубине художественного и нравственного воплощения. «Этим записям цены не будет» [с. 101], — мог по праву сказать писатель.

И остается лишь вера в будущее возмездие. За четыре года до катастрофы России В. Розанов писал о том же: «Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм — буря, дождь, ветер...

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: “Неужели он (соц.) *был?*”. “И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода”?

– О, да! И еще скольких этот град побил!!

– “Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?”»¹².

Но тогда это было еще впереди. А для Бунина все это стало настоящим. И ему лишь оставалось надеяться на будущую справедливость: «Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?» [с. 120].

Розанов, еще не пережив этого «социализма», предвидел, что «“новое здание”, с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении»¹³. Как в воду смотрел: именно три поколения прошло после катастрофы 1917 г., когда «социализм» рухнул. Три поколения загубленных следили друг за другом (повсеместная система осведомителей в годы расцвета советской власти).

Историческое значение большевистского переворота, именовавшегося *Великой Октябрьской социалистической революцией*, с последующим делением страны на республики, заключается в том, что она, эта катастрофа 1917 г., заложила неизбежность распада России в конце XX в. Как говорил Розанов, иначе и быть не могло. Однако никто из коммунистических лидеров этого понять и предвидеть не смог.

Понятие «социалистическая» революция в этом узаконенном штампе из четырех слов (СССР) означало путь к социализму через красный террор и уничтожение инакомыслия. Коммунизм, построенный на костях расстрелянных, – что может быть в истории страшнее и безнравственнее? Смогли бы люди существовать в таком коммунизме? Как показывает советский опыт, – пытались. Но, слава Богу, история такого в России не допустила.

З.Н. Гиппиус в Петрограде в течение 1917–1919 гг. вела ежедневный дневник, отражающий жизнь города и прежде всего той среды, в которой находилась она вместе со своим мужем

Д.С. Мережковским. Среди записей событий после большевистского переворота появляется 29 октября 1917 г. первая обобщающая запись: «Петербург, – просто жители, – угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни».

4 ноября страшная запись: «Расстрелянная Москва покори-лась большевикам. Столицы взяты вражескими – и варварскими – войсками. Бежать некуда. Родины нет». 7 ноября Гиппиус начинает вести тайную «Черную тетрадь», обнаружение которой грозило бы жизни ее автору в тех условиях жизни по «закону революционной целесообразности». Тетрадь открывается словами: «Да, черная, черная тяжесть. Обезумевшие диктаторы Троцкий и Ленин сказали, что если они даже двое останутся, то и вдвоем, опираясь на “массы”, отлично справятся. Готовят декреты о реквизиции всех типографий, всей бумаги и вообще всего у “буржуев”, вплоть до хлеба».

И как бы предвидя воцарившуюся в будущих 70 годах советскую цензуру, Гиппиус записывает 11 ноября: «Я сегодня очень огорчилась... но мне советуют этого не записывать. Рабство вернулось к нам – только в страшном, извращенном виде и в маске террора. Не оставить ли белую страницу в книге? Но ведь я забуду. Ведь я не знаю, скоро ли вернется свобода... хотя бы для домашнего употребления. Ну что ж. Проглотим этот позор! Оставим белую страницу»¹⁴.

Страница за страницей Гиппиус описывает кошмары города. 4 декабря: «Винные погромы не прекращаются ни на минуту. Весь “Петроград” (вот он когда Петроград!) пьян. Непрерывная стрельба, иногда пулеметная. Сейчас происходит грандиозный погром на Васильевском. Не надо думать, что это лишь ночью: нет, и утром, и днем, и вечером – перманентный пьяный грабёж».

Особенно потряс жителей Петрограда расстрел большевиками мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания 5 января 1918 г. В этот день Гиппиус записала: «На Невском громадные манифестации, но далее Литейной не пускают. На Литейной одну манифестацию уже расстреляли, у № 19. Манифестанты в большинстве – рабочие. Какой-то рабочий говорит:

– Теперь пусть не говорят, что “буржуи” шли, теперь мы шли, в нас солдаты стреляли.

Убит один член Учредительного Собрания, один солдат-волынец, несколько рабочих, многие ранены... Где-то близ Кировой и Фурштадтской расстреливали манифестации 6 красногвардейцев. На крышах же (вместо городских) сидели матросы. Одну барышню красногвардеец заколол штыком в горло, когда упала – доколол».

Утром следующего дня Гиппиус записывает о ликвидации Учредительного собрания: «И под настояния и угрозы улюлюкающих матросов (особенно отличился матрос Желязняков, объявивший, что “караул устал”, что он сейчас погасит свет), кончилось, мазалось это несчастное заседание к 6 ч. утра!

Первое – и последнее: ибо сегодня уже во Дворец велено никого не пускать. Разгон, таким образом, осуществлен; фактически произвел его матрос Желязняков. В данную минуту ждем еще официального декрета. Почти ни одна газета не вышла. Типографии заняты красногвардейцами. Успевшие напечататься газеты отнимались у газетчиков и сжигались».

В «Черных тетрадах» Гиппиус появляются ежедневные записи: «22 января, понедельник. Всю ночь длились пьяные погромы. Опять! Пулеметы, броневики. Убили человек 120. Убитых тут же бросали в канал». «24 января, среда. Погромы, убийства и грабежи, сегодня особенно на Вознесенском, продолжаются без перерыва. Убитых складывают в Мойку, в канал, или складывают (винных утопленников), как пленницы дров».

25 января при занятии Киева красными войсками в Киево-Печерской лавре был убит митрополит Владимир. Узнав об этом, Гиппиус записывает 2 февраля: «Киев нейдет у меня с ума. Тысячи убитого населения... В Киеве убит митрополит Владимир».

И так изо дня в день. 17 марта запись: «Вчера на минуту кольнуло известие о звероподобном разгроме Михайловского и Тригорского (исторических имений Пушкина). Но ведь уничтожили и усадьбу Тургенева. Осквернили могилу Толстого. А в Киеве убили 1200 офицеров, у трупов отрубали ноги, унося сапоги. В России убивали детей, кадетов (думая, что это и есть “кадеты”, объявленные “вне закона”).

У России не было истории. И то, что сейчас происходит, – не история. Это забудется, как неизвестные зверства неоткрытых племен на незнаемом острове. Канет».

Дневники Гиппиус за два года пребывания в условиях большевистского террора могли бы стать обвинительным документом на новом Нюрнбергском процессе над коммунистической властью в Петрограде. Но судьба решила иначе. Ныне только историки могут читать и понимать все, творившееся в те годы красного террора. В заключение приведем запись лета 1919 г. о ежедневных расстрелах (как во времена «ежовщины») в Петрограде, в том числе известного ученого и публициста Бориса Владимировича Никольского. «Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10–11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает, – уводят... Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали». На этом издевательства не кончились. Сына Никольского вызвали во «Всеобуч» (всеобщее военное обучение). «Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): “А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили”. Зверей Зоологического сада, еще не подошедших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, – это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше. Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я не знаю)»¹⁵.

Большевистская власть в Петрограде расстреливала не только физически, но и нравственно, обманом, ложью. В августе 1921 г. она, эта чуждая России власть лишила жизни двух великих поэтов – Николая Гумилёва и Александра Блока. В последнем, предсмертном письме К.И. Чуковскому Блок писал с душевным надрывом: «Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Такие слова из уст автора «красной» поэмы «Двенадцать» говорят подчас больше, чем перечни Гиппиус о зверствах и расстрелах в «красном» Петрограде. Правда истории берет верх у великих поэтов.

Съела чушка и Маяковского, и Есенина. Гений не мог существовать в такой стране, как предвидел еще Достоевский. Помните его слова о коммунистах, которые «не хотят лучших, а хотят равенства и отрубят голову Шекспиру и Рафаэлю» (ПСС. Т. 27. С. 54). В эмиграции это понимали лучше, чем в России.

Борис Зайцев в статье «Пастернак и революция» вспоминал годы после катастрофы 1917: «Это было очень страшное время – террора, холода, голода и всяческого зверства. Из виднейших многие писатели уже эмигрировали – Мережковский, Бунин, Шмелёв. Но в Москве оставалась еще группа писателей культурно-интеллигентской закваски, державшаяся в стороне от власти, кое-как выбивавшаяся сама»¹⁶.

А.В. Амфитеатров в эмиграции написал «Горестные заметы» (Берлин, 1922), в которых рассказал о жизни в красном Петрограде под пятой большевизма. «Обладание номером иностранной газеты для обывателя – преступление, не допускающее смягчающих вину обстоятельств. Сейчас в Крестах сидит Наталья Алексеевна Суворина, 18-летняя девушка, внучка знаменитого основателя “Нового Времени” и дочь редактора-издателя “Руси”. Барышня эта, особа совершенно аполитическая, немножко художница, немножко певица, служила в “РОСТА” (Российское телеграфное агентство), получающем ex officio <по службе> все заграничные газеты. У одного из ее знакомых при обыске нашли номер “Times”. Он при допросе показал, что номер дала ему Суворина. Последовал обыск и у нее, причем, как водится, всю квартиру перевернули, но никакой контрреволюции не обрели, за исключением... нескольких модных журналов». К этой записи Амфитеатров делает позднейшее примечание, что «несчастливая девушка так и умерла в тюремной больнице»¹⁷.

В этой же книге Амфитеатров писал и о неблагоприятной роли Г. Уэллса во время его поездки в 1920 г. в Петроград в объятия М. Горького. Наиболее выразительно об этой поездке знаменитого английского фантаста к Ленину написал Д.С. Мережковский в «Открытом письме Уэллсу», опубликованном в парижских «Последних новостях» 3 декабря 1920 г. С неизменной прямоотой он писал в своем обращении Уэллсу: «Ваш друг Горький – не лучше, а хуже всех большевиков – хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами. В такой мешок посадил Горький душу России... Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они существа иного

мира, их тела – не наши, их души – не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью»¹⁸.

В ноябре 2017 г. исполняется 100-летие первых жертв большевизма в Москве. Тогда погибли юнкера, пытавшиеся противостоять оскалу красногвардейцев, захвативших мирный город. 13 ноября Москва хоронила погибших юнкеров на Братском кладбище жертв Первой мировой войны. В советские годы кладбище это в районе Сокола было уничтожено, как и память о юнкерах и студентах Московского университета, ставших первыми жертвами нового строя.

Максимилиан Волошин, получив в Коктебеле известие о гибели юнкеров в Москве, пишет стихотворение «Демоны глухонемые», воскрешающее мотивы «Бесов» Пушкина и Достоевского:

*Они проходят по земле,
Слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые
В распахивающей мгле.*

*Собою бездны озаряя,
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.*

Знакомая М. Волошина в письме от 9 ноября 1917 г. описала разгром большевиками Москвы, прибавив: «Видела портрет Ленина и К°. Милый мой, да ведь это дегенераты?! Казалось, “Сахалин” Дорошевича перед глазами».

Когда в 1987 г. отмечалось 70-летие Октября, по радио выступил какой-то 90-летний старик, бывший красногвардеец из Замоскворечья, и с ликованием вспоминал, как «мы клали юнкеров у Никитских ворот в ноябре 17-го». Та ненависть осталась вплоть до падения советской власти, если не дольше.

Знаменитый Вертинский, принимавший участие в народных похоронах 13 ноября 1917 г., навеки запечатлел трагизм тех дней в своей песне:

*Я не знаю зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.*

Не так давно в молодежной аудитории было проведено голосование: Сталин – великий полководец (красная кнопка) или Сталин – великий преступник (белая кнопка). Постановка вопроса принципиально неверная. Но современная молодежь нажала красную кнопку (81%) и только 19% – белую. Молодежь эта при Сталине не жила и объяснить ей «невыразимое» невозможно. Если бы этот вопрос поставили во времена Сталина (что даже представить себе невозможно!), без сомнения, все нажали бы красную кнопку. Если бы несколько человек все же отважились нажать белую кнопку, по отпечаткам пальцев их бы вычислили и ликвидировали без всякого суда. Где же понять это нынешней молодежи...

Прошлое не имеет, как известно, сослагательного наклонения. История России в XX в. неизменна. Но существует мнение, что если бы Адам, вместо того чтобы возлагать вину на Еву, которая дала ему плод от запретного дерева, покаялся перед Богом, то милостивый Бог, возможно, простил бы его и не было бы никакого первородного греха. Не знаю, могло ли так быть с Адамом, но вот коммунисты всегда похожи на такого «упорного» Адама. Они могли признавать свои отдельные ошибки, но никогда не каялись и неспособны каяться, тем более признать ошибочность и преступность их теории. Поэтому «первородный» грех русского коммунизма навсегда остается с ними.

Только теперь мы почувствовали, что дало нам разделение России на республики. Ленин заложил неизбежность распада страны в будущем. Его преступление состояло в том, что он основывался только на одном сословии – рабочих и только на одной партии – большевиков.

В 1991 г. коммунистическая структура, именовавшаяся СССР, разом рухнула, распалась на отдельные республики. Мы потеряли Империю, но без большой крови. Советская система исторически не могла сохраниться. Иного выхода быть не могло. Причины распада страны были **заложены большевиками** и утверждены при создании СССР. Об этом и говорили наши писатели после 1917 г.

Сегодня страстно спорят: почему распался Советский Союз?

Обещали коммунизм, а построили Империю. Ликвидация СССР была неизбежна, хотя никто не мог этому поверить. Распад советского строя не мог зависеть от воли или неволи большинства

(референдум 1991 г.). Философ В. Розанов объяснил это век назад, когда всё еще только начиналось. Красивая утопическая мечта о светлом будущем, основанная на насилии, не может просуществовать более трех человеческих поколений. Это приговор Екклесиаста. А «они», «другие», ищут вину Горбачёва, Ельцина, элиты, предавшей страну! А ларчик просто открывался.

После краха советской системы осталась Россия, нищая и «обглоданная» коммунистами, как говорил Розанов (нынешняя молодежь 20–30 лет не видела тусклые полки магазинов большинства советских лет). Возродить Россию и создать сильное единое Российское государство с идеей самосознания и любви к Родине выпало на долю нового, нынешнего поколения. И это зависит от нас. Говорить и писать о несправедности нынешней жизни в России всякому сегодня позволено, да власть-то реально остается у тех чиновников, кто многие несправедности творит.

¹ Федотов Г.П. Защита России. Статьи 1936–1940. – Париж, 1988. – С. 148.

² Розанов В.В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. – М., 2000. – С. 12.

³ Федотов Г.П. Защита России. – С. 76.

⁴ Горький М. Несвоевременные мысли. – М., 1990. – С. 230–233.

⁵ Пришвин М.М. Цвет и крест. – СПб., 2004. – С. 106.

⁶ Розанов В.В. Собр. соч. Мимолетное. – М., 1994. – С. 359.

⁷ Там же. – С. 403.

⁸ Там же. – С. 405.

⁹ Розанов В.В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. – С. 6–7.

¹⁰ Куприн А.И. Голос оттуда. – М., 1999. – С. 312.

¹¹ Бунин И.А. Собр. соч.: В 8 т. – М., 2000. – Т. 8. – С. 60. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в тексте.

¹² Розанов В.В. Собр. соч. Листва. – М.; СПб., 2010. – С. 92.

¹³ Там же. – С. 32.

¹⁴ Здесь и далее цитируется по книге: Гиппиус З. Дневники. – М., 1999. – Кн. 1–2.

¹⁵ Гиппиус З. Дневники. – М., 1999. – Т. 2. – С. 220–221.

¹⁶ Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1999. – Т. 6 (доп.). – С. 226.

¹⁷ Амфитеатров А.В. Собр. соч.: В 10 т. – М., 2003. – Т. 10. – Кн. 2. – С. 498.

¹⁸ Мережковский Д.С. Царство Антихриста. Статьи периода эмиграции. – СПб., 2001. – С. 131–133.

В.Т. Олейник

**«ПРЕДСКАЗАНИЕ» (1830) –
ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ ПРОГНОЗ?
(ПРОБЛЕМА ЗЛА В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕРМОНТОВА)**

Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь так называемого «демонизма» Лермонтова с его оценкой нравственного состояния современного ему российского общества. Поэт считал, что страну был избран один из наихудших вариантов исторического развития и что это с неизбежностью приведет Россию к национальной катастрофе планетарного масштаба.

Ключевые слова: общественный прогресс, пафос исторического оптимизма, просветительский рационализм, «яд просвещения», байронизм, поэзия самопознания, аномия, персонализм, гипертрофированное себялюбие, демонизм, необузданный эгоизм, эстетизация зла, «лишний человек».

Oleynik V.T. «The Presage» (1830) – an oracle or a forecast? Evil as the problem in the works of Lermontov

Summary. The article explores the interconnections of the so-called Lermontov's «demonism» with the poet's evaluation of the mental and moral states of the contemporary Russian society. Lermontov believed that his country had already chosen the worst model for its political establishment, which would inevitably lead it to the collapse in the future.

*Наступит год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будет смерть и кровь¹.*

В самом факте обращения Лермонтова к теме крушения царизма в России ничего удивительного, собственно говоря, не было.

Еще в конце 1810-х – начале 1820-х годов декабристы активно обсуждали вопрос о необходимости ограничения самодержавной власти российских императоров. При этом наиболее радикальные из них рассматривали различные варианты замены монархического строя республиканской системой правления.

Пушкин, разделявший многие идеи и настроения декабристов, вполне закономерно писал в послании «К Чаадаеву» (1818) о современном режиме как о «гнете власти роковой», а также о своей вере в то, что раньше или позже самодержавие в России обречено рухнуть:

*Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*²

Послание «К Чаадаеву» можно было бы не цитировать. Его знает всякий мало-мальски грамотный россиянин. Однако данный текст нужен, чтобы путем сопоставления прояснить специфику лермонтовского «Предсказания».

Стихотворение Пушкина несомненно оптимистично. Оно пронизано верой в светлое будущее вполне утопического типа. По версии юного поэта (Пушкину шел всего девятнадцатый год), для сокрушения бастионов самовластия в России необходимо было лишь два условия. Первое условие: удачное расположение звезд (в виде восхода некой счастливой звезды – «звезды пленительного счастья»). Условие номер два: пробуждение страны «ото сна». Монархия в том виде, в котором она существовала в Российской империи, представлялась поэту совершенно архаичной, изжившей себя системой правления, противоестественной в условиях социальных отношений, культуры и быта XIX в. Он был убежден, что у самовластия в современной ему России нет глубоких корней, что оно держится исключительно на силе привычки, на полусонном безволии граждан, на предрассудках народа и на штыках. В связи с этим и сам метод разрушения монархии предстает в его интерпретации в наивно упрощенном виде, в чем-то похожим на процессы естественного порядка типа землетрясения или же весеннего освобождения рек от оков льда. Именно эта уверенность в том,

что именно так все и произойдет, вызывала у автора целую гамму радостных, светлых чувств.

У Лермонтова все совершенно иначе. Совсем еще юный поэт (в 1830 г., во время написания «Предсказания», ему шел шестнадцатый год) изобразил катастрофу «черного года», ожидавшего Россию, так, словно он сам являлся свидетелем происходящего. Падение короны русских царей он однозначно оценивал как моральную катастрофу, как жуткую трагедию не только национального, но и планетарного масштаба. Никакие звезды пленительного счастья в этой катастрофе у него, разумеется, не участвуют. Напротив, здесь все освещено заревом страшных пожарниц, окрашивающим в цвет крови «волны рек».

Как и Пушкин, Лермонтов не фетишизировал ни стабильности, ни прочности российской монархии. Однако он явным образом видел в ней, при всей порочности и несправедливости этой формы государственности, определенную гарантию законности и упорядоченности. По его мнению, крушение самодержавия неизбежно будет связано с низвержением закона как такового, с возвратом во времена откровенной дикости и варварства. Не случайно в четвертой строке «Предсказания» звучит даже мотив возрождения каннибализма: «И пищей многих будет смерть и кровь».

Конечно, эту строку едва ли стоит читать буквально. Поэт, видимо, хотел сказать, что с падением царского режима Россию наполнят орды современных каннибалов – бандитов, убийц, палачей, превративших свою способность уничтожать людей в ремесло, в заурядную профессию, которой они с готовностью будут кормиться. И надо признать, что данное утверждение оказалось очень точным, подлинно пророческим в прямом смысле этого слова. Именно так и произошло, предопределив кошмарную бесчеловечность политического режима, созданного в конце 1910-х годов на руинах Российской империи. Из тенет этого всеобъемлющего, нутряного, наглого варварства и воинствующего антигуманизма нашей стране до сих пор никак не удается окончательно вырваться.

*Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон³ –*

мы уже отмечали, что, по мнению Лермонтова, крушение монархии и империи всенепременно будет сопровождаться истреблением

всякой законности, даже видимости ее в России, но вот список потенциальных жертв этого грядущего беззакония – дети и невинные жены – не может не впечатлять своей прозорливостью. Очень трудно отделаться от ощущения, что юноша-поэт каким-то невероятным образом предвидел те указания, которые советским деятелям пришлось изобретать и воплощать в жизнь в связи с наличием в стране большого количества «членов семей врагов народа».

*Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать*⁴ –

эти пункты предсказания вполне логичны. Катастрофы такого масштаба не могут не разрушать экономики в целом и системы здравоохранения в частности, вследствие чего голод и эпидемии, а то и пандемии в стране неизбежны. Здесь нашего внимания заслуживает подробность, по всей видимости, связанная с личным жизненным опытом Лермонтова. Во время эпидемии холеры в 1830 г. поэт то ли сам наблюдал, то ли слышал рассказы о том, как бригады медиков-волонтеров, размахивая белыми платками, собирали оставшихся в живых жителей деревень, не заходя в избы и не подвергая себя опасности непосредственного контакта с зараженными. Неоспорим также тот факт, что картины, рисуемые Лермонтовым, бесконечно далеки от радостно-восторженного миража, который представлялся Пушкину в связи с ожидавшимся им восходом «звезды пленительного счастья».

Ну и, наконец, ошеломляющий финал стихотворения – точное предсказание того, что восстание против самовластия в России завершится захватом власти в стране жестоким тираном нового типа:

*В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом*⁵.

Вполне естественно, что «мощный человек» Лермонтова стилистически весьма близок образам титанов эпохи Возрождения, вдохновлявшим многих европейских романтиков первой трети XIX в. Ощутимое влияние на поэта оказала также личность Наполеона, который существенно расширил представления современников о границах человеческих возможностей, заставив их реально пересмотреть принятые в то время взгляды на роль великой личности в истории, на объективность и обязательность для нее моральных норм, выработанных христианством, а затем и Просвещением в расчете на рядовых граждан. Впрочем, у «мощного человека» имелись отнюдь не только западноевропейские прототипы. Известно, что юному поэту доводилось слышать рассказы живых свидетелей пугачевского восстания о зверствах, чинившихся мятежными крестьянами и разбойниками. С большим интересом Лермонтов читал книги о царствовании Ивана Грозного, об опричнине и о Смутном времени, с головой погружаясь в ту атмосферу кровавого зла и насилия, которая, никогда не исчезая полностью, предпочитает, как лава, уходить как можно глубже не только в подполье общественных институтов и нравов, но и в самые потаенные уголки человеческого сознания в более спокойные, мирные периоды истории России.

Поэтому, повторимся, нет ничего удивительного в том, что восстание черни против монархии Лермонтов изобразил в виде разрушающего страну беспощадного бунта. Гораздо удивительнее то, что он в столь юные годы осознал закономерности движения исторических процессов и понял, что центростремительные силы российского монархического деспотизма можно преодолеть только с помощью центростремительных сил деспотизма, на первых порах имеющего именно антимонархическую направленность. Насилие порождает насилие и может быть уничтожено только насилием, которое, в свою очередь, становится очередной формой господствующего насилия. То есть все той же деспотией, воплощенной в диктатуре нового тирана. Само собой напрашивается сравнение с заявлением К. Маркса: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым»⁶. Великий русский поэт конечно же не имел никакой возможности ознакомиться с трудами Маркса. Однако сходство во мнениях едва ли можно отнести к совпадениям случайного

характера. Они просто рассматривали одно и то же явление, хотя и с разных сторон.

Жизнь, разумеется, внесла в эту картину свои, довольно существенные коррективы. Во внешности кровавых большевистских диктаторов не было ничего величественного и ужасного. Оба они были довольно плюгавенькими с одним «возвышенным челом» на двоих, хотя их деяния до сих пор заставляют содрогаться большинство нормальных людей. Собственно говоря, отношение к этим моральным уродам, сконцентрировавшим в своих руках невиданную в мировой истории власть, может служить самой простой и наиболее объективной оценкой здравого смысла, нравственного здоровья всякого человека.

Не было на наших диктаторах и широких бонапартовских плащей: кургузое пальтишко на одном и военная шинель на другом. И «булатный нож» в их руках – чисто плакатная метафора, поскольку их подручные предпочитали убивать из винтовок и маузеров, а затем – из пистолетов более современных систем. И все же в целом юный поэт удивительно точно предсказал события 1917 г. почти за столетие до того, как они произошли.

Это обстоятельно заставляет сильно сомневаться в достоверности тех концепций, согласно которым Февральская и, в особенности, Октябрьская революции были совершены почти случайным образом, из-за стечения целого ряда крайне неблагоприятных для страны обстоятельств, и что будто бы у России имелась некая гипотетическая возможность их избежать. Или, точнее, не допустить. При всей катастрофичности Октябрьского переворота, он не был совершен руками иноземных захватчиков. Поэтому ни о каком «саморазрыве», тем более о «самооккупации» говорить не приходится. И хотя имеется доля истины в словах А.И. Солженицына насчет того, что СССР и историческая Россия соотносятся между собой «как убийца с убитым», это вовсе не позволяет полностью противопоставлять их друг другу. Ребенок, убивший мать во время родов, в значительной мере – плоть от ее плоти. От этого никуда не деться. Историческая Россия, безусловно, сама выносила то, что со временем стало Советским Союзом. Да и нынешняя РФ – также одна из исторических ипостасей все той же России.

Незакономерные события ни планировать, ни прогнозировать нельзя. А «Предсказание» Лермонтова не просто пророчество, а именно – прогноз, который на проверку оказался очень точным. Подавляя силой все социальные противоречия и конфликты, загоняя их глубоко внутрь общественного организма и общественного сознания, император Николай I с самого начала своего правления взялся последовательно вести страну к коллапсу, крайне наивно полагая, что наводит в России порядок и укрепляет государственную власть.

Несколько упрощенным представляется также крайне широко распространенное мнение, согласно которому подавление восстания декабристов в 1825 г. стало трагическим водоразделом, коренным образом отделившим первую четверть XIX в. от всех последующих десятилетий этого столетия. Целый ряд историков убеждены, что именно это событие целиком и полностью ответственно за ужесточение в стране политического режима, за широкое распространение в культуре и в быту страны пессимистических настроений, за изменения в общественной атмосфере в целом. Однако уже собрано много фактов, которые этот взгляд опровергают. В частности, не уходя от рассматриваемой темы, можно утверждать, что различие между посланием Пушкина «К Чаадаеву» и «Предсказанием» Лермонтова не определяется тем, что первое было написано за семь лет до восстания декабристов, а второе – пять лет спустя. Различие между ними не носит исключительно ситуативного характера. Оно гораздо более фундаментально, поскольку обусловлено разницей в менталитете – в мировосприятии и мировоззрении этих двух поэтов, которые не просто принадлежали двум разным, хотя и смежным поколениям русской дворянской интеллигенции, но и, так сказать, молились разным богам.

Пушкин непоколебимо верил в общественный прогресс. Он был рационалистом и просветителем до мозга костей, убежденным, что современное ему человечество уже способно решительно влиять на свою жизнь, изменяя сами основы общественного существования. Но это может происходить только в том случае, если люди в массе своей осознают необходимость выбрать здравый смысл в качестве реальной путеводной звезды. Без этого обществу никоим образом не достичь объективного, ясного представления о добре, о зле, о правде и о справедливости. А до тех пор мы обре-

чены. Мы давно уже принудили себя блуждать и будем долго еще бродить бесцельно по лабиринтам лжи, зла и насилия, совершенно необходимых любому правящему меньшинству с целью стабилизации (увечивания) своего собственного господства и столь отвратительных большинству законопослушных, нормальных граждан.

Пушкин конечно же был очень умным человеком и наивностью не отличался. Он превосходно понимал, какую власть над людьми могут обретать страсти, соблазны, пороки. Он и сам время от времени чувствовал себя глубоко грешным, слабым существом, которому не было, пожалуй, чуждо почти ничто человеческое, кроме тупости, зверства, пошлости, низости и подлости. Вот за эти «национальные черты» нашему «бессмысленному народу» достались от Пушкина самые гневные, самые презрительные слова:

*Молчи, бессмысленный народ,
Поденичик, раб нужды, забот!..
Душе противны вы, как гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...⁷*

Поразительно, но в процитированном стихотворении «Поэт и толпа» чернь явным образом ерничает и кривляется, насмешливо предлагая служителю муз вспомнить его собственное поэтическое и нравственное кредо:

*Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
И мы послушаем тебя⁸.*

Глагол «послушаем» многозначен. Во-первых, он означает готовность подчиниться, исполнить сказанное (послушник, послушание). Во-вторых, он выражает ни к чему не обязывающее согласие выслушать говорящего: ты говори, говори, а мы послушаем, если нам будет угодно. Этим блестящим каламбуром Пушкин ставит точку в воображаемом диспуте: между поэтом и толпой уже разверзлась глубокая, почти непреодолимая пропасть. Поэт с ужасом осознает всю беспочвенность, всю неосуществимость своих идей. В такие мгновения он страстно мечтает уйти от мира, от житейских волнений и битв в блаженную ирреальность «звуков сладких и молитв». Но при этом, как жрец, он не может забыть своего призвания – «свое служенье», отказаться от внушенного ему нравственного императива. До конца своих дней Пушкин неустанно продолжал «глаголом жечь сердца людей».

Лермонтов во все эти просветительские благоглупости, безусловно, не верил. Он не считал, что человек по природе своей добр и что в скотину он превращается лишь под влиянием неблагоприятных социальных и прочих жизненных обстоятельств. В «Пророке» (1841), написанном, несомненно, в качестве собственной вариации на тему пушкинского «Пророка» (1826), Лермонтов заявил:

*С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока⁹.*

Конкретнее и понятнее не скажешь: ничего другого в этих очах не было и нет. Все остальное – ложь и фальшь. И надо признать, что эта кощунственная мысль для Лермонтова – отнюдь не минутная слабость, не вопль отчаяния и разочарования. Для него она – истина, полученная им непосредственно из жизненного опыта, т.е. из первых рук, и прочно усвоенная его сознанием. В стихотворении «Кладбище» (1830), написанном в самом начале его творческой деятельности, Лермонтов уже дал философски обобщенную версию роли человека в мироздании и прежде всего – в иерархии зла и, пожалуй, считал ее истинной в течение всей своей жизни:

*Краснеючи волнуется пырей
На солнце вечера; над головой
Жужжа со днем прощаются игрой
Толпящиеся мошки, как народ
Существ с душой, уставших от работ.
Стократ велик, кто создал мир! велик!
Сих мелких тварей надмогильный крик
Творца не больше ль славит иногда,
Чем в пепел обращенные стада?
Чем человек, сей царь над общим злом,
С коварным сердцем, с ложным языком!*¹⁰

Понятно, что мысль о том, что насквозь лживого, закоренелого в коварстве «царя над общим злом» можно и нужно просвещать, а то и вообще перевоспитывать – абсолютная нелепость. Свою позицию по данному вопросу Лермонтов сформулировал в крайне сжатой сентенции: «Язва просвещения». В качестве синонима он также использовал выражение: «Яд просвещения».

Следует признать, что в России в 1830-е годы никто другой так не писал и написать не мог. И это объясняет, отчего Лермонтов начисто отверг традиционную дидактическую, назидательно-нравоучительную функцию литературы, сыгравшую в свое время столь значительную роль в истории становления человеческой цивилизации. Вместо этого он сконцентрировался на интеллектуально-познавательных возможностях, которые были предоставлены ему самим творческим процессом. Самопознание стало главной, если не единственной целью его творчества. Мысль Лермонтова работала как бы в автономном режиме. Она функционировала постоянно, непрерывно, почти независимо от его воли. И все литературные произведения, созданные им – это своего рода лабораторные записи, наблюдения, попытки зафиксировать хотя бы отдельные моменты беспрестанной работы его сознания.

При этом следует подчеркнуть, что сам процесс интеллектуальной работы, интенсивность мощной внутренней жизни не казались Лермонтову тягостными. Напротив, по-настоящему мучительными были для него лишь те трудные, неразрешимые вопросы, от которых он никак не мог избавиться «через мышления и годы», как и все отрицательные впечатления земного бытия: острое осознание краткосрочности нашей жизни, почти не поки-

давшее его ощущение хронических утрат и потерь, как и понимание их неизбежности и необратимости, и в целом – восприятие бессмысленности человеческого существования в целом.

Современный исследователь В.М. Маркович убежден, что именно данной специфики лермонтовской музыки современники так и не смогли объективно оценить, воспринимая его персонализм, пристальное внимание к неповторимым особенностям личности исключительно в качестве гипертрофированного себялюбия, самонадеянности, недостойной гордыни, как совершенно необузданный, неисправимый эгоизм. И при этом – «эгоизм ожесточенный», вызывающий, лишенный всякого смирения и кротости: «Эти особенности творчества Лермонтова максимально затрудняли возможность его адекватного восприятия русской критикой. Ведь большинство русских критиков XIX в. и даже начала XX в. руководствовались идеями принципиально надличными и потому безусловно чуждыми или прямо враждебными тому спонтанно-необузданному, неисправимому индивидуализму, который прорвался в русскую культуру через Лермонтова. Народничество и “почвенничество”, “западничество” и официальная “державность”, христианская “соборность” и “мистический пантеизм”, “эстетический гуманизм” и антропологизм просветительского толка, философия “общего дела” и концепция “Всеединства” при всех своих различиях сходились в несовместимости с индивидуализмом лермонтовского типа. Даже Герцен с его далеко зашедшим персонализмом искал убежища в идеях секуляризованного христианства и “русского социализма” и потому был далек от индивидуализма, отличавшегося такой самобытностью и независимостью, как индивидуализм лермонтовский. Лермонтов, каким он был на самом деле, не устраивал практически никого»¹¹.

Нельзя сказать, что отечественная критика не сразу поняла, в чем дело. Один из первых рецензентов «Героя нашего времени» и «Стихотворений М. Лермонтова» – небезызвестный С.О. Бурачок (1800–1876), издатель журнала «Маяк современного просвещения и образованности», дал довольно точную характеристику указанной специфики творчества Лермонтова. Только это был даже не диагноз, а именно приговор. Рассуждения критика заслуживают пристального внимания, так как они очень полно и точно характе-

ризуют ту духовную, культурную и интеллектуальную среду, в которой был вынужден жить и работать наш великий поэт.

«Есть на свете животное, из ряда домашних скотов, его зовут: *Я*. Удивительная, ужасная тварь этот господин *Я*... – пишет С.О. Бурачок. – Представьте себе инфузорий, презренный прах, чуть-чуть заметный зоркому глазу, вооруженному “солнечным” микроскопом, – этот инфузорий всей землей ворочает и такие штуки куролесит, такие страшные, деннонощные опустошения производит повсюду, что удивительно, как целая рать досужих охотников до сих пор не ополчится на этого лютого зверя и не затравит его, как зайца.

Но, пока гг. физиологи ополчатся на него своими пинцетами и ланцетами и ретивейшие из охотников вселенной ополчатся на него вилами и секирами, я охотно предложу для желающих краткое описание этого ужасного, опустошительного инфузория, сделанное одним очень немудрым неучем, который во всю свою жизнь только и делал, что наблюдал его. Фамилии не помню.

“Это животное, – говорит он, – нельзя назвать духом, потому что в нем вовсе нет разума, а пропасть ума. Нельзя назвать его и веществом, несмотря что у него есть тело; *Я* проникает все тело, властвует в нем, непобедимо в нем, окопалось им, как неприступными окопами; его нельзя добыть, не разрушив тела, нельзя выжить его оттуда иначе как смертью, но можно усмирить его блокадой, можно крепко стеснить его тесною осадой – на штурм не советую ходить, не сдастся; нет, довольно осадить, неусыпно стеречь все выходы, крепко стоять против всех вылазок; а его вылазки ужасны, зверски злостны, ежеминутны. Но *Я* – страшный трус; чуть видит, что вы тут, что вы не спите, что ваш меч обнажен, – сейчас же назад! Голодом, только голодом морить его; до смерти бояться! Чем он голоднее, тем полезнее, мало-помалу он присмирееет, подчас прикинется даже мертвым – лукавый!.. не верьте, не прекращайте вашего строгого надзора за ним!..

Начать с того, что он ужасный вор. Крадет все на свете, все чужое, если может, присваивает себе. Это его отличительное качество, родоначальник всех бесчисленных его погибельных пороков. Он крадет чужую жену, чужое доброе имя, славу, открытие, статью – все, все на свете, что только чужое, ему ужасно хочется присвоить себе во что бы ни стало; все пропадай, только бы ему

было хорошо! Но этого мало. Я выходит на сцену жизни: добивается насмерть курений, поклонений, самого рабского служения – все подавай ему на жертву! Где только вы слышите клики своеволия, свободы, вольности, – знайте, это оно – Я! Одно слово “закон” приводит его в бешенство. Он сам хочет предписывать всему законы, сегодня так, завтра иначе, смотря по тому, что для него лучше.

Сознавая себя чем-то великим, оно ищет блеска, славы, грома торжеств. Геройство, молодечество, удайство, выскочка, отличие – вот его поприще, пища, улада: “Смотрите, каков Я! – знайте меня!” – кричит оно, подбоченьясь и высокомерно озираясь вокруг себя. Стать головой выше всех, где бы ни было, как бы ни было – ему все равно, только бы стать. Оно питается всем, везде находит себе пищу. В кулачном бою и в литературе, в презрении богатств и в скоплении богатств всех видов и родов, в лохмотьях нищего и в разряженной щеголихе, в игре в бабки и в политике, с Диогеном в бочке и с Алкивиадом в кругу прелестниц – Я первый, Я всех выше, все мое и все – мне!..

Этот Я самолюбив как черт, от которого и напутствуется демонским самолюбием. Он все любит лишь для себя: жену, друга, службу, удовольствие, литературу! Нет вещей, существ, которых бы Я пощадил и не приносил в жертву своему самолюбию...

А какой лжец этот Я! Что ступит, то солжет, слукавит, притворится, обманет, сольстит, обольстит. Да как же иначе и быть ему: сказать правду значило бы показать себя, каков он есть, т.е. ужаснуть собой... Довольно одного этого: мы уже предвидим в нем скопище всех возможных страстей, неистовств, беснований. Например...”

Прекращаю выписки: их много еще осталось – в другое время dokonчу: теперь с нас будет и этого. Какое страшное чудовище! В каком неприступном мраке оно гнездится! Какое дикое, злое, гнусное, величавое, блистательное, любезное, ленивое и неутомимое, злое и ласковое, гордое и льстивое, – о, ненавистное!

- Да кто же оно, кто этот ненавистный Я?
- Это – я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, оне!
- Боже мой! Как это можно!

– Да точно так! – Присмотритесь, осяжите хорошенько, по возможности без самолюбия. “Кивните не на Петра, а на себя!” – и вы увидите.

С этим-то чудовищем мы родимся, проводим целую жизнь, и разве смерть убьет его...»¹²

При всей полемической заостренности и ангажированности этих слов – Степан Онисимович Бурачок при жизни слыл одним из самых отъявленных ретроградов и убежденных консерваторов в Российской империи, – нет никаких оснований полагать, что автор лукавит, что он лжет и пишет не то, что думает. Дело явно обстоит противоположным образом: С. Бурачок абсолютно уверен в правдивости своих слов. Но как раз это и ошеломляет. Какой нравственный вред могли принести читателям себялюбивый эгоизм и неисправимый индивидуализм героев Лермонтова, если общество и без них не сомневалось в том, что практически всякая особь, всякий неповторимый индивидуум – исключительно клоака, гнездо самых гнусных пороков, мразь и скотство? Сам Лермонтов до таких крайностей никогда не доходил и ничего подобного, разумеется, не утверждал.

И тем не менее Бурачок при этом обвинил именно Лермонтова в аморализме, создав схему рассуждений, которая впоследствии оказалась архетипической для многих других историков литературы. По мнению критика, Лермонтов в своей прозе и поэзии не только не осуждает зло, но и, по сути, оправдывает его, поэтизируя и романтизируя. Поэтому творчество Лермонтова якобы способствует торжеству зла в сознании и в жизни общества. «Лермонтов представлялся критику безнадежно далеким от религии и народности – отщепенцем, клеветущим на современное поколение русских людей»¹³.

Подобная логическая непоследовательность С. Бурачка обусловлена отнюдь не его реальной оценкой феномена индивидуализма как такового и не нетерпимостью критика к любым проявлениям зла в жизни и в литературе. Это частности. Его неприятие Лермонтова, а то и враждебность к нему имеют гораздо более глубокие корни. Сам принцип мышления великого русского поэта противоречил убеждениям С. Бурачка, опровергая усвоенные им аксиомы и истины. Критик был старше поэта всего на 14 лет. Но интеллектуально они оказались представителями совершенно раз-

ных эпох. Лермонтов опередил свое время как минимум на целое столетие. С. Бурачок, напротив, вне своего времени не очень понятен. В частности, как и абсолютное большинство современников, он был безусловным носителем идей исторического оптимизма. То есть С. Бурачок готов был видеть и даже признавать отдельные недостатки в устройстве отечественной жизни, как и в нравах сограждан, но полагал, что корабль российской государственности в целом идет правильным курсом: к 1840-м годам Российская империя, разгромив Наполеона и одержав убедительную победу в Отечественной войне 1812 г., стала одним из крупнейших игроков в сфере европейской, а следовательно, и мировой политики. Отбив все натиски турок на юге, Россия в первой половине XIX в. принялась методично покорять Северный Кавказ, стараясь окончательно вытеснить Блистательную Порту из этого региона. Все как будто свидетельствовало в пользу того, что Россию ожидает если и не лучезарное, то вполне безоблачное будущее и что она, постепенно укрепляя свое могущество, сумеет достойно развиваться в союзе с европейскими государствами, по мере необходимости равняясь на них.

Даже Виссарион Белинский – один из самых последовательных и проницательных критиков николаевского режима, мечтал в 1841 г. проснуться этак лет через 100 и хотя бы одним глазком увидеть будущую Россию. Ну, конечно, его тут и встретили бы соответствующим образом! Слава Богу, не все мечты сбываются.

«Предсказание» самым наглядным образом свидетельствует о том, что именно думал сам Лермонтов по поводу всех этих несбыточных мечтаний и радужных надежд. Они играют роль контрастного фона, крайне убедительно подчеркивающего трагизм и ужас драмы, ожидавшей Россию. Современники, однако, ему не поверили. Они посчитали, что Лермонтов, несмотря на его большой поэтический талант, занимается очевидным злопыхательством и очернительством, что он, подпав под влияние западных критиков, прежде всего Байрона, клеветает на свою Родину и на соотечественников. Это, собственно говоря, и предопределило обвинительные тенденции, в целом свойственные лермонтоведению вплоть до нынешних времен. *«Итого:* воровство, грабеж, пьянство, похищение и обольщение девушки, два убийства, презрение ко всему святому, одеревенелость, парадоксы, софизмы, зверство

духовное и телесное. – Все это элементы похождения героя... Этим я не то хочу сказать, будто грешные, грязные и порочные вещицы человеческие надо вовсе исключить из числа материалов и колеров изящной словесности и убаюкивать читателя одними добродетельными, светлыми, высокими, чистыми, которые-де так редки в падшем человечестве, – нет, я хочу только, чтоб все колера картины человеческого сердца были с подлинным верны с темной и светлой стороны; чтоб читателей не водили в кабинет идеальных чудовищ, нарочно подобранных; чтобы картина грязной стороны к чему-нибудь служила, а не вредила и чтобы *автор не клеветал на целое поколение людей, выдавая чудовище, а не человека представителем этого поколения*» (курсив оригинала. – В.О.)¹⁴.

Наиболее четко пафос безбрежного исторического оптимизма, свойственного российской общественной мысли в течение большей части XIX в., сформулировал С.П. Шевырёв в статье «Стихотворения М. Лермонтова», впервые опубликованной в четвертом номере журнала «Москвитянин» за 1841 г.: «Не так, не так, как вы, понимаем мы современное назначение высшего из искусств у нас в отечестве. Нам кажется, что для русской поэзии неприличны ни верные сколки с жизни действительной, сопровождаемые какою-то апатией наблюдения, тем еще менее мечты отчаянного разочарования, не истекающего ниоткуда. Пускай поэзия Запада, поэзия народов отживающих, переходит от байронического отчаяния к равнодушному созерцанию всякой жизни. Мода на первое почти уже там исчезла, и поэзия, утомленная скучною борьбою, празднует какое-то незаслуженное примирение с обыкновенным миром действительности, признавая все за необходимость. Так, французская повесть и драма – обе неутомимо, без сатиры, без иронии, передают картины жизни: или сцены холодные разврата, или явления обыкновенные до пошлости. Так, апатическая поэзия современной Германии, в зародыше которой виноват еще Гёте, готова стихами золотить всякое пустое событие дня и ставить, как делали язычники, храм в память каждой минуте бытия ежедневного.

Нет, такое кумиротворение действительности нейдет к нашему русскому миру, носящему в себе сокровище надежд великих. Если где еще возможна в лирике поэзия вдохновенных

прозрений, поэзия фантазии творческой, возносящаяся над всем существенным, то, конечно, она *должна быть возможна* у нас.

Поэты русской лиры! Если вы сознаете в себе высокое призвание, – прозревайте же от Бога данным вам предчувствием в великое грядущее России, передавайте нам видения ваши и создайте мир русской мечты из всего того, что есть светлого и прекрасного в небе и природе, святого, великого и благородного в душе человеческой, – и пусть, заранее предсказанный вами, из воздушных областей вашей фантазии перейдет этот светлый и избранный мир в действительную жизнь нашего любезного отечества»¹⁵.

Сам Лермонтов, естественно, был слишком умен и прозорлив, чтобы часто испытывать подобные приступы патриотического оптимизма. Хотя, надо признать, что временами даже он не мог не ощущать его влияния. Тем не менее пристальное внимание к проблемам зла в жизни любезного нашего отечества никоим образом не обуславливалось врожденными свойствами его характера, какими-то девиациями, а то и патологией в его моральном облике, не говоря уже об особенностях его биографии и воспитания. Оно было предопределено всей системой взглядов великого русского поэта, который не просто ощущал или предвидел, но самым ясным образом осознавал – в отличие практически от всех своих современников, не считая, быть может, П.Я. Чаадаева, что самое страшное уже произошло и что Россией был избран, пожалуй, один из наихудших вариантов последующего развития событий.

Общество, если оно не стимулирует в гражданах чувств симпатии или хотя бы эмпатии друг к другу, взаимной солидарности, общности интересов, сходства во взглядах, долговременных дружеских или профессионально обусловленных отношений и т.д., и т.п., с неизбежностью порождает в людях сугубо отрицательные, разрушительные чувства зависти, злобы, равнодушия и презрения. Формируется атмосфера войны всех против всех, когда для сохранения стабильности в социуме необходимо использовать в основном юридические, моральные и административные запреты, государственный гнет, а то и попросту грубую силу. Нюансы ненормальных, исковерканных человеческих отношений Лермонтов и изучал всю свою недолгую жизнь, тщательно рассматривая, каким образом в них проникает зло и почему оно, набирая вес

и увлекая за собой людей, становится необоримым. Смешивать этот исследовательский, практически научный интерес с болезненным пристрастием к нравственным патологиям – глупо и даже пошло. Но именно этим весьма часто занимались многие российские лермонтоведы. Впрочем, Господь с ними.

Жизнь всенепреренно расставляет все по своим местам. Это предопределено тем, что цикличность событий, происходящих в обществе, как правило, не совпадает с циклами человеческого существования. То есть события, начинающиеся при жизни одного поколения, развиваются и заканчиваются при совсем уже других поколениях. И хотя эти новые поколения встречаются с определенными сложностями при выяснении истоков и генезиса тех событий, с последствиями которых им вольно-невольно приходится разбираться, только они имеют шанс увидеть весь ряд событий в их совокупности и дать им наиболее объективную оценку.

200 лет, прошедшие со дня рождения Лермонтова, однозначно доказали, что его поэзии и прозе суждено пережить, не старея и вообще не увядая, еще очень много веков. Одного этого достаточно, чтобы признать подлинное величие Лермонтова безо всяких возражений и оговорок. Но не стоит забывать и того, что поэт, в определенном смысле оказавшись в роли российской Кассандры, делал все от него зависевшее, чтобы предупредить соотечественников о надвигавшейся страшной катастрофе. И, разумеется, не он виноват в том, что современники, убаюканные наивной уверенностью в завтрашнем дне, его вообще не слышали, не захотели услышать.

Герои Лермонтова не были сеятелями зла и не способствовали его распространению более окружающих. Но с их помощью их создатель честно фиксировал втайне обострившийся общественный интерес к этому явлению наряду с усложнившимися представлениями о зле как таковом. И это было отнюдь не случайно. Во-первых, постепенно отмирала система весьма примитивных, архаичных моральных установок, принятая в употребление русским православием для всеобщего пользования. Усложнение социальной структуры, общественных связей и отношений стало наглядно выявлять серьезные недостатки системы ценностей, ориентированной на вечную статику, на абсолютную неизменяемость политического устройства и условий человеческого существ-

ования. Во-вторых, в глубинах общественного сознания и коллективной психики в этот период уже начали вызревать крайне опасные идеи, впоследствии обусловившие допустимость практики социального геноцида во всей стране.

Закономерно, что именно в 1830-е годы в России сформировалось понятие «лишний человек». Понятно, что таким образом литературные критики и общественные деятели попытались определить новое социальное явление, которое в то время, быть может, не обретаая особой массовости, тем не менее стало явлением вполне типическим. Речь шла о том, что среди представителей господствовавшего класса распространилось обыкновение не признавать за собой обязанностей, связанных со службой государю, отечеству и интересам своего сословия. Кстати, это право было официально закреплено за ними гарантиями дворянских вольностей. Девизом личностей, предпочитавших персональную независимость, своего рода состояние внутренней эмиграции, могла стать знаменитая крылатая фраза Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Определение «лишний человек», быстро закрепившееся не столько за историческими прототипами, сколько за их изображавшими литературными персонажами, с самого начала носило негативный подтекст. Оно подчеркивало никчемность, ненужность с точки зрения общественной пользы этого социального типа, как и его литературных образов. Публицистам, пользующимся данным определением, на первых порах и в голову не могло прийти, что они вступили на стезю, ведущую в ад. Однако именно с их легкой руки в первые годы следующего столетия уже не считанные единицы, а миллионы, десятки миллионов людей будут считаться «лишними», не имеющими морального права на существование и потому подлежащими устранению, а то и физическому уничтожению во имя построения нового мира. И, словно подчеркивая родственную связь своих социологических понятий с образом «лишнего человека», большевики от этого же корня создали неологизм «лишенец», которым стали обозначать людей, насильственно лишаемых гражданских прав исключительно по признаку их социальной принадлежности.

Подведем первые итоги. Имеются веские основания полагать, что Лермонтов настолько серьезно опередил свое время

в плане интеллектуального постижении действительности, подлинного смысла происходивших в России общественных процессов и тенденций ее исторического развития, что мы только сейчас начинаем толком осознавать, что же именно хотел сказать читателям великий наш поэт, от каких ошибок и заблуждений он столь настойчиво стремился предостеречь современников. Вся история российского лермонтоведения убеждает, что эти попытки оказались безуспешными. Он так и остался не понят. Вернее, он был понят весьма превратным образом. Даже те критики, кто высоко ценили его творчество, а то и восхищались им, не вполне обладали необходимым объемом знаний, как и достаточной мерой исторической проницательности, чтобы охватывать все смысловые уровни очень сложных, обладающих чрезвычайной глубиной произведений Лермонтова.

Казалось бы, какие претензии можно предъявить отцу-основателю русской демократической критики В.Г. Белинскому? Он обладал острым умом и чрезвычайно тонким вкусом. Это позволило ему на основании знакомства с незначительной частью сочинений Лермонтова прийти к тем выводам по поводу реального масштаба поэтического дарования молодого автора, которые выдержали проверку временем: «По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов»¹⁶.

Здесь настораживает только глагол «напоминают». Критик явным образом проявил осторожность. К чему спешить, если такой талант со временем не может не развиваться: «Его поприще еще только начато, и уже так много им сделано, какое неистощимое богатство элементов обнаружено им: чего же должно ожидать от него в будущем»¹⁷.

Белинский неоднократно декларировал, что он относит Лермонтова к когорте поэтов-интеллектуалов из-за его постоянной склонности к рефлексии, и что его творчество отмечено «глубиной мысли». Но при этом критик не дал ни одного конкретного анализа содержания тех мыслей Лермонтова, которые он сам считал глубокими. Так, о «превосходном стихотворении “Памяти А.И. О <доевско>го”» Белинский писал: «Это сладостная мелодия

каких-то глубоких, но тихих дум» (курсив мой. – В.О.)¹⁸. Обсуждая «Три пальмы», критик заявил: «Мысль поэта ярко выдается, – и он поступил с нею как истинный поэт, не заключив своей пьесы нравственную сентенцию. Самая эта мысль могла быть опозитизирована только своим восточным колоритом и оправдана названием “Восточное сказание”; иначе она была бы детской мыслию»¹⁹.

Какая «мысль могла быть опозитизирована только своим восточным колоритом», а иначе «была бы детской»? Видимо, не поняв подтекста «Трех пальм», Белинский вычитал из стихотворения что-то свое и при этом очень простенькое. И наконец, определяя в целом функцию рефлексии в поэзии Лермонтова, он полагал, что она призвана по сути противоборствовать своей «разрушающей силой» («холодом сомнения», «ядом отрицания») полноте и непосредственности чувств.

Эта задача носит крайне ограниченный характер. Она едва ли способна выявлять подлинную глубину мышления художника. Следовательно, заявления Белинского по поводу интеллектуальности поэзии Лермонтова были чисто интуитивными и в значительной мере голословными. Критик и поэт очевидным образом имели разные представления о том, что такое сильная, глубокая мысль. «Надо полагать, что люди созданы вовсе не для того, чтобы мыслить, раз мысль сильная и свободная – такая для них редкость», – написал Лермонтов в 18 лет в письме Марии Лопухиной²⁰.

Окончательно реабилитировал себя В.Г. Белинский перед памятью великого поэта через полтора года после его гибели. В феврале 1843 г. он сообщил в письме В.П. Боткину, что теперь вовсе не читает стихов, а лишь перечитывает Лермонтова, «все более и более погружаясь в бездонный океан его поэзии» (курсив мой. – В.О.)²¹.

Гораздо меньше повезло Лермонтову с его непосредственными литературными преемниками. Л.Н. Толстой в целом высоко оценивал творчество предшественника. «Истинный», «серьезный», «нравственный», «ищущий», «религиозный» – таковы встречающиеся у Л. Толстого определения таланта Лермонтова. Тремя «одинаково большими поэтами» Толстой называл Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Кроме того, Толстой считал, что наследие Лермонтова отмечено «самыми высокими нравственными требованиями», «лежащими под скрывающим их напущенным байро-

низмом»²². Признавал Толстой и свою личную зависимость от творчества Лермонтова. В частности, в 1909 г. в беседе с С.Н. Дурылиным Л. Толстой назвал стихотворение «Бородино» «зерном» «Войны и мира»²³. Но при этом Толстой резко отрицательно относился к поэме «Демон», в которой видел только гиперболизированное, крайне неестественное изображение страстей, как и в большинстве других крупных стихотворных произведениях Лермонтова²⁴.

И это вполне объяснимо. Во-первых, как и в случае с оценкой творчества Шекспира, Л. Толстой не воспринимал излишне высокий, чересчур абстрактный, как ему казалось, и посему искусственный, «деланный» (определение самого Толстого) уровень художественных обобщений. Во-вторых, чисто психологически для него не был приемлем мучительный, выматывающий и опустошающий душу экзистенциальный трагизм мировосприятия Лермонтова. Самосознание Толстого, как и его главных героев, также отличалось высокой степенью глубины и сложности. Они остро ощущали внутренний разлад, вызываемый конфликтом с окружающей средой. Но при этом они не ограничивались скептическим отрицанием современного им общества, а стремились создавать свои собственные, устраивающие их ниши бытия и нормы социального поведения.

Психологически гораздо ближе к Лермонтову был Ф.М. Достоевский, также многое позаимствовавший у своего предшественника. Фактически все образы Достоевского, связанные с понятием «подполья», с бесовщиной, с чертями и демонизмом, так или иначе восходят именно к Лермонтову, к его творчеству, а то и к подробностям его биографии. Достоевский гораздо тоньше и точнее воспринимал Лермонтова, искренне заблуждаясь только в одном: он был абсолютно уверен, что сам Лермонтов являлся апологетом зла и эгоистического себялюбия, не осознававшим собственного морального уродства: «В “Бесах” (1872) полемическая интерпретация “печоринского” типа приобретает памфлетные черты. Достоевский сравнивает своего Ставрогина с литературными и историческими героями 20–30-х годов – Луниным, Печориным и самим Лермонтовым. Грань между Лермонтовым и его героем Достоевский стирает. По Достоевскому, злоба – доминирующая черта личности как Печорина, так и Лермонтова.

Злобой наделяет Достоевский и Ставрогина (у которого “в злобе выходил прогресс даже против Лермонтова”)²⁵. В результате к началу 1870-х годов Достоевский видел в Лермонтове ни много ни мало своего идейного противника, творчество которого по-прежнему сильно притягивало его к себе и одновременно – отталкивало. В одной из записей рабочей тетради за 1875–1876 гг. Достоевский заявил, что «Лермонтов гнусен»²⁶.

Вот вам и «спасибо за все» от благодарного наследника! Как это далеко, как бесконечно далеко от известного вольтеровского афоризма: «Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли их высказывать». Мера идеологической ненависти друг к другу даже у лучших представителей российской интеллигенции уже зашкаливала все мыслимые пределы, допустимые в более или менее цивилизованном обществе. Россия прямым ходом шла к национальной катастрофе. До кипения «возмущенного разума», готового идти «в смертный бой», до кошмара и мерзости неслыханного по масштабам социального геноцида, совершенного в XX в. русскими людьми над своими соплеменниками, оставалось всего четыре десятилетия.

¹ Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – М.: Терра, 2002. – Т. 1. – С. 96.

² Пушкин А.С. Сочинения: В 3 т. – М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1955. – Т. 1. – С. 116.

³ Лермонтов М.Ю. Указ. изд. – Т. 1. – С. 96.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М.: Гос. изд-во политич. лит-ры, 1955–1981. – Т. 23. – С. 761.

⁷ Пушкин А.С. Указ. изд. – Т. 1. – С. 259–260.

⁸ Там же. – Т. 1. – С. 259.

⁹ Лермонтов М.Ю. Указ. изд. – Т. 1. – С. 318.

¹⁰ Там же. – Т. 1. – С. 92.

¹¹ Маркович В.М. Лермонтов и его интерпретаторы // М.Ю. Лермонтов: Pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие М.Ю. Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей. Антология в 2 т. Изд-во Русской христианской гуманитарной академии. – СПб., 2013. – Т. 1. – С. 32.

¹² Там же. – С. 113–115.

-
- ¹³ Там же. – С. 7.
- ¹⁴ Там же. – С. 58–59.
- ¹⁵ Там же. – С. 159–160.
- ¹⁶ Там же. – С. 146.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Там же. – С. 145.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Михайлов В.Ф. Лермонтов. – М.: Молодая гвардия, 2012. – С. 131 (ЖЗЛ).
- ²¹ Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953–1959. – Т. XII. – С. 129.
- ²² Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1964. – Т. 64. – С. 246.
- ²³ Лермонтовская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 577.
- ²⁴ Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. – М.: Гослитиздат, 1960. – Т. 2. – С. 253.
- ²⁵ Лермонтовская энциклопедия. – С. 144.
- ²⁶ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1990. – Т. 24. – С. 82.

Г.В. Хлебников

**В.В. РОЗАНОВ ОБ АПОКАЛИПСИСЕ
1917 ГОДА**

Аннотация

Рассматриваются и соотносятся эксплицитные и имплицитные мотивы публикаций «Апокалипсиса нашего времени», некоторые приемы артикуляции материала, неявные и явные интенции текста.

Ключевые слова: апокалипсис, революция, Бог, Библия, Евангелие, война, евреи, русские, немцы, этнопсихология, скрытые смыслы.

Khlebnikov G.V. V.V. Rozanov of the Apocalypse of 1917

Summary. We examined and correlated explicit and implicit motives publications «Apocalypse of our time», some of the techniques of articulation material, unobvious and ostensible intentions of the text.

«Апокалипсис...» представляет собой, как и все у Розанова, литературное произведение, но и определенную экзистенциальную загадку творчества этого русского мыслителя и философа, который много сил посвятил исследованию так называемого «Еврейского вопроса» (название одного из разделов «Дневников писателя» 1877 г. Ф.М. Достоевского). Философ всю жизнь следовал в своих размышлениях, вероятно, инспирациям и идеям этого великого писателя, эксплицитно выражавшего свои опасения в связи с экспансией еврейских торговцев и интеллектуалов, активно внедрявшихся, как он, вероятно, полагал, в экономическую, финансовую, общественную и культурную жизнь страны.

Его «Бесы» – роман-размышления о революционерах, о революции, ее глубоких и глубочайших, а также метафизических

основаниях, которые Достоевский в конечном итоге видел в одержимости людей бесами, жаждущими только крови, убийств и разрушений самих по себе, страданий как таковых, человеческих существ в первую очередь, но не только их одних (вспомним ошпианных до крови павлинов взбунтовавшимися крестьянами в воспоминаниях Бунина).

Розанов видел это у великого писателя, понимая его, как мало кто еще: «Вообще из всех “сочинений” Достоевского можно бы извлечь от 20 до 50 страниц такого текста, который как-то странно видеть в “романах”, которые испепеляют и уничтожают всякую форму беллетристики – и показывают в нем человека, сердце, ум совершенно сверхъестественных размеров: провидца, ясновидца, “одержимого” или “пророка”, “святого” или опять-таки “одержимого”... В Достоевском более, чем в каком-либо русском человеке, содержалось явное иррациональное чудо, ни существа, ни границ которого мы не знаем и не можем понять (именно как в чуде), но их чувствуем... Ни в ком еще из русских не было так много супранатурального мира, как в нем... Итак, он больше любил “думать”, чем “писать”... И романы его, как равно “Дневник писателя”, есть только неполная и несовершенная, именно немного похолодевшая и неприноровленная (“меньше люблю писать”) форма, но этих самых его сжигавших и томивших мыслей и чувств, этих чудодейственных отношений его сердца к миру... В сущности, он все и говорит об этом, об одном этом... Он говорит о мироощущении, вот как “скользнул боком я, червяк, по боку – мира чудного, который создал Бог”... По тому, что он есть “я”, и при том каждого человека “я” – он встает с такой близостью, с такой теснотой к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме Лица и Книги, которых мы не упоминаем. И навсегда Достоевский останется поэтому наиболее “священным” из наших писателей, ибо он совершенно перешел грани литературы, отчасти разрушив их, внутренне разрушив, – и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают “священное”, полагают “религиозное” в первобытном смысле» («Чем нам дорог Достоевский»). Отмечает он и еще одну особую характеристику: «Достоевский имел одну, так сказать, мимолетно-общую черту с Гоголем, – демоническую». Мистические прозрения и интуиции самого Василия Васильевича не менее глубоки и истинны, как видно и в текстах «Апокалипсиса нашего

времени». Между ними существует не прямая, а какая-то особая, ментально-духовная и мистическая преемственность, когда Розанов прямо не ссылаясь и не цитируя Достоевского, тем не менее повторяет его ключевые темы, стремится развить и продолжить их в своих работах. Василию Васильевичу были известны и публикации писем Достоевского о евреях, включая «Новое время» (письмо к Н.Е. Грищенко 28 февраля 1878 г. и др.). Несомненно, и такие из «Дневника писателя»:

«Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, залиют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал – это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови».

«На протяжении 40-вековой истории евреев двигала ими всегда одна лишь к нам безжалостность... безжалостность ко всему, что не есть еврей... и одна только жажда напиться нашим потом и кровью...»

Или: «Верхушка иудеев воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть».

А в России тем временем рождается новое поколение, требующее только правды, как позже станет ясно, истины без Бога:

«Заметьте, опять повторяю, и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым нужна правда, одна правда, без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра (вот сознание, что не “из разрыва с народом при Петре” все родилось) еще можно было предчувствовать. Это – наступающая, будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда» («О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью)»).

Но правда земная не может быть без связи с небесной истиной: негативный опыт революций, стремившихся на словах

построить лучшее и более справедливое общество только здесь, на земле, без какой-либо связи с трансцендентным, напротив, с «воинствующим атеизмом», показал это со всей очевидностью.

Розанов продолжал этот вектор рефлексий, многократно и разносторонне, в разных контекстах анализировал феномен еврейства во всех известных ему проявлениях, опубликовав даже обширное исследование под названием «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Каждый раз, приходя к резко негативной оценке воздействия и влияния еврейства на европейскую культуру и цивилизацию, особенно же в России, население которой, крестьянина и «мужика», философ считал совершенно беззащитным перед еврейской сплоченностью, особой образованностью, пассионарностью, исторической опытностью, психологическими и информационными ресурсами, торгово-экономическими технологиями.

Тем неожиданнее, на первый взгляд, оказываются у Розанова в «Апокалипсисе нашего времени» немотивированные прежними публикациями, внезапно исключительно и подчеркнуто позитивные суждения и откровенные восхваления евреев и «еврея». Его душевных качеств, культурности, талантливости и душевной тонкости в серии последних, предсмертных публикаций этого сложного и гениально одаренного писателя. Можно ли эти суждения принимать только на первом уровне интерпретации и понимания как артикулирующие лишь прямое значение, – а часть исследователей так и считает, например М. Эдельштейн (2008)?

Или же, как часто бывает у В.В. Розанова, здесь есть и «колесо в колесе»? Второй и следующие планы, контрэмоции и контрапункты, скрыто суггестирующие совсем иные, противоположные, т.е. прежние, опасения и констатации этого глубокого и тонкого мыслителя, в совершенстве владевшего ресурсами самого глубокого, богатого и гибкого языка Европы, если не всей планеты? По словам Проспера Мериме, русский: «...самый богатый из языков Европы. Он создан для выражения наитончайших оттенков. Одаренный удивительной силой и сжатостью, которая соединяется с ясностью, он сочетает в одном слове несколько мыслей, которые в другом языке потребовали бы целой фразы».

«Апокалипсис» писался Розановым с пониманием того, что его будут читать и евреи: и не только доброжелательно настроенные

к нему, но и связанные с революцией, может быть и скорее всего, даже «комиссары». Отсюда, вероятно, весь пафос этих заметок и размышлений, очень сдержанный тон «с оглядкой», чувствующая осторожность во всех высказываниях, в каждом написанном, полусказанном и недосказанном слове. Подчеркнутое осуждение преумноженных недостатков русского народа, акцентирование будто бы только ему свойственных пороков, утрирование отчасти надуманных отрицательных черт национального характера и т.п. Намеренное умолчание об огромных и несомненных достоинствах русских, позволивших создать гигантское, процветающее и стремительно развивающееся государство, культуру, науку, экономику и финансы (рубль считался одной из наиболее стабильных валют мира, темпы экономического развития – самые высокие в мире).

А также особо резкая эксплицитная критика христианства вообще и православия в особенности. И наконец, откровенные панегирики еврейскому народу как внутри отдельных выпусков «Апокалипсиса», так и в завершении, в заключительной части. Авторы, указывающие на страх за самого себя как побудительный мотив столь резкой перемены, едва ли правы. Василий Васильевич никогда не был трусом, но всегда был онтологическим семьянином, любил своих детей, жену, семью, в которой даже видел образец будущих семейно-брачных отношений, поэтому страшно беспокоился за них (и не напрасно) как родственников «антисемита» и «врага еврейства». Поэтому, надо полагать, и стремился показать себя лояльным «новой власти», в которой, как он предусматривал, а скорее всего, знал, евреи играют и будут играть, как он думал, то ли явно, то ли скрытно, то ли и явно и скрытно, но первую скрипку.

Превознося евреев как нацию в целом, писатель тем не менее не может не задевать их, не поругивать из них то «некоторых», то «отдельных», то просто «жидков», т.е. не самых лучших из них, чтобы новый акцент, с одной стороны, не казался уж слишком контрастно-односторонним его прежним недавним высказываниям. И с другой стороны, по-видимому, как бы сближая в недостатках евреев и русских с тем, чтобы смысл завершающих фраз его «Апокалипсиса» был обоснован не только вербально, но и фактуально-психологически.

Значение же и ценность слова Василий Васильевич понимал и знал не хуже «революционеров», прибегавших к любой лжи и обману для пропаганды своих губительных идей. Интенсивная медиаобработка сознания литературой в России началась еще раньше, фраза Наполеона: «Одна газета сильнее десяти дивизий» – была сказана давно и стала уже к тому времени хорошо известной и понятой теми, кто мог использовать такие инструменты. Не менее успешным был и опыт Французской революции, показавший, как можно соблазнить и обмануть нацию, заставив ее уничтожить сначала лучшее, что формировалось и образовывалось в ней веками, а затем принудить в кровавой и слепой бойне гражданской войны истреблять себя в лице наиболее активной, деятельной и энергичной части с обеих сторон.

Сближение социализма и атеизма до полного тождества у В.В. Розанова также явно подразумевает знакомство с соответствующими текстами Ф.М. Достоевского:

«Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно “в баню сходили и окатились новой водой”. Это – совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар».

То есть атеизм – это действительность дикого кошмара, как и социализм в том виде, в каком его не так вводили, как силой навязывали коммунисты (в дневниках и записках З. Гиппиус это изложено просто, детально и страшно).

Важность самоуважения нации, пагубность перманентного преувеличения и муссирования только собственных недостатков, которые есть у всех народов, и у многих – еще худшие, чем в России, мыслитель формулирует в одном абзаце, говоря очень многое в немногом:

«Собственно, отчего мы умираем? Нет, в самом деле, – как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся».

О революции пишется прямо, но как-то не совсем, а как бы – косвенно и образно:

«Уж если чем мы упились восторженно, то это – революцией. “Полное исполнение желаний”. Нет, в самом деле: чем мы не сыты. “Уж сам жаждущий когда утолился, и голодный – насытился, то

это в революцию”. И вот еще не износил революционер первых сапогов – как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли? И где же наши молитвы? и где же наши кресты? “Ни один поп не отпел бы такого покойника”. Это колдун, оборотень, а не живой. В нем живой души нет и не было. – Нигилист. О нигилистах панихид не правят. Ограничиваются: “Ну его к черту”. Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть. Не будем даже вспоминать слова Бисмарка, что “побежденному победитель оставляет только глаза, чтобы было чем плакать”. Это совсем не нужно, т.е. припоминаний о Бисмарке».

Таким образом, вывод о сущности революционера тоже очевиден, он оказывается не человеком вообще («души нет»), а какой-то нежитью, оборотнем, нечистью.

И тут же – негативно – о христианстве, чтобы как бы сбалансировать резкость суждений о революции и революционерах:

«Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а христианство сгноило грудь человеческую. Вот рев Апокалипсиса. Без этого не было бы “земли новой” и “неба нового”. Без этого не было бы вообще Апокалипсиса».

И антитезисом – восхваление Библии, т.е. у Розанова – Ветхого Завета:

«Тут мы понимаем, что роды, именно человеческие роды, лежат в центре космогонии. Библия – нескончаемость. Тут мы совершенно ничего не понимаем, кроме того, что это не нужно. Евангелие – тупик». По смыслу два последних предложения относятся к критике Евангелий, тогда как грамматически – продолжают тему Библии, но уже понимаемой как включающей в себя оба Завета.

Ему явно близка, – духовно-телесному центру Розанова, семье, – Библия Ветхого Завета, которую Василий Васильевич тоже интерпретирует по-своему: «Ибо сказано, что сотворена была Вселенная от Элогим (двойственное число Имени Божия, употребленное в рассказе Библии о сотворении мира), а не от Элоах (единственное число); что божеств – два, а не одно: “по образу и по подобию которых – мужем и женою сотворил Бог и человека”». Теперь читатель сам должен совершить легкое интеллектуальное усилие и убедиться, что раз люди двуполые и сотворены по образу

и подобию, то и роды «лежат в центре космогонии», обуславливая «нескончаемость» Библии, – того, что в ней: человеческой истории.

И это рассуждение контрастируется происходящим апокалипсисом:

«В Посаде мера картофеля (августа 12-го 1918 года) – 50 рублей. Услышал от старушки Еловой, что в гор. Александрове, близ Посада, мера – 6 руб. Спешу на вокзал справиться, когда в Александров отходят поезда. Отвечает мастеровой с бляхой: В три. Я: – Это по старому или по новому времени? Часы по приказанию большевиков переведены в Сергиеве на 2 часа вперед. – Конечно, по-новому. Теперь все по-новому. (Помолчав:) – Старое теперь все в могиле. Да. Радуйся русская литература. И ржаная мука уже 350 р. пуд. Бедные мрут. Богатые едва имеют силу держаться». Пока еще. Но на них идет отдельная охота.

Название следующей главы двойственное: ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ЕВРЕЯМ НЕЛЬЗЯ УСТРАИВАТЬ ПОГРОМОВ? – его можно понимать и как что евреям нельзя делать погромы, громить их, так и что самим евреям нельзя устраивать погромы кому-либо, т.е. громить другие народы, людей. И в последующем нарративе Розанов объясняет и дает ответ на оба возможных понимания, подходя к интересовавшей его всю жизнь проблеме с еще одной стороны в условиях, когда, как он думал, евреи захватили власть в России и могут делать в ней абсолютно все как победители и завоеватели, в том числе любые погромы.

Каким образом это можно предотвратить, находясь в Сергиевом Посаде и выпуская малотиражные тонкие брошюрки? Писатель-философ находит выход, показывая, насколько опасен пример геноцида над народом, пусть даже русским, в современном мире, в котором этот факт будет невозможно ни скрыть, ни спрятать. Чем он может обернуться для самих евреев, Когда, – а такое время не может не наступить, полагал писатель, – у евреев появится более могучий и убежденный враг. И это пророческое предсказание очень быстро исполнится с приходом к власти в Германии Гитлера с его совершенной машиной пропаганды, опирающейся к тому же на штыки и стволы армии, тайной и явной полиции.

Посмотрим, как строит свое рассуждение Розанов. После констатации проблемы: «В революции нашей в высшей степени “неясен” еврей. Как он во всем неясен и запутался во всей европейской цивилизации. Но до Европы – оставим. Нам важны “мы”». Он рассматривает их роль в «русской» революции: «Отношение евреев к революции: Посмотрите, как они трясутся над революцией. Не умно, злобовредно, но – трясутся. А ведь это и их “гешефтам” не обещает ничего. Даже обещает плохо. Почему же они трясутся? Евреи у него наглы, громкоголосы... Я раз посмотрел в иллюстрированном журнале – Нахамкиса; и, против неприятного Ленина, сказал: “Как он серьезен” (хотел бы видеть в натуре). Да, речь его против Михаила Александровича – нагла. Но ведь евреи и всегда наглы. В Европе, собственно, они не умеют говорить европейским языком, т.е. льстивым, вкрадчивым и лукавым, во всяком случае – вежливым, а орут как в Азии, ибо и суть азиаты, грубияны и дерзки. Это – гогочущие пророки, как я определил как-то. Они обо всякой курице, т.е. в торге, пророчествуют... Евреев так много в революции, что они ее поглотили. И в этом – надежда».

То есть, по эксплицитному мнению писателя, это вовсе не какие-то два-три-семь, десять, как писал, например, Горький, а очень, чрезвычайно много, столько, что они «поглотили» революцию, т.е. практически, ее вдохновляют, организуют, ею руководят, делают.

«Евреи... Их связь с революцией я ненавижу, но эта связь, с другой стороны, – и хороша; ибо из-за связи и даже из-за поглощения евреями почти всей революции – она и слиняет, окончится погромами и вообще окончится ничем: слишком явно, что “не служить же русскому солдату и мужику евреям”... Я хочу указать ту простую вещь, что если магнаты еврейства, может быть, и думают “в целом руководить потом Россией”, т.е. бедные жидки, которые и соотечественникам не уступят русского мужика (идеализированного) и ремесленника и вообще (тоже идеализированного) сироту. Евреи сантиментальны, глуповаты и преувеличивают... – по контрасту: Русский “мужичок-простачок” злобнее, грубее... Главное – гораздо грубее. И еврей не только русского превосходит: Еврей есть первый по культуре человек во всей Европе, – пишет Розанов, – а она – груба, плоска и в “человечестве” далее

социализма не понимает. Еврей же знал вздохи Иова, песенки Руфи, песнь Деворры и сестры Моисея.

То есть умственный горизонт евреев не только глубок во времени, но и многообразен, широк, захватывает весь земной шар. Не стесняясь в выражениях, Розанов утверждает: «Евреи – самый утонченный народ в Европе. Поэтому только по глупости и наивности они пристали к плоскому дну революции, тогда как их место – у подножия держав (так ведь и поступают и чтут старые настоящие евреи, в благородном). И Нахамкис тоже пытался приложиться сюда. Но не получилось: сорвалось. И он ушел, мстительно, как еврей, – ушел “в богему”. “Революция так революция”. “Вали все”. Это жид и жидок и его нетерпеливость. Я выбираю жидка. Сколько насмешек. А он все цимбалит. Насмешек, анекдотов: а он смотрит русскому в глаза и поет ему песни (на жаргоне) Заднепровья, Хохломании, Подолии, Волыни, Кавказа и, может быть, еще Сирии и Палестины и Вавилона и Китая (я слышал, есть китайцы-евреи, и отпускают себе косы!!!). Еврей везде, и он “странствующий жид”. Но не думайте, не для “гешефта”: но (наша Летопись) – “Бог отнял у нас землю за грехи наши, и с тех пор мы странствуем”».

В этих и последующих словах нельзя не видеть, с одной стороны, упрощение и намеренное уплощение ситуации, намерение представить ее как разновидность обыденных обстоятельств, как «ничего страшного». С другой стороны, нельзя не заметить за этим внешним слоем другой, гораздо более серьезный текст-послание, в котором о тех же евреях говорится уже не о как глупых и наивных, сентиментальных и поющих «жидках», а как мстительных (одно это слово сразу отсылает читателя к Достоевскому, его: «Таких греховных, что Бог даже отнял у них землю (а следовательно, и все, что на ней было)», несущих повсюду идею греха (разве грех может быть “святым” и “благородным”?)»).

«И везде они несут благородную и святую идею “греха” (я плачу), без которой нет религии, а человечество было бы разбито (праведным небом), если бы “от жидов” не научилось трепетать и молить о себе за грех».

И опять панегирик:

«Они. Они. Они. Они утерли соплю пресловутому европейскому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: “На, болван, помолись”. Дали псалмы. И Чудная Дева – из евреек. Что бы

мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи. Но они пронесли печальные песни через нас, смотрели (всегда грустными глазами) на нас. И раз я на пароходе слышал (и плакал): “Купи на 15 коп. уксусной кислоты – я выпью и умру. Потому что он изменил мне”. Пела жидовка лет 14-ти, и 12-летний брат ее играл на скрипке. И жидовка была серьезна. О, серьезна... Я (в душе) плакал. И думал: “Как честно: они вырабатывают пятаками за проезд, когда у нас бедные едут фуками, т.е. как-нибудь на казенный счет, или под лавкою, и вообще – на даровщинку”».

И тут же за примерами, подчеркивающими талантливость, одаренность, серьезность и честность евреев, – приводит слова страшного псалома:

«И вот они пели, как и Деворра, не хуже. Почему хуже? Как “На реках вавилонских”: – “О, мы разобьем детей твоих о камень, дочь вавилонская”. Это – Нахамкис. Нахамкис кричит: “Зачем же лишили его права быть Стекловым”, “благородным русским гражданином Стекловым”, и так же стал “ругать зверски Михаила Александровича”, как иудеянки хотели (ведь только хотели) “разбивать вавилонских детей о камня” (вавилонский жаргон). И будь, жид, горяч. О, как Розанов – и не засыпай, и не холодей вечно. Если ты задремлешь – мир умрет. Мир жив и даже не сонен, пока еврей “все одним глазком смотрит на мир”. – “А почем нынче овес?”».

И тут же его объяснение: так ведь только хотели, только намеревались так поступить со своими завоевателями, захватчиками, порабителителями. А не поступили, не было возможности. Намек на другое: зато сейчас все переменялось, поменялось: теперь, думает Розанов, они завоевали, захватили, поработили, – все могут сделать с русскими, с народом, дворянством, имущим классом, интеллигенцией. Писатель-мыслитель видит и понимает, постигает и боится, трепещет за русского, того же мужичка-крестьянина, рабочего, купца, мещанина. Поэтому:

«– И торгуй, еврей, торгуй, – только не обижай русских. О, не обижай, миленький. Ты талантлив, даже гениален в торговле (связь веков, связь с Финикией). Припусти нас, сперва припусти к “Торговле аптекарскими товарами”, к аптекам, научи “синдикатам” и, вообще, введи в свое дело ну хоть из 7–8%, а себе – 100, и русские должны с этим примириться, потому что ведь не они

изобретатели. Подай еврею, подай еврею, – он творец, сотворил. Но потом подай и русскому. Господи: он нищ. О, довольно этой “нищенской сумы”, этого христианского нищенства, из которого ведь выглядывают завидующие глазки. Но оставим. И вернемся к печальным песням».

Как ни уговаривай, ни надейся, – чувствуется между строк его текста, – но реальности гораздо тревожнее и ожидания от будущего не успокаивающие, а – наоборот. Поэтому опять критика:

«Русские в странном обольщении утверждали, что они “и восточный, и западный народ”, – соединяют “и Европу, и Азию в себе”, не замечая вовсе того, что скорее они и не западный, и не восточный народ, ибо что же они принесли Азии, и какую роль сыграли в Европе? На востоке они ободрали и споили бурят, черемисов, киргиз-кайсаков, ободрали Армению и Грузию, запретив даже (сам слушал обедню) слушать свою православную обедню по-грузински. О, о, о... Сам слушал, сам слушал в Тифлисе. В Европе явились как Герцен и Бакунин и “внесли социализм”, которого “вот именно не хватало Европе”. Между Европой и Азией мы явились именно “межеумками”, т.е. именно нигилистами, не понимая ни Европы, ни Азии. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это действительно “внесли”. Страхов мне говорил с печалью и отчасти с восхищением: “Европейцы, видя во множестве у себя русских туристов, поражаются талантливостью русских и утонченным их развратом”. Вот это – так. Но принесли ли мы семью? добрые начала нравов? Трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, как страшно сказать... Тогда как мы “и не восточный, и не западный народ”, а просто ерунда, – ерунда с художеством...»

Самоумалиться, унизиться, чтобы скрыться и спрятаться в самоуничижении, стать незаметным, даже ничтожным, – как бы решает Розанов, – тут же опять тем же методом, сознательно и намеренно продолжает возвышать и поднимать, сколько можно тех, как он думает, кто у власти и всемогущ:

«– ...Евреи являются на самом деле не только первенствующим народом Азии, давшим уже не “кое-что”, а весь свет Азии, весь смысл ее, но они гигантскими усилиями, неутомимой деятельностью становятся мало-помалу и первым народом Европы. Вот! Вот! Вот! Этого-то и не сказал никто о них, т.е. “о соедини-

тельной их роли между Востоком и Западом, Европою и Азией». И – пусть. О, пусть... Это – да, да, да».

И вновь стремление соединить, сблизить, показать общность, эмоциональную близость, пробудить жалость к падшему и завоеванному: «Посмотрите, восторгнитесь, опомнитесь: несмотря на побои, как они часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда “по-гоголевски” не издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это – преступно, зверски. И своею и нравственною, и культурною душою они никогда этого и не делают. Я за всю жизнь никогда не видел еврея, посмеявшегося над пьяным или над ленивым русским. Это что-нибудь значит среди оглушительного хохота самих русских над своими пороками. Среди наших очаровательных: “Фон-Визин, Грибоедов, Гоголь, Щедрин, Островский”».

Даже православие сам Розанов критикует, особенно здесь, в текстах «Апокалипсиса...», в том числе, вероятно, чтобы показать свою «полезность» как критика новой власти, а евреи, оказываются, любят даже «русского», т.е. православного священника! – «А вот слова, которые я слышал: “Послушайте, как вы смотрите на русского священника?” – “При всех его недостатках, я все-таки люблю его”. – “Люблю? Это – мало: можно ли не чтить его: он получает корку хлеба, т.е. сельский священник, а сколько труда, сколько труда он несет”. Это доктор Розенблюм, в Луге, в 1910 г. Я думал, он – немец. Расспросил – еврей».

И о других русских людях их мнение, – врачах, в том числе, но не только, – тоже весьма позитивно и достойно, т.е. сближение возможно и уже существует не только с этой, стороны Василия Васильевича, но и с той:

«Когда разбиралось дело Панченко (“Де-Ласси и Панченко”), пришлось при экспертизе опросить какого-то врача-еврея, и он сказал серьезно: “Я вообще привык думать, что русский врач есть достойное и нравственное лицо”. Я так был поражен обобщенностью вывода и твердостью тона. И за всю жизнь я был поражаем, что несмотря на побои (“погромы”), взгляд евреев на русских, на душу русскую, на самый даже несносный характер русских, – уважителен, серьезен. Я долго (многие годы) приписывал это тому, что “евреи хотят еще больше развратиться русским”: но покоряет дело истине своей, и я в конце концов вижу, что это –

не так. Что стояло безумное оклеветание в душе моей, а на самом деле евреи уважительно, любяще и трогательно относятся к русским, даже со странным против европейцев предпочтением».

И это не какой-то практический, меркантильный интерес, выделяет писатель, а нечто, что еще надо увидеть и можно заметить, говорит между строк Розанов, только обладая той тонкой организацией и чувствительностью, которая свойственна всем евреям:

«И на это есть причина: среди “свинства” русских есть, правда, одно дорогое качество – интимность, задушевность. Евреи – то же. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».

То есть еврей все равно – лучше. И что это все не одни только слова, В.В. Розанов доказывает и личным опытом, приводя следующий эпизод:

«Огромный красивый солдат, в полусумраке уже, говорил мне:

– Как отвратительно... Как отвратителен тон заподозривания среди этого Совета солдатских и рабочих депутатов. Я пришел в Таврический Дворец и не верю тому, что вижу... Я пришел с верою – в народ, в демократию... Так как я пришел “без веры”, то горячо и как бы “хватаясь за его руку”, спросил у него: – Да кто вы? – Солдат из Финляндии... Стоим в Финляндии... Я, собственно, еврей... – Я – русский. Русский из русских. Но я хочу вас поцеловать. – И мы крепко поцеловались».

И обратно, – подчеркнуто, – давая пример частного лица, на этот раз возводит его в образец недостатков национального русского характера: «“Русские – общечеловеки”. А когда дело дошло до Армении, – один министр иностранных дел (и недавний) сказал: “Нам (России) нужна Армения, а вовсе не нужно армян”. Это – деловым, строгим образом. На конце тысячелетия существования России. То есть не как восклицание, гнев, а (у министра) почти как программа... Но ведь это значит: “согнал бы и стер с лица земли армян, всех этих стариков и детей, гимназистов и гимназисток, если бы не было неприлично и не показалось некультурно”. Это тот же Герцен и тот же социализм. Это вообще русский нигилизм, очевидно вековечный (Кит Китыч, о жене своей: “хочу с кашей ем,

хочу со щами хлебаю”). Опять, опять “удел России”: – очевидно, не русским дано это понимание в удел. Несчастные русские, – о, обездоленные...»

И тут же опять, тем же методом, противопоставляя ему (русскому характеру) благородство и совершенство евреев:

«Опять же евреи: на что – погромы. Ведь это – ужас. И вот все же они нашли и после них все слова, какие я привел, – и порадоваться русской свободе, и оценить русского попа. Да и вообще, злого глаза, смотрящего украдкой или тайно за спиною русского, я у еврея не видал.

Я и хочу сказать, что дело заключается в какой-то деловой всемирности, – не отвлеченной, не теоретической, а с другой стороны, – не вздыхающей и слезливой, а практической и помогающей. Самый “социализм их”, как я его ни ненавижу, все-таки замечателен: все-таки ведь социализм выражает мысль о “братстве народов” и “братстве людей”, и они в него уперлись. Тут только наивность евреев, которые решительно не так умны, как европейцам представляется, как европейцы пугаются. Они взяли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцам: “кто с чем, с каким имуществом живет”, и не догадываясь, что все зависит от “как этот человек живет”: что можно жить “с большим богатством – как в аду” (наши Кит Китычи) и можно жить на кухне, “в прислугах” – “счастливее господ”. Решительно я замечал, как многие господа живут печальнее, грустнее и раздраженнее своих прислуг, которые – по самым лицам их видно – живут “благословясь” и “в благословении”. Социализм вообще плосок, доска, – и безмерная наивность евреев, что они восприняли его, что они поверили в такой глупый счет арифметических машин. И я верю, что это непременно и скоро кончится. Им ли, им ли, после их ли истории и судеб, – верить этому...»

А с другой стороны, не только верят в социализм, а пропагандируют, распространяют, навязывают (см. выше у Розанова), хотя «для себя» у них совсем другое, как бы тут же говорит писатель, совсем противоположное – даже богатого поддержать и сохранить в его богатстве (!):

«Им ли, которые в неге реализма (“будь все как есть”) произнесли: “льна курящегося не погаси” и “трости надломленной не переломи”, – и которые, если кто богатый обеднеет у них, то

община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы он не испытывал перемены в самом уровне своего положения и не скорбел через самую мысль даже о нем... Это именно негa благородства и человечности, и выраженная кухонным, т.е. реальнейшим способом. “Так несчастно живут в их гетто” и их “свиные кагалы”».

И еврей, не забывает повторить Розанов, умнее и добродетельнее не только русского, но и европейца с его «свободой, братством, равенством»: «...Может не завязаться шутка и анекдот “около ноги”». Ну, вот, видите: а раз – шутка и анекдот, то уже никогда не выйдет холодного, холодного потому – что формального, *liberte, fraternite, egalite*. К великим прелестям еврейской истории относится то, что при всей древности и продолжительности ее – никогда у них даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой неверности и такой несправедливости. Ибо ведь нужно и истину и справедливость перевернуть вверх дном, дабы между неодинаковыми, ничего между собою не имеющими общего людьми установить *egalite*, да и еще родственное – *fraternite*».

А если так, то он, еврей, – как бы хочет суггестировать русский писатель, – разумеется, не может, никак не может устраивать погромы, зверства, бессудные убийства, как эти грубые, необразованные русские, – нет, нет и еще раз нет! И как бы чтобы подтвердить свою лояльность, опять переходит к критике христианства, Евангелия, на этот раз не называя его прямо:

«Сын, дети в сынах человеческих всегда не походят на отца и скорее противостоят ему, нежели его повторяют собою. Мысль о тавтологии с отцом, неотличимости от отца противоречит закону космической и онтологической целесообразности. Повторение вообще как-то глупо. Онтологически – оно невозможно. Посему, кто сказал бы: “Я и отец – одно”, вызвал бы ответом недоумение: “К чему?” – “Зачем повторение?” Нет явно, что сын мог бы “прийти”, только чтобы “восполнить отца” как несовершенного, лишённого полноты и вообще недостаточного. Без онтологической недостаточности отца не может быть сына, хотя бы отец и был “вечно рождающим” и даже только в сути своей именно “рождающим”. Но он “рождает мир” и, наконец, имеет дар, силу и красоту рождения, хотя бы даже без выражения ее на земле или в истории. Вернее, он именно продолжает и доселе сотворять мир,

соучаствуя всем тварям без исключения в родах их: составляет нерв и нить ихних родов, от цветка и до человека, без преимущества цветку или человеку. Но чтобы “появился сын” как имянность и лицо, то это могло бы быть только, чтобы сказать нечто новое земле и совершить на ней тоже новое. Без новизны нет сына. Сказать иное от отца и именно отличное от отца – вот для чего мог бы “прийти” сын. Без противоречия отцу не может быть сына».

И о роковом Приказе № 1, Розанов пишет, показывая не так его авторов, как «вину» русской литературы, дискредитировавшей ранее русского офицера и генерала, его героическую профессию:

«ПРИКАЗ № 1

превративший одиннадцатью строками одиннадцатимиллионную русскую армию в труху и сор, не подействовал бы на нее и даже не был бы вовсе понят ею, если бы уже 3/4 века к нему не подготавливала вся русская литература. Но нужно было, чтобы – гораздо ранее его – начало слагаться пренебрежение к офицеру как к дураку, фанфарону, трусу, во всех отношениях к – ничтожеству и отчасти к вору.

Для чего надо было сперва посмотреть на Скалозуба в театре и прочитать, как умывался генерал Бетрищев, пишущий “Историю генералов отечественной войны”, – у Гоголя, фыркая в нос Чичикову. Тоже – и самому Толстому надо было передать, как генералы храбрятся по виду и стараются не нагнуться при выстреле, но нагибаются, вздрагивают и трясутся в душе и даже наяву. Когда вся эта литература прошла, – прошла в гениальных по искусству созданиях “русского пера”, – тогда присяжный поверенный Соколов “снял с нее сливки”».

«Русское перо» и «присяжный поверенный Соколов» (а он был отнюдь не один автор) стоят рядом в одной строке, объединенные и единые – в убийстве России. Словно равно несущие вину, теперь уже не только в физическом действии, а и в более высокой плоскости, как могли бы сказать в наше время, информационной войны. И тут же пишется о связи этого вида «революционеров» с открытыми врагами России, немцами, их Генштабом, во время войны, – то есть на следующем уровне, имплицитно

указывая, тем самым, на куда большую вину и ответственность того, кто «умнее»:

«Но еще более “снял сливки” Берлинский Генеральный Штаб, охотно бы заплативший за клочок писанной чернилами бумажки всю сумму годового дохода Германии за год. “Приказ № 1” давно готовился. Бесспорно, он был заготовлен в Берлине. Берлин вообще очень хорошо изучил русскую литературу. Он ничего не сделал иного, как выжал из нее сок. Он отбросил целебное в ней, чарующее, истинное. “На войне как на войне...” “Эти ароматы нам не нужны”. “Нам, — немцам на реке Шпрее...” ...От ароматов и благоуханий он отделил ту каплю желчи, которая, несомненно, содержалась в ней. Несомненно — содержалась. И в нужную минуту поднес ее России. Именно ее. Ее одну. Каплю, наиболее роскошно выработанную золотою русской литературой. “Пей. Ты же ее любила. Растила. Холила”. Россия выпила и умерла».

Сомнений в этом у писателя-мыслителя никаких нет: Россию убили не только изнутри, но и по сговору — извне, совместными усилиями врагов, используя имеющиеся и привитые пороки и недостатки. В не прямой, но не завуалированной форме, Розанов говорит и повторяет это не раз, и не два.

Он же первый в русской литературе обратил внимание и адекватно оценил значение и последствия ее гиперкритического пафоса, намеренно интенсифицируемого примерно со второй половины XIX в. Закрывшего собой и затенившего все остальное, положительное, что было в русской жизни, культуре, той же литературе, оставив, безмерно преувеличив и выставив на первый план через увеличительную лупу искусства — недостатки. Часто лишь отдельных групп ее населения, отдельных лиц, выдав за всецелые.

«Собственно, никакого сомнения; что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения. Трудно представить себе... И, однако, — так».

И это, очевидно, глубоко возмущает писателя. Поэтому, можно предположить, когда он и сам так же пишет о русских и России, то делает это сознательно и аффектированно в унисон «демократической печати и литературе», чтобы показать враждебно настроенному читателю, прежде всего, по-видимому, «комиссару», что и он такой же, как все, полезный в деле огульной критики,

его, унижения и уничтожения России. И как таковой заслуживает снисхождения и оставления в живых. Вместе с семьей.

В следующем фрагменте Розанов, осуждая ситуацию и практику в России, делает это уже иначе. Словно пишет другой рукой, добавляет совсем иное, идущее уже не от трепещущего профетического ума, предвидящего апокалиптическое будущее, а от души и сердца, которые непосредственнее и истиннее, глубже чувствуют и артикулируют неправильность и несправедливость своего, «домашнего», происходящего здесь, в России, в большой семье:

«Когда славяне позвали “варяг из-за моря” управлять себя, управлять своею “обширною и богатою землею”, они показали себя какими-то калеками уже до рождения. Ужасно. Ужасно и истинно. И до сих пор, до нашего даже времени, я наблюдал, что все получше землицы, “покруглее”, поудобнее местоположением – в руках немцев или евреев. “Дача Штоля”, “имение Винклера”. За 15 000 Штоль скупил леса и земли около трех огромных озер, и уже через семь лет ему предлагали за них около 120 000, и он не продал. Он знал, что внук его возьмет за них миллион. Это точь-в-точь “история варягов”. Прогнал, без сомнения, помещик, обеспечивавший свою кухарчонку с детьми. “Ей больше 15 000 не надо. А значит – и мне”; “я же проживу при ней. Она меня, кстати, пускает и в картишки перекинуться”. Поэты. У нас везде Нали и Дамаянты. Художественная нация. С анекдотом».

И опять, будто оправдываясь, отрешивается от христианства, критикует:

«И вот так мы живем. Но вернемся к христианам. Нет ясно-го, доброго, веселого глаза. Все всех осматривают, все всех подозревают. Все о всех сплетничают. “Христианская литература” есть почти “история христианской сплетни”. Посмотрите беллетристику, театр. Это почти сплошное злословие. Как ужасно. И еще как ужаснее любить все это. Стонаю и люблю, стонаю и люблю. Привычка, традиция. Ах, “мои бедные родители”».

А результат всего этого, всех ошибок и неправильностей один: нет ни страны, ни домов, ни даже одежды, – В.В. Розанов и здесь предугадал грабежи не только на улицах, но по домам и квартирам, о которых, например, так ярко и фактично пишет в своих воспоминаниях З. Гиппиус. Но у Розанова рефлексированное и образнее:

«LA DIVINA COMEDIA

С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес.

– Представление окончилось. Публика встала.

– Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

И тут же, после обличения и предсказания – снова критика, осуждение христианства, будто показывая, «кому надо», без сомнения, «воинствующему атеисту», свою нужность и лояльность в главном, в борьбе с Евангелиями, alias, Богом.

«СТРАННОСТЬ

Много в Евангелии притчей, но где же молитва, гимн, псалом? И почему-то Христос ни разу не взял в руки арфу, свирель, цитру и ни разу не “воззвал”? Почему Он не научил людей молиться, разрушивши в то же время культ и Храм? И о Храме явно сказав, что Он его разрушит: как и об Иерусалиме – тоже величельно предсказав, что он падет и разрушится. Разрушится такое средоточие молитв и молитвенности, какого, конечно, не было нигде еще на земле. Почему-то таинственно и неисповедимо людям никогда не пришло на ум, что Евангелие есть религиозно-холодная книга, чтобы не сказать – религиозно-равнодушная. Где не поют, не радуются, не восторгаются, не смотрят на Небо; и где вообще как-то уж очень “не похоже на рай первобытных человеков”. Не пришло на ум никому, что если чем более всего Евангелие удивляет и поражает, то это религиозною трезвостью; близкою уже к рационализму; и где “пары” не идут ни “сверху”, ни “снизу”... И вообще, мы не слышим молитв и любящих излияний сердца именно Христа к Отцу Своему, что так естественно бы от Сына, что так ожидалось бы от Сына. Люди молятся, но Христос не молится...»

Читатели-христиане Василия Васильевича прекрасно знают, что ОН – молится. Даже до кровавого пота. И что если в Писании Ветхого Завета все остается и на йоту не изменится, то и все его тепло и песни, и излияния сердца, и «пары» – все остается. Не к ним и не за тем пришел Христос, а чтобы спасти заблудших во всех отношениях. И сам Розанов знает это лучше всех. Цель у него

другая. Ведь и здесь опять сразу следует противопоставление правильного, еврейского – христианскому, «не такому», «непонятному», не близкому, даже – через отвержение аутентичности текстов Евангелий, отрицание адекватности описания ими событий, умонастроений и психологии современных им верующих, будто не помня слова Христа (но Розанов-то их помнил очень хорошо, как и его читатели), пришедшего спасти «не праведников» ни р. Акибу или Симона Праведного, не тех, кто «правильно молился», а – «грешных», фарисеев, мытарей, блудниц, книжников, заблудших, мнящих себя учителями и лучшими:

«Между тем теперь мы уже знаем Симона Праведного, бен-Иохая, равви Акибу. Они молились вовсе не “так”... Да что, Иона: даже “попав в чрево китово”, он все-таки “встал на молитву” и “воззвал”: не был же и он фарисеем и не для фарисейства он молился. Иона невидимо и прекрасно защищает, и – фарисея. Евреи молились вовсе не так, как описано в Евангелии, и в Евангелии содержится клевета на молитвы евреев. Эти уторопленные жидки, и Симон Праведный, и Акиба, бегали, сустились, кричали, кричали на народ, но никогда “торжественно не становились в позу” и не произносили слов, воистину проклятых. Единственно, в чем они “прегресли против Евангелия”, – это что так любили и Храм, и город, и народ...»

И снова сразу за этим пророческие и провидческие слова из Ф.М. Достоевского о грядущей пагубе, для всего мира губительной напасти, в которой легко угадываются *post factum* и носители пандемии, и вместе с губительными учениями и идеями даже особые трихины – злые духи, после вселения которых в людей последние становятся бесноватыми и сумасшедшими («революционерами»), продолжая считать себя обладающими абсолютной истиной и умнее всех:

«“Он (Раскольников) пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и неведомой моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические,

вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же сумасшедшими и бесноватыми. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, – всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех; но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расстраиваться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, – это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю” (“Преступление и наказание”, издание 1884 года, страницы 500–501)».

И здесь же цитата из Евангелия, предвещающая и подтверждающая это видение древним пророчеством:

«И вышедши, Иисус шел от Храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания Храма.

Иисус же сказал им: “Видите ли все это? Истинно, истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено” (Евангелие от Матфея, глава 24, 1–2)».

Вероятно, чтобы как-то прикрыть это, подлинное, главное, вновь следует «критика» христианства:

«Странная стонущая цивилизация. Уже зло пришествия Христа выразилось в том, что получилась цивилизация со стоном. Ведь Он проповедовал “лето благоприятное”. Вот в этом, по крайней мере, – Он ошибся: никакого “лета благоприятного” не получилось, а вышла цивилизация со стоном. Какая же это “благая весть”, если “человек в море” и “шкаф упал на человека”?»

Но Бог есть, и потусторонняя жизнь – тоже, более того, и она и земная связаны, соединены друг с другом, так что события, то, что делается здесь – корень того, что взойдет, будет там (намек на воздаяние за все):

«Здесьняя земная жизнь – уже таит корни неземной».

И тут же всегда близкая ему, Розанову, как каждому живому человеку, милая мысль о совокуплении, о продолжении рода во всех видах жизни, чтобы развивалась, взростала:

«...Есть “мухи-поденки”. Но, во всяком случае – они, и уже бесспорно все, – совокупаются. Значит, “мир будущего века”, по преимуществу, определяется как “совокупление”: и тогда проливается свет на его неодолимость, на его – ненасытимость и, “увы” или “не увь”, – на его “священство”, что оно – “таинство” (таинство – брака)... Но явно, что у насекомых, коров, везде, – в животном и растительном мире, а вовсе не у человека одного, – оно есть “таинство, небесное и святое”. И именно в центральной его точке – в совокуплении. Тогда понятна “застенчивость половых органов”: это – “жизнь будущего века”, входим через это “в загробную жизнь”, “в жизнь будущего века”. И, странно: тогда понятно наслаждение. “Эдем, блаженство”. Но – и более: обратимся к “нектару цветов”. Действительно, поразительно то особенно, что насекомые (не одни бабочки, но и жуки, “бронзовики”, “Божии коровки”) копаются в громадных относительно себя половых органах деревьев, и особенно – кустов, роз и проч. олеандров и т.п., орхидей. Чем цветы представляются для бабочек? Вот бы что надо понять и что понять – нуменально необходимо. Не невозможно, что для каждого насекомого – “дерево и цветок”, “сад и цветы” – представляются “раем”... Да так ведь и есть: “лето, тепло; и – восстанавливается в силах”. В “древности” вообще тогда очень многое объясняется: как равно у Достоевского его знаменитая, потря-

сающая, стоящая всего “язычника-Гёте” фраза: “Бог взял семена из миров иных и посеял на землю. И взросло все, что могло возрасти. Но все на земле живет через таинственное касание мирам иным”. Тут – все язычество уже. Уже, напр., весь Египет, храмы коего – суть прямо рощи, колонны-деревья, непременно – деревья, с “капителями-цветами”. Да и каждый-то наш “сад” есть “таинственный храм”, и не только “посидеть в нем – поздороветь”, но и “посидеть – помолиться”. Да и понятны тогда “священные рощи древности”, забеременевают. Сила солнца, “грешок” солнца – переходит в животных. Все – тучнеет, животы у всего – разрастаются. Сама земля – просит зерна... И вот – Деметра, вот – Гея, и опять – “Волнующая нива”, которая “вздымает грудь к молитве”».

И опять – противопоставить и этому всему – христианство:

«Что же: сказать христианству, что это – “неправда”? И что в одних духовных академиях – богословие? Но гораздо более богословия в подымающемся быке на корову... И вообще:

Весна идет, весна идет,
Везде идет зеленый гул».

Показывая затем снова и снова единство любви евреев, – на первом месте по сути и времени, конечно, – но и русских, хотя бы только с «Домостроя» к самому интимно-дорогому: семье, дому:

«ДОМОСТРОЙ

“Вот когда я умру, он закроет мне глаза”, мне “и – матери своей”, – говорит отец при рождении первого сына – мальчика. Это и есть “Домострой”, великая идея которого, замечательно, ни разу не пробудилась в русской литературе XIX, да и XVIII века, но которая была в Москве, и дал эту идею поп Сильвестр, друг Грозного, – друг и наставник. Великий, прекрасный наставник...

Несомненно, самый великий “Домострой” дан Моисеем в “Исходе”, во “Второзаконии” и т.д. и продолжен в Талмуде, и затем фактически выражен и переведен в жизнь в кагале.

Талмуд (конечно, в Вавилонской его редакции – “Бавли”) и кагал – две вещи, совершенно не понятые в Европе и европейцами. Кагал есть великолепная “city”, “la cite”, “коммуна”, где люди живут рядышком, в теплоте и тесноте, помогая друг другу, друг

о друге заботясь “как один человек”, и поистине – одна святыня. Это – та естественная и необходимая социализация, которую потеряв, человечество вернулось к искусственному, дрянному, враждебному и враждующему со всеми “социализму”. Социализм есть продукт исчезновения Дому-строга и кагала».

Весь этот пассаж, как представляется, – скрытое противопоставление объединенных теплом и любовью «общины» и «кагала» насаждаемой «большевиками» новой коммуны с совсем другими ценностями-антиценностями:

«Невозможно человеку жить “одному”, он погибнет; или он может погибнуть; или испытать страх погибнуть. Естественное качество кагала – не давать отделяться от себя, вражда к тому, кто отделился (судьба Спинозы в Амстердаме и “херема” над ним)... Херем и был совершенно справедлив, потому что “община” важнее личности, пусть даже эта личность будет Сократ или Спиноза. Тем более что общине совершенно неизвестно, отделяется ли сейчас от нее Сократ или Спиноза, или – обычный нелюдим, хулиган».

«Община – это слишком важно. Если – хулиган, ну даже талантливый или гениальный хулиган, разрушит ее, – то ведь “все погибнут”. А “все” – это слишком много. “Если ты жалеешь одного, как же ты не задумаешься надо всеми?”»

Затем уже и мотив Евангелия в позитивном контексте, а далее и смешение со всеми и оправдание всего: кагала и Рима, коммун 1860-х, средневековой жизни как «курицы с выводком»:

«И евреи, впавшие в такое ужасное одиночество после Христа, с враждебностью всего мира против них, зажили “кагалом”. “Единственное спасение для нас”. Но и вообще и в частности, без отношения к Христу и без отношения к евреям, – “кагал” есть естественно-социальная форма жизни всех людей. Несомненно, что “кагалами”, т.е. “уличками”, “общинами”, жили финикияне и карфагеняне. Даже у римлян что такое их “трибы” и “курии”? Кагалы. И – в Аттике, и даже в Спарте. “Кагал” есть яйцо курицы или, еще вернее, – это есть курица с выводком. Это есть “тривиум” и “квадравиум” средневековой жизни. “Римская империя (всемирность) пала, будем жить тривиум и квадравиум”. “Свой уличный суд”, “свой околодок”, “свои соседи”. И – не дальше, не грешнее.

“Дальше” – империя, папство и грех. В этом отношении или, вернее, в этом направлении “коммуны” 60-х годов у нас были совершенно правильны. “Будем жить по-своему”, а “до прочих людей нам дела нет”».

И проблема отдельного, «маленького человека», оказывается, решается... Богом:

«Потому что Бог возлюбил отдельного человека, маленького, бедного, как сейчас сам Розанов в своей отделенности, в своем “гетто” – и счастлив: А “счастье” есть поистине “кое-что” для человечества. От вздоха по счастью человек никогда не откажется. Бедный человек. Полюбим именно бедного человека. Бог воистину возлюбил бедного человека. Не нужно богатства. Это – лишнее. Итак, “бедный человек” возлюбил свое “гетто”, в нем греется, им защищается, и, ей-ей, это выше Сократа и Спинозы. Потому что это священнее Сократа и Спинозы. Тут Бог уютится. В гнездышке. Потому что гнездышко – оно такое священно, которого ищет и сам Бог. Не спорю: есть Бог Универзуса. Но мне как-то более нравится “Бог гнездышка”».

Поэтому опять нужды один и тот же вывод: «И вот я думаю – евреи во всем правы. Они правы против Европы, цивилизации и цивилизаций. Европейская цивилизация слишком раздвинулась по периферии, исполнилась пустотами внутри, стала воистину “опустошенною” и от этого погибает. Кому она нужна? Кого греет? Самые молитвы ее пусты, эти “протестантские молитвы”, эти “католические молитвы”. Эти “православные молитвы”. Слишком обширно. А где обширно, там и холодно. “Где же нагреть такой храм?” В храме св. Петра – только мерзнуть. Как лучше его маленькие церковки в Ярославле и вообще по Поволжью».

И поэтому: «Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем. На самом же деле в вас, конечно, “цимес” всемирной истории: т.е. есть такое “зернышко” мира, которое – “мы сохранили одни”. Им живите. И я верю, “о них благословятся все народы”. – Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем – я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле. Да будет благословен еврей. Да будет благословен и русский».

Поэтому и революция – общая для всех:

«Так и видишь двух побродяг. Ужасных, лукавых, хищных. Это уже вся наша революция с ее “реквизициями” банков или из банков, с “красной гвардией” из разных оборванцев, “получающих” (т.е. “назначивших себе”) в жалованье 25 руб. суточных, “потому, брат –

Холодно, странничек, холодно...

Голодно, странничек, голодно...”

И не каждую неделю, месяц и год придется “сыграть такую революцию” или “сорвать такую революцию”. Великое умиление... Великий разбой... То есть в стихах двух поэтов. Оба как “хлестнули крест-накрест” поперек. И плети вонзились... в тело всего человечества. Там – правда, здесь – правда. Все – ужасная реальность, – о, какая реальность... И висеть, висеть Христу, неизбынно висеть между этими двумя разбойниками, именно – этими, никакими – еще:

– Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое”.

– Другой же хулил Его, говоря: “Избавь Себя и нас”».

И снова, словно опомнившись, против христианства:

«О, не надо христианства. Не надо, не надо... Ужасы, ужасы.

Господи Иисусе. Зачем Ты пришел смутить землю? Смутить и отчаять?»

И далее еще раз сравнение русских и европейцев на примере Нобеля, как не близких, мы дальше от них, как и евреи, а следовательно, между собой евреи и русские – ближе. И энтелехиальная важность дома, покровительствуемого свыше:

«И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл. Работай над “круглым домом”, и Бог тебя не оставит на небесах. Он не забудет птички, которая вьет гнездо».

Несомненно, Розанов и в Бога верует, и уверен, как, например, и Владимир-Зеев Жаботинский или В.В. Шульгин («Что нам в них не нравится»), что революция – еврейских рук дело, и что – засвидетельствовано – все тексты Достоевского о евреях читал, и очень хорошо их знает и помнит. И он, как и Достоевский до

него, убежден, что есть объективные основания для возникновения еврейских «погромов» в любой и во всех формах, и – феноменально страшится их: за Россию, за свою семью, за каждого человека в этой стране, за себя тоже – в последнюю очередь. И в этом значении они оба – юдофобы: Ф.М. Достоевский и В.В. Розанов.

Е.М. Криволапова

ДНЕВНИК М.О. МЕНЬШИКОВА 1918 ГОДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО КАТАСТРОФЫ РОССИИ

Аннотация

Статья посвящена особенностям литературного дневника М.О. Меньшикова 1918 г. Преимущественное внимание уделяется размышлениям автора о трагической ситуации, в которой оказалась Россия после революции 1917 г. Анализируются страницы дневника Меньшикова, которые посвящены его взаимоотношениям с В. Розановым. Прослеживается эволюция мироощущения автора дневника в связи с изменением общественного сознания русского общества после октябрьских событий.

Ключевые слова: литературный дневник, революция, Россия, трагизм мироощущения, октябрьские события, Розанов, эволюция общественного сознания, русское общество.

Krivolapova E.M. *M.O. Menshikov's diary in 1918 as evidence of Russia catastrophe*

Summary. The article is devoted to characteristics of M.O. Menshikov's literary diary in 1918. Much attention is paid to author's reflection on the tragic situation in Russia after the revolution on October 1917. The separate pages of M. Menshikov's diary which are devoted to the personality and creativity of V. Rozanov are analyzed. The evolution of the author's attitude in connection with the change of social consciousness of the Russian society after October events is revealed.

М.О. Меньшиков вел дневник на протяжении всей жизни. Но только незначительная часть дневниковых записей стала достоянием широких читательских кругов: фрагментарно опубликованы записи 1893, 1896 и 1916 гг.¹, полностью издан только дневник 1918 г., последнего года жизни публициста, по сути ставший его предсмертным завещанием². Дневник охватывает неполные

семь месяцев жизни М.О. Меньшикова и его семьи: первая запись датируется 11 февраля 1918 г., последняя – 31 августа. Это дневник, создаваемый автором «на 59 году жизни, среди неслыханной катастрофы»³. Основное содержание записей составляют размышления писателя о той трагической ситуации, в которой оказалась Россия после октябрьского переворота 1917 г.

Масштабы катастрофы настолько велики, что в дневнике М. Меньшикова возникает картина, напоминающая приближающийся Апокалипсис. Предчувствие неизбежного конца пронизывает мироощущение автора: «27 февр. / 12.III.1918. Год русской великой революции. Мы еще живы, благодарение Создателю. Но мы ограблены, разорены, лишены работы, изгнаны из своего города и дома, обречены на голодную смерть. А десятки тысяч людей замучены и убиты. А вся Россия сброшена в пропасть еще небывалого в истории позора и бедствия. Что дальше будет и подумать страшно, – то есть было бы страшно, если бы мозг не был уже досыта и до бесчувствия забит впечатлениями насилия и ужаса»⁴.

Крушение России, воспринимаемое Меньшиковым как мировая катастрофа, усугубляется катастрофой личной: впереди германская оккупация, которая грозит истреблением нации, все пути к спасению отрезаны, нет средств к существованию, полное отсутствие возможности литературного заработка, постоянные болезни детей, страдающих от холода, недоедания, некачественной пищи. Когда-то известный, пользующийся популярностью, более чем обеспеченный публицист теперь оказывается в жизненном тупике. После октябрьского переворота М.О. Меньшиков отказался принять предложение главы Временного правительства князя Львова эмигрировать за границу и вместе с семьей уехал в свой дом на Валдае.

Дневник М.О. Меньшикова можно назвать и «дневником-катастрофой», поскольку записи пронизаны отчаянием и ожиданием неминуемой гибели, а каждый день воспринимается, как дарованный Богом. Рефреном проходят строки: «Еще живы»; «Пока живем»; «Боже мой, что будет дальше! <...> Если не убьют нас сегодня, завтра, послезавтра...»⁵ «И угораздило меня жить в эти тяжкие времена и даже наплодить несчастных детей, к-рым угрожает самая черная нищета»⁶.

Внутренняя потребность М.О. Меньшикова писать о том, что он видит, слышит, чувствует, переживает, проистекает не только от выработанной им годами «привычки» работать, не только оттого, что в силу жизненных обстоятельств он этой работы лишился: 19 марта / 1 апреля 1917 г. в «Новом времени» вышла его последняя статья «Голос Библии». Дневник для него – единственная возможность продолжения своей публицистической деятельности; более того, в ведении дневника, осуществляемом им в кризисный период, Меньшиков видит особую миссию – публициста-проповедника: «Что, в частности, я должен делать в мои 59 лет? Последнее десятилетие в моей жизни, если оно будет дано мне, я обязан проповедовать основное правило мудрости – извлекать хорошее из худого»⁷.

«Извлекать хорошее из худшего» – это глубокий, скрупулезный анализ причин, по которым Россия погрузилась в бездну и почти достигла апокалиптической границы. Далеко не случайно, что в это же самое время в Сергиевом Посаде В.В. Розанов начинает новую книгу, названную им в соответствии с событиями, происходящими в России, – «Апокалипсис нашего времени», которую исследователи впоследствии назвали «крупнейшим памятником катастрофического сознания эпохи»⁸.

Анализируя настоящее положение России и рассуждая о том, что ее ждет в будущем, Меньшиков задается и «розановским» вопросом: почему «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь», почему «она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей»⁹.

Самого себя М.О. Меньшиков спрашивает: «Неужели исчезает из истории великое русское царство? Неужели оно было не более, как великим недоразумением?»¹⁰ С болью и горечью он вынужден признать, что это «по-видимому, так. Сухостой истории. Если патриотизм добродетель, то я должен признаться, что никогда я не был менее патриотом, чем теперь. <...> Вспомните Чаадаева и всю русскую интеллигенцию, точно отравленную своим патриотизмом. И в XIX в. мы ничего не дали более знаменитого, чем нигилизм. И в XX в. ничего, кроме оглушительного падения в пропасть...

Ну что делать. Стало быть, такая наша планида, скажет иной мужичок... <...> а большинство, м. б., и этого не скажут»¹¹.

И в этих словах Меньшикова опять слышна переключка с Розановым: «Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось Войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего.

Остался подлый народ...»¹²

Тематический диапазон в дневнике Меньшикова достаточно широк: публицист касается не только злободневных для России социально-политических и экономических вопросов, но и проблем духовно-нравственных, культурно-этических. Отличительной особенностью дневника является его диалогичность. Так называемый «косвенный адресат» – неизбежный атрибут любого дневника – у Меньшикова присутствует достаточно зримо. Публицист с первых страниц обращается к своему невидимому собеседнику, тому, кто останется жить в разоренной, ограбленной, опозоренной стране: «Милые, не плачьте! Не Бог вещь что и потеряли! Независимость ваша была фикцией: ведь вы были в рабстве немецкой же династии, притом выродившейся и бездарной. Просвещение ваше было фикцией. Величие и слава дурного сорта. Все это бутафорское будет сметено бурей. <...> Родимые, жедобные (жалостливые. – Е. К.), не рыдайте! Потерять независимость это участь всех нечестивых народов...»¹³

Присутствие в дневнике сильного аналитического начала – еще одна его особенность. Пытаясь разложить все по полочкам, Меньшиков, по своим собственным словам, «все резонирует» («О мое беспросветное резонерство!»). Но это «резонерство» публициста, привыкшего вскрывать суть проблемы, разлагать ее на отдельные части, находя при этом все возможные пути ее решения. «Резонируя», Меньшиков пытается выявить причины, приведшие Россию к «падению в бездну», постичь некую закономерность в случившемся, объективно оценить сложившуюся ситуацию, спрогнозировать ее дальнейшее развитие, наконец, предложить свои «рецепты» спасения России.

Анализируя причины катастрофического положения своей страны, просчеты и ошибки, допущенные в ходе революции, Меньшиков рассматривает трагедию России в контексте мировой истории, в русле цивилизационных процессов и находит некую

закономерность в том, что случилось с русским народом. В его рассуждениях о «мессианстве» русских чувствуется ожесточение, граничащее с отчаянием, что совсем не случайно в ситуации человека, все потерявшего в жизни и ждущего самого худшего: «Каждый русский, приходя в сознание, видит, что его отечество не первое в свете, и не второе, и не третье, и едва ли даже десятое. Мы не можем любить родину потому, что не можем уважать ее. Пусть предки не виноваты в культурной нашей отсталости: география заела историю, но мы не можем все-таки аплодировать тому, что за тысячу лет народ наш не познал природы, а только истощил ее»¹⁴.

Горькая ирония звучит в словах Меньшикова, обращенных к русскому народу: «В сущности все красивое свое и великое вы давно пропили (внизу) и прожрали (наверху). Размотали церковь, аристократию, интеллигенцию. Уже к концу царствования Николая Злосчастного (Николая II. – Е. К.) ясно было, что православие рухнуло, и самодержавию, и народности грозит со стороны г-д Бронштейнов и Апфельбаумов полное аннулирование...»¹⁵ Теперь русский народ, с горечью констатирует Меньшиков, един в своем настроении: «Ждет в лице немцев своего Мессию». Он приводит в дневнике выдержку из «ликующего» письма О.А. Фрибес: «Они уже здесь». «Т.е. немцы», – уточняет Меньшиков и продолжает: «Не трагедия ли: ждать самых лютых врагов как освободителей? Не трагедия ли: ждать смерти, как освобождения»¹⁶. В ходе размышлений Меньшиков приходит к удручающему выводу о том, что «потеря независимости дает нам необходимое освобождение от самих себя». Корень зла, считает он, в менталитете русского народа, и все случившееся с Россией есть закономерность.

В своем отношении к славянофильству Меньшиков сближается с Розановым, который «воспринял революцию как крах идеала Святой Руси, как доказательство несостоятельности славянофильских мечтаний»¹⁷. Так, в «Апокалипсисе нашего времени» Розанов пишет: «А не повеситься ли славянофилам... Проклятая родина. Вы, терпеливые, вы трудолюбивые, берите же ее, немцы и евреи»¹⁸. У Меньшикова читаем: «“Русь! Куда мчишься ты”, – спрашивал Гоголь. – “Под косогор, голубчик! В пропасть!” – могла бы ответить ему Русь. Гоголь немного не дожил до Крымской

войны, – Россия скажет миру новое слово! – проповедовали славянофилы. И она сказала... Многие славянофилы могли еще его слышать...»¹⁹

В самых первых записях дневник передает состояние человека, внутренне готового ради спасения своих близких работать «под немцами», издавать «маленький журнал», но в последующих записях Меншикова все отчетливее слышится отчаяние, которое не способна устранить ни одна «психология»: «*Вечер*. Сегодня сердце щемит... Начинает, кажется чувствоваться ужас государственной гибели, та великая боль, которой на целое столетие заболевает покоренная раса. Неужели мы будем покорены? Да ведь **уже!** Как прав был я в 1915 г., когда ругался с корреспондентом Times'a и составлял записку для корреспондента Temps, где упрекал союзников в предательстве»²⁰.

Чтобы прояснить тогдашнюю позицию Меншикова, обратимся к одной из его статей 1915 г., написанной в самый ее разгар, 15 февраля 1915 г., – «Обглоданные гусеницей», в которой он доказывает, что поражение «*царской* монархии» влечет за собой подчинение *кайзеровской* монархии: «Мне скажут: эсдеки вовсе не добиваются завоевания России немцами; они желали бы в первую голову “поражения царской монархии и ее войск”, но вторым пунктом идет образование свободных республик <...> и третьим их пунктом является слияние всех европейских республик в республиканские соединенные штаты.

Прекрасно. Допустим это. Бумага все терпит, но сама действительность?.. Начав с поражения царской монархии и ее войск, к чему же вы, г-да эсдеки, подвели бы Россию и Германию? Россию сделали бы покоренной страной, Германию – страной покорившей. Так неужели вы думаете, что, разгромив Россию, а стало быть, Францию, и Англию, Германия вдруг сказала бы им: знаете что, давайте-ка сделаемся все свободными республиками! Мы своего императора-победителя низложим за то, что он вознес Германию на высоту всемирного господства, а вы низлагайте своих монархов за то, что они бились за вашу независимость. Перебив миллионы своих и чужих солдат, истратив миллиарды марок на войну и наконец завоевав Европу, мы, немцы, знаете, что сделаем? Вдруг, к общему изумлению, откажемся от наших завоеваний, ибо этого желают петроградские эсдеки... <...> Как вы думаете, похоже

это на немецкий характер, на психологию завоевателей вообще, а тевтонов в особенности?»²¹

Здесь требуется уточнить отношение Меньшикова к Николаю II. Если в статье 1915 г. явно «проглядывает» Меньшиков-монархист, то в 1918 он уже напрямую обвиняет институт монархии в гибели страны: «К сожалению, Николай I начал, Николай II окончил разрушение старой России, – да будут они оба погребены в презрительном забвении человечества вместо вечной славы!»²² Император Николай II в дневнике именуется «Злосчастливым». В «великом крушении» России Меньшиков обвиняет именно его: «Боже, до чего прав я был, чувствуя задолго до войны глубоко возмущенное и презрительное чувство к Николаю II! Он погубил Россию, как губит огромный корабль невежественный или пьяный капитан, идущий в узком фарватере и передающий неверный курс на штурвал. Роковой человек! Одно к одному: нечестный народ, выдвинувший нечестивый и ленивый высший класс, должен был потерпеть наказание, получив одностильного с ними царя»²³. На первый взгляд, негативная оценка Меньшиковым личности Николая II вполне объяснима и сомнений не вызывает, но последующие дневниковые записи свидетельствуют о том, отношение писателя к царю гораздо сложнее.

В связи с этим обратимся к другому структурному элементу дневника – снам. Судя по записям, для Меньшикова (впрочем, так же, как и для дневников Пришвина) они были весьма значимы, поскольку автор акцентирует свое внимание на характере снов, пытается истолковывать их значение, соотнося с реальными событиями: «Ночью тревожные, предупредительные сны. Верно, где-нибудь совершается что-то решительное»²⁴. Обычно в подобных снах присутствуют духовно близкие ему люди – и не только родственники, но и В.В. Розанов, А.С. Суворин.

Тот факт, что Меньшикову была безразлична судьба Николая II, тоже доказывают сны, которые, по известному выражению К.Г. Юнга, являются «прямой манифестацией подсознательного»²⁵. В подсознании же Меньшикова таится скрытая от него самого тревога за судьбу русского императора – виновника катастрофы, происшедшей с Россией и с ним лично. Возможно, также бессознательно, Меньшиков проецирует свою собственную судьбу на судьбу русского царя, интуитивно чувствуя схожесть

положения (отрезаны пути к спасению, вероятность смертельного исхода, присутствие рядом жены и детей), что вызывает в нем чувство сопереживания: «Сегодня видел сон: как будто я стою в храме, где почти никого нет, – я и Николай II. Он говорит, указывая на пол, “что это?” <...> Я <...> ответил: “Это грязь, Ваше Величество” (подумал, не обиделся бы он, что не сказал **императорское** Величество). Тогда царь молча стер подошвой эту грязь (такую, какая прилипает к обуви на улице). Мне показалось, что мне о чем-то нужно говорить с государем, но сразу нашло очень много народа прикладываться к кресту, который будто бы вынес не священник, а тот же Николай II, и мне показалось, что когда я приложусь, тогда и поговорю с ним. С этим и проснулся. Но в связи ли этот сон со слухами, что Николай II убит?»²⁶

Последующие несколько дней Меншиков отмечает в дневнике все слухи, касающиеся информации об убийстве царя. Меняется тональность записей, уходит ожесточение, появляется сопереживание, стремление разобраться в предполагаемой трагедии и одновременно стойкое нежелание того, чтобы эти слухи обернулись реальностью: «Встревоженное настроение. В “Молве” настойчивые слухи об убийстве Николая II конвоировавшими красноармейцами. И наследник будто бы умер две недели тому назад. Все возможно в эти трагические времена. Жаль несчастного царя – он пал жертвой двойной бездарности – и собственной, и своего народа. <...> Я действительно верил в русскую монархию, пока оставалась хоть слабая надежда на ее подъем. Но как верить в машину, сброшенную под откос. И совершенно изломанную? <...> Мы все республиканцы поневоле, как были монархистами поневоле. Мы нуждаемся в твердой власти, а каков ее будет титул – не все ли равно?»²⁷

На протяжении одного дня – 11 (24) июня – Меншиков делает несколько записей, и все они касаются одного: смерти Николая II, в реальность которой он наконец поверил, притом что императору и его семье было отмерено еще больше трёх недель жизни. Меншиков потрясен, узнав, что «ужасный слух» подтвердился и «несчастный царь действительно убит». Он понимает, что свершился какой-то страшных грех, что-то противоестественное, имеющее отношение не только к здравому смыслу, но и к каким-то сущностным основам: «Глубинам совести народной, если остались

какие-нибудь глубины, будет нелегко пережить эту кровь»; «Боже, какая бездарная у нас, какая злосчастная страна! Итак, родившись в день Иова многострадального, Николай претерпел столько бедствий, сколько едва ли кто из его современников – не только коронованных, но и простых пастухов»²⁸.

«Тяжелый камень на сердце» у Меньшикова от понимания того, что преступление совершено от имени всего народа, «преступление бессмысленное, объяснимое только разве трусостью и местью», поскольку «убили человека теперь уже совершенно безвредного... <...> Убили только потому, что он оказался беззащитен среди народа, четверть столетия клявшегося ему в преданности и верности»²⁹. В этих размышлениях Николай II воспринимается Меньшиковым уже не как царь, а как обыкновенный человек, волею судьбы оказавшийся одиноким, беззащитным и посланным на заклание вместе со своей семьей. Писатель не сомневается в том, что и его самого ждет такая же трагическая участь. Для него параллелизм судеб очевиден. Не случайно последующие записи Меньшикова наполнены мыслями о скорой смерти, в которой самое страшное для него – расставание с детьми. В одном из последних прощальных писем Меньшикова, обращенном к семье, есть такие строки: «Простите меня, Христа ради, что я был слишком беспечен и не уберег себя и вас»³⁰.

Переоценка ценностей, перемена «политического мирозерцания» происходит не только в сознании М. Меньшикова. Так, секретарь петербургского Религиозно-философского общества С.П. Каблуков, подводя итоги 1917 г., запишет в своем дневнике: «...Переменилось и мое политическое мирозерцание. Из радикал-демократа я стал приверженцем самодержавия царского. 10 месяцев русской революции, уничтожившей Россию как государство, опозорившие ее, внесшей чудовищную разруху в хозяйственную, промышленную и бытовую жизнь страны <...> не могли сделать из меня ничего иного»³¹. По свидетельствам Э. Голлербаха, осенью 1918 г. Розанов, бродя по Москве с С.Н. Дурылиным, обращался ко всем встречным с просьбой показать ему «какого-нибудь настоящего большевика», а придя в Московский Совет, он демонстративно заявил: «Покажите мне главу большевиков – Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я – монархист Розанов».

«С.Н. Дурылин, смущенный его неосторожностью, упрасивал его замолчать, но тщетно»³².

Сам Меньшиков признается, что испытал странные для себя чувства, узнав, что Великий князь Михаил Александрович объявил себя императором: «...В груди задрожали старые монархические струны», захотелось крикнуть: «да здравствует и пр.». «Стало быть, я больше монархист в душе, нежели республиканец, – признается он, – хотя искренно презирал Николая II и всех выродившихся монархов»³³.

Еще один структурный элемент дневника – рассуждения ретроспективного характера. Меньшиков обращается к прошлому, во-первых, с целью осмысления собственной жизни и подведения ее итогов, во-вторых, с тем, чтобы, соотнеся прошлое и настоящее, попытаться объективно оценить свою писательскую деятельность. Меньшиков подвергает тщательному анализу прожитую жизнь. Он вспоминает о «проклятой бедности», которая «измьяла и изувечила жизнь» и его родителей, и братьев, и его собственную. Он корит себя за «беспечность», когда, доверившись «человеческой подписи на бумаге», обменял «золотые кружки» на ассигнации и в результате оставил своих детей без средств к существованию. Но более всего Меньшиков упрекает себя за то, что не смог «предвидеть» того положения, в котором оказалась его семья: «Гибель. Ты ее мог бы предвидеть, когда родился после постыдной крымской войны, когда в числе первых звуков, сменивших звуки небес, тебя встретила площадная брань. В нечистую ты пришел страну, в страну больную, гибнущую. <...> Разве ты не пережил затяжной агонии голодовок и эпидемий, предшествовавших поражению на востоке и первому русскому бунту? Разве ты не знал лично министров, растерянных, равнодушных, цеплявшихся за свой пост при явной неспособности наладить дело? Разве...»³⁴

Риторические вопросы, следующие один за другим, усиливают не только выразительную эмоциональность речи, но и передают высшую степень отчаяния автора: «И если, видя всю эту внутреннюю гниль и возмущаясь ею, ты не бежал из гнилого ому-та, стало быть, тем самым, ты признал неразрывность твою с ним. Ты оказался не выше здоровой клетки в чахоточном теле – видит гибель и уйти от нее не может. Вот оценка твоей родины и тебя

вместе с ней»³⁵. Он признает, что его личные ошибки неразрывно связаны с мировой и общенародной катастрофой.

Размышляя о пройденном пути, оценивая опыт прошлого и анализируя настоящее, Меньшиков среди всего этого неожиданно приходит к мысли о своем поразительном сходстве с Розановым: «Вчера в “Вешних водах” прочел статью Голлербаха о Розанове и поражен был многими параллельными чертами наших биографий. <...> Литературно мы очень не схожи, но есть и поразительные совпадения без заимствования»³⁶. Поэтому стоит обратить внимание на «схождения» этих двух незаурядных личностей.

И Меньшиков, и Розанов ушли из жизни почти одновременно: 20 сентября 1918 г. будет расстрелян Меньшиков, Розанов умрет через четыре с половиной месяца – 5 февраля 1919 г.

Весной 1899 г. Розанов получил приглашение А.С. Суворина сотрудничать в «Новом времени», Меньшиков становится штатным сотрудником той же газеты с апреля 1901 г. Очень скоро в «журналистском мире» Меньшикова стали считать «главным соперником» Розанова³⁷. Что касается их литературных и личностных контактов, то им изначально было суждено претерпеть немало испытаний, которые на десятилетие отдалили их не только в идеологическом, но и человеческом плане.

В письме А.П. Чехову от 20 мая 1897 г. Меньшиков упоминает о своих «трениях» с Розановым, работавшим вместе с ним в газете «Русь», издававшейся В.П. Гайдебуровым: «Работа моя снова оборвалась в “Руси” (а последние два месяца я не писал там из-за нежелания печататься бок о бок с В. Розановым. Едва удалось убедить Гайдебурова отказаться от этого чудовищного для “Нед<ели>” сотрудничества...)»³⁸

Полемика между двумя ведущими публицистами России будет продолжаться на протяжении почти десятка лет. Несмотря на общность тем и вопросов, поднимаемых ими на страницах газет и журналов, их взгляды всегда были различны³⁹. Тем более парадоксально звучали мнения критиков о том, что между ними есть некое сходство. Так, писатель и редактор журнала «Мир Божий» А.И. Богданович «объединил их имена, назвав Меньшикова и Розанова “юродствующими литераторами”, при этом считая, что – “это две родственные души, единомыслящие и единостремящиеся”»⁴⁰. В 1899 г. А.И. Богданович пишет о юродстве как о явлении,

породившем «сорт» литературы, далеко не лучшего качества, и к «представителям юродствующего цеха» критик относит «г. Меньшикова из “Недели”» и «г. Розанова из недр <...> реакционной прессы»⁴¹.

С 1910 г. отношения Розанова и Меньшикова переходят в новую фазу: исчезает враждебность, печатные «наскоки» друг на друга, наблюдается даже некоторое сходство взглядов и позиций. В прессе все чаще их имена соседствуют друг с другом. Скорее всего, это можно объяснить отходом Розанова от Мережковских и охлаждением их к последнему. «Не случайно, – пишет В.А. Фатеев, – Д.В. Философов соединил имена “нововременских столпов” в своей статье “Мелкие душонки”, посвященной уходу Льва Толстого из Ясной Поляны»⁴².

В статьях двух известных критиков теперь ощутимо стремление не только понять, но и поддержать позиции друг друга, обосновать то положительное, что не замечалось ранее. Так, Меньшиков в одной из статей, поддерживая позицию Розанова по поводу «глубокого варварства России», отозвался о нем как о «человеке редкого таланта и высокого подъема духа»⁴³. Неоднократно Меньшиков подчеркивал уникальность розановской манеры: «...есть у него одна удивительная черта, которой не хватает у подавляющего большинства писателей. У него есть *творчество*, у него есть собственная мысль, которая в прикосновении с вашей дает иногда своего рода “вольтову дугу”: ослепительное горение. Это дается только исключительным людям»⁴⁴.

«Литературная несхожесть» двух писателей: публицистичность Меньшикова, поднимающего злободневные для общества темы, и «интимная философичность» стиля Розанова, тяготеющего к проблемам общечеловеческим, – признавалась не только критиками, но и ими самими. Но тем не менее общность, «родственность» между ними существовала. Ее-то в полной мере и ощутил Меньшиков, когда, пораженный «параллелизмом» судеб, своей и розановской, он делает в дневнике знаменательную запись, графически «запечатлевая» в двух столбиках – «Он» и «Я» – «параллельные черты» своих «биографий». Сходство обнаруживается на многих уровнях: это происхождение, жизненные обстоятельства, психологические черты, «восхождение» по служебной лестнице, личная жизнь. Столбик под названием «Я» содержит всего одно

слово: «Тоже». Составляя перечень сходных биографических данных, Меньшиков отмечает, что Розанов происходит из духовенства, как и он; отец его был мелкий чиновник («Тоже»), даже матери у них были из дворян Шишкиных! «Глубокая бедность в детстве» («Тоже»), «чувство бесконечной слабости» («Тоже»), «отвращение к школе» («Тоже»), «Служба на Государственной службе 13 лет» («Тоже. 14»); «Его вытащили (Страхов) – «Тоже. (Гайдебуров)». И наконец – «Работа в “Новом Времени”» – «Тоже»⁴⁵.

Пожалуй, самым существенным в этих биографических «схождениях» является тот факт, что в судьбе и Меньшикова, и Розанова главную роль сыграл А.С. Суворин. Так же как и Розанов, Меньшиков, сотрудничая в «Новом времени», был любим и уважаем своим шефом. А.С. Суворин был крестным отцом его дочери Ольги (а крестной материю – дочь Ф.М. Достоевского Любовь Федоровна), которая до конца жизни хранила икону святой княгини, подаренную ей крестным отцом. После смерти Суворина Меньшиков практически становится идейным вдохновителем газеты, продолжателем его дела. И это обстоятельство не прошло незамеченным для Розанова, который написал по этому поводу: «...он быстро, почти моментально развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неутомимый, стойкий, “не взирающий ни на что”, кроме Отечества, его реальных нужд»⁴⁶.

Стремление понять, постичь Розанова сохранится у Меньшикова до момента его трагической гибели. В своем дневнике, рассуждая о Розанове и сравнивая себя с ним, Меньшиков еще и еще раз пытается постичь суть его писательского дарования, психологию личности, значение и место Розанова в литературной жизни России. Меньшиков пытается аналитически подойти к уяснению писательской манеры Розанова: «Читаю – т.е. начинаю читать Розанова всегда с интересом, но редко оканчиваю с удовлетворением. У него диссоциация мысли, раскрытие ее с разложением, как у некоторых сильно реагирующих металлов (например, калий). Или, подобно сере и фосфору, мысль его изомерна, имеет не только кристаллическое (как у меня) строение, но и аморфное». Но неожиданно рассуждения Меньшикова о «химических» процессах творчества прерываются вопросом: «Неужели мы с Розановым совершенно будем забыты?»⁴⁷ Хотя для себя самого ответ у него есть: Розанов – «нет, хотя бы ради психопатического своеобразия,

я – да, ибо просто небездарными публицистами хоть пруд пруди». И дело здесь даже не в том, что автор дневника уже определил свое место в литературе по отношению к Розанову, а в самой проблеме памяти в «разгромленной» и «обреченной на гибель» стране.

Судьбой Розанова Меньшиков интересуется постоянно. В декабре 1917 г. Меньшиков посылает письмо О.А. Фрибес, в котором просит узнать о положении дел семьи Розановых: «Напишите, если знаете, что Розановы? Где они? Как себя чувствует Василий Васильевич? Сообщите ему мой адрес, не откликнется ли хоть открыткой»⁴⁸. В январе 1918 г. Меньшиков, получив от Розанова бандероль с двумя выпусками «Апокалипсиса нашего времени», искренне радуется, потому как присланный «журнальчик» воспринимается им прежде всего как доказательство того, что Розанов еще жив: «От всего сердца желаю Вам – как и себе – спастись среди этой чисто апокалиптической катастрофы. Прочел оба № с тем большей жадностью, что сам мечтал издавать подобный же “журнальчик с пальчик”, но, как бывший моряк, чувствую, что момент подходит надевать чистую рубаху (спросите моряков, что это значит). Многие Ваши мысли, как всегда, блестящи и верны, с другими, как всегда, поспорил бы очень. Теперь не до спора»⁴⁹.

Далеко не случайно именно Розанов, явившись к Меньшикову во сне, как бы «предсказывает» тому его последующую участь: «Видел сон, будто в какой-то большой комнате перед домашней церковью стол, на нем – почта для покойного Суворина, который будто бы жив, с бандеролью “Новое время” <...> № 1-й и мой фельетон на 2-й странице, но подпись вместо “Мирный” – “Меньшиков-мученик”... дальше что-то неразборчивое... <...> Мне показалось, что это Розанов изменил подпись для чего-то. И затем проснулся. Вот случай проверить сны»⁵⁰.

Он даже собирается навестить Розанова в Троице-Сергиевой лавре, но по независящим от него обстоятельствам встреча не состоялась, а в сентябре 1918 г. Меньшиков был расстрелян. «В некрологе петроградского литературного журнала, уже после кончины Розанова, имена этих двух ведущих сотрудников “Нового Времени” привычно поставили рядом», – замечает В.А. Фатеев⁵¹.

Чувствуя «резкое ощущение близости предела», Меньшиков все больше думает о своих детях. Строки в дневнике, посвящен-

ные им, – тоже его завещание: он хочет надеяться, что впоследствии, когда они вырастут, то прочтут о себе все написанное о них отцом и обязательно извлекут нравственные уроки. Основной мотив, который пронизывает дневниковые записи, посвященные детям, – боль и тревога за их будущее. Надежды на благополучный исход незначительны: «Неважная им предстоит судьба...»; «Милые детишки мои, боюсь, что их растреплет ветер жизни, как кучу листьев, и судьба их, мож. б., будет печальна. Но ведь, мож. б., и нет: кто знает, какая каждого ждет впереди волшебная цепь случайностей? Кто не отойдет слишком далеко от Бога, от божества души своей, того и Бог не оставит»⁵². За два дня до смерти М.О. Меньшиков в письме дает последние наставления: «Пусть дети, когда вырастут, читают мои книги. Пусть будут честными и добрыми людьми. Пусть вспоминают меня и верят, что я любил их, как свою жизнь»⁵³.

В последних перед арестом записях, сделанных Меньшиковым 31 августа (13 сентября), уже чувствуется его смирение перед неотвратимой гибелью. Прежний девиз, который поддерживал его на протяжении последнего времени («Раз идешь на дно – барахтайся, Михаил Осипович»), полностью утрачивает актуальность и заменяется другим – абсолютно противоположным: «Если ты выброшен за борт в пустынном море, то все, что бы ты ни предпринял, будет ошибкой. Единственно правильное – идти ко дну. <...> ...Страшна ведь не смерть, а умирание, сознание гибели. <...> О, если бы я был один!»⁵⁴

Дневниковая «проповедь» М.О. Меньшикова заканчивается словами о закономерности расплаты «образованных классов» за все, что сейчас творится в России, в них – и признание собственного «греха»: «Все ужасы, которые переживает наш образованный класс, есть казнь Божия рабу ленивому и лукавому. Числились образованными, а на самом деле не имели разума, к-ый должен вытекать из образования. <...> Не было бы ужасов, если бы все просвещенные люди в свое время поняли и осуществили великое призвание разума: убеждать, приводить к истине»⁵⁵.

Стоит заметить, что и в других «революционных дневниках» ведущими становятся две темы – последствия революции и осознание своего личного участия в общем «грехопадении». Так, дневник С. Каблукова за 1917 г. наполнен горькими размышлениями,

кто повинен в том, что Россия оказалась на краю гибели, и не с попустительства ли и легкомыслия самой интеллигенции произошло то, что произошло: «Не поздно ли однако вопить и каяться? Не пожинаем ли то, что посеяли сами? Начиная Радищевым, кончая Мережковским и либеральным барином Филосовым <...> все, все готовили **это**, звали к **этому**, жаждали, вождели **этого**. И получили»⁵⁶.

Осознает свой «грех» за происходящее и З. Гиппиус. В дневниковой записи от 5 января 1919 г. она прямо говорит о вине русской интеллигенции и конечно же о своей личной вине за то, что случилось с Россией: «Мы, интеллигенция, – какой-то вечный Израиль, и притом глупый. Мы в вечном гонении от всякого правительства, царского ли, коммунистического ли. Мы нигде не считаемся. Мы *quantité negligible* (ничтожество. – Е. К.). И мы блистательно доказали, что этой участи мы *вполне достойны*. <...> Теперь мы достойны владычества Хамов, взявших нас голыми руками.

Ничего, не на кого, некому жаловаться»⁵⁷.

Горькие слова произнесет и Розанов в «Апокалипсисе нашего времени»: «Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был...»⁵⁸

В своем очерке о Розанове «Задумчивый странник» З. Гиппиус передает мироощущение, сходное с тем, что описано в дневнике М. Меньшикова: «Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив. <...>

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-разнообразном тройном страдании – цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли.

– За “Новое время”. Он в Волочок уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься»⁵⁹.

Размышляя в дневнике о судьбе своих «писаний», М.О. Меньшиков с легкой иронией и в то же время с надеждой

говорит о том, что будущее, возможно, все расставит на свои места: «Чего не бывает на свете: может быть, в отдаленном будущем найдется праздный человек, к-рый заинтересуется нашей эпохой и в горах печатного мусора где-нибудь в Британском музее найдет мои статьи. Прочтет их, соберет из них ценное и еще раз даст мне имя и жизнь. <...> У каждого народа перед падением были свои пророки. Я один из русских пророков – на манер Иеремии, предсказавший гибель Иудеи и дождавшегося своих предсказаний. Многие мои предчувствия исполнились с поразительной точностью (даже год войны – 1914 – был предсказан в августе 1912 г.)⁶⁰. Именно поэтому закономерен и его завет потомству: «Без стыда гляжу на 20 томов моих сочинений, стоящих на комодике тети Гаши. Они обречены на забвение, но в них много мысли, не меньше, чем у большинства писателей, желавших служить народу возбуждением мысли. Некоторые и, мож. б., многие статьи заслуживают воскресения из мертвых, т.е. включения в сжатое, доступное широкой публике издание. завещаю это своему потомству, т.е. тем, чье благородное чувство подскажет этот долг»⁶¹.

Раскрытие культурных ценностей прошлого продолжается, о чем свидетельствует огромный интерес к автодокументальной литературе. Сама личность М.О. Меньшикова и его литературное наследие в настоящее время стали предметом серьезного исследовательского внимания, поскольку «без М.О. Меньшикова невозможно полно и объективно представить себе литературу и историю России в сопредельных областях двух столетий»⁶². Его дневник предоставляет возможность по-новому взглянуть на «великие потрясения», произошедшие с Россией, поскольку эпохальная дистанция, отделяющая современников от революционных событий 1917 г., приблизилась к вековой – вполне достаточной, чтобы объективно оценить их.

¹ Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков: Переписка. Дневники. Воспоминания. Статьи / Сост., статьи, подгот. текстов, примеч. А.С. Мелковой. – М.: Русский путь, 2005.

² Меньшиков М.О. Дневник 1918 года // «Российский Архив (История отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.)». Выпуск IV. М.О. Меньшиков.

- Материалы к биографии. – М.: Студия «ТРИТЭ» – Российский Архив. 1993. – С. 11–222.
- 3 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 20.
- 4 Там же. – С. 36.
- 5 Там же. – С. 20, 64, 65.
- 6 Там же. – С. 57–58.
- 7 Там же. – С. 29.
- 8 *Палиевский П.В.* Апокалипсис нашего времени // Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: РОССПЭН. 2008. – Стб. 1224–1225.
- 9 *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 2000. – С. 6.
- 10 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 11.
- 11 Там же. – С. 11–12.
- 12 *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. – С. 6–7.
- 13 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 11–12.
- 14 Там же. – С. 11.
- 15 Там же. – С. 12.
- 16 Там же. – С. 50.
- 17 *Фатеев В.А.* Розанов и славянофильство // Наследие Розанова и современность: Материалы Международной научной конференции. Москва. 29–31 мая 2006 г. – М., 2009. – С. 58.
- 18 *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. – С. 356.
- 19 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 34.
- 20 Там же. – С. 22.
- 21 *Меньшиков М.О.* Обглоданные гусеницей // Меньшиков М.О. Письма к русской нации / Сост., вступ. статья и примеч. М.Б. Смолина. – М.: Изд-во жур-нала «Москва», 2002. – С. 511–512.
- 22 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 65.
- 23 Там же. – С. 138–139.
- 24 Там же. – С. 104.
- 25 См.: *Юнг К.Г.* Воспоминания, сновидения, размышления. – Мн.: Харвест, 2003; *Юнг К.Г.* Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А. Руткевича. – М.: Ренессанс, 1991; *Юнг К.Г.* Структура психики и процесс индивидуализации. – М.: Наука, 1996.
- 26 *Меньшиков М.О.* Дневник 1918 года. – С. 147.
- 27 Там же. – С. 152.
- 28 Там же. – С. 153, 155.
- 29 Там же. – С. 169–170.
- 30 *Меньшиков М.О.* Письма // М.О. Меньшиков: Материалы к биографии // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. – М., 1993. – Вып. 4. – С. 232.
- 31 Дневник Сергея Платоновича Каблукова. Год 1917 / Публикация Е.М. Криволаповой // Литературоведческий журнал. – 2009. – № 24. – С. 199.

- 32 Голлербах Э. В.В. Розанов. Жизнь и творчество. – Пб.: Полярная звезда, 1922. – С. 88–89.
- 33 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 176.
- 34 Там же. – С. 18–19.
- 35 Там же. – С. 19.
- 36 Там же. – С. 91.
- 37 Зябликов А.В. «Праведное государство по Розанову // Наследие В.В. Розанова и современность. – С. 365.
- 38 Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков. – С. 88.
- 39 См.: Богданова О.А. Дискуссия Розанова и М.О. Меньшикова о «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого // Наследие Розанова и современность. – С. 140–144.
- 40 Богданович А.И. Юродствующая литература. «О любви», М.О. Меньшикова; «Сумерки просвещения», В.В. Розанова // Мир Божий. – 1899. – № 4. – Отдел второй. – С. 1.
- 41 Там же.
- 42 Фатеев В.А. Меньшиков М.О. // Розановская энциклопедия. – С. 573.
- 43 Там же.
- 44 Там же. – С. 574.
- 45 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 91.
- 46 Фатеев В.А. Меньшиков М.О. // Розановская энциклопедия. – С. 574.
- 47 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 92.
- 48 Письма М.О. Меньшикова к О.А. Фрибес // Меньшиков М.О. Материалы к биографии // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. – М., 1993. – Вып. 4. – С. 252.
- 49 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 265.
- 50 Там же. – С. 122.
- 51 Фатеев В.А. Меньшиков М.О. // Розановская энциклопедия. – С. 575.
- 52 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 103, 122.
- 53 Меньшиков М.О. Письма. – С. 232.
- 54 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 221.
- 55 Там же. – С. 222.
- 56 Дневник Сергея Платоновича Каблукова. Год 1917. – С. 178.
- 57 Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. / Под общей ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 1999. – Кн. 2. – С. 161.
- 58 Розанов В.В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. – С. 7.
- 59 Гиппиус З.Н. Розанов. Задумчивый странник // Гиппиус З.Н. Воспоминания. – М.: Захаров, 2001. – С. 155.
- 60 Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. – С. 82–83.
- 61 Там же. – С. 96.
- 62 Алехин Ю. К живым адресатам // Меньшиков М.О. Выше свободы. Статьи о России. – М.: Современный писатель, 1998. – С. 440.

Г.В. Хлебников

«РОССИЯ РАСПЯТАЯ» М.А. ВОЛОШИНА

Аннотация

Рассматриваются и комментируются взгляды М. Волошина на революцию 1917 г.

Ключевые слова: М. Волошин, писатели, революция, Россия, историософия, демоны, философия литературы, философия истории.

Khleblikov G.V. M.A. Voloshin's «Russia Crucified»

Summary. We reviewed and commented the views of M. Voloshin on 1917 revolution.

И.А. Бунин, первый русский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе (1933), писал в своих «Воспоминаниях» (Париж, 1950 г.), что «Максимиллиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России...» Его последующая проза, наверно, показывает, что не в меньшей мере в ней проявляют себя также его талант писателя и рефлексии мыслителя, ждущего специальных исследований.

М. Волошина петербургские события февраля 1917 г. застали в Москве, где, как он пишет, «с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали “бескровную революцию”, как было принято выражаться в те дни». На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции. В Москве таяло, под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов, на красных плакатах впервые в этот день появились слова: «Без аннексий и контрибуций». Поэт пишет, что красные кумачовые пятна казались кровью, проступившей из-под

«вещих камней Красной площади, обгаренных кровью Всея Руси». И тут ему внезапно «и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская революция будет долгой, безумной, кровавой», что страна стоит на пороге новой Великой Разрухи, нового Смутного времени.

Его анализ как учитывает исторические факты и данные тех лет, рефлексию над ними, так и включает в себя экзистенциально-психологическую экспликацию состояния российского общества, интеллигенции, особенностей и противоречий его онтологии, дополненные мистико-религиозными рассуждениями над историческими судьбами страны, ее провиденциальной роли для Европы и мира.

Волошин пишет, что Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. Между тем он видел, как обреченная на гибель русская интеллигенция радостно приветствовала революцию словно свершение всех своих исторических чаяний. «Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя». Причина этого, по его мнению, в том, что русское общество, давно жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки – отречение, падение династии, провозглашение республики – за сущность события «и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления». Эти месяцы, считает поэт, были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью: «Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимой ложью». Страшная же правда, по его словам, обнаружилась только во время октябрьского переворота, когда русская революция показала свой настоящий лик (сборники «Демоны глухонемые», «Стихи о терроре»).

Волошин полагает, что главной чертой русского самодержавия была его революционность – здесь монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества, и именно она была склонна производить революцию сверху, стремилась посредством административных реформ передвинуть Россию на несколько столетий вперед, прибегая для этого даже к «насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы

и Преображенского приказа. Так было во времена Грозного, так было во времена Петра». Но при этом «революционное самодержавие» нуждалось в помощниках, создавая для своих нужд служилое сословие: опричнину, дворянство. Петр, создав дворянство для текущих нужд, в то же время создавал и другой, более устойчивый класс, который в будущем мог бы служить этому самодержавию. Из начинаний со временем возникли разночинцы, которые, смешавшись с элементами дворянства, через столетие дали начало русской интеллигенции. XIX век принес с собою вырождение династии Романовых, которая «окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Гольштинского, Вюртембергского и Датского домов». При этом, замечает поэт, консервативные царствования Николая I и Александра III более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II, так что при первом самодержавии «поссорилось с дворянством», а при последнем «отвергло интеллигенцию», созревшую к тому времени. В результате класс народа, созданный монархией для государственной работы, оказался ею же отвергнут, более того, признан подозрительным, опасным и нежелательным. При потребности в образованных и энергичных людях возник тип «лишних людей», в который вошло наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура. Тем самым правительство, думает Волошин, перестав следовать традициям русского самодержавия, само не только выделило из себя революционные элементы, но и принудило их идти против себя. В этом, по его мнению, «ключ к истории русского общества второй половины XIX века». Престол петербургской империи был создан Петром на фигуру медного исполина, а занимали его карлики. Когда же настала разруха 17-го года, революционная интеллигенция убедилась, что она — плоть от плоти и кость от костей русской монархии: свергнув ее, она подписала свой собственный приговор, бороться с ней эта интеллигенция могла только в ограде «крепких стен», возведенных самодержавием. Стены разрушились — и она стала ненужной, как сама монархия, строить же стены и восстанавливать их она не умела, умела лишь их расписывать и украшать.

В октябре 17-го года, по словам поэта, с Русской революции слетела «интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился

ее подлинный лик»: сразу проступили «черты Разиновщины и Пугачевщины». Эти мотивы и сама идея Страшного суда, который происходит над Россией «темными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой», внушили поэту поэму «Стенькин суд», написанную в конце 1917 г. В своем анализе Русской революции Волошин отмечает, прежде всего, «ее нелепость»: социальная революция, претендующая на всемирное значение, происходит («и с наибольшей силой») в стране, где нет «никаких причин» для ее возникновения: нет ни капитализма, ни рабочего класса. Нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую часть всей земной суши, торговый оборот которой мог легко уместиться «в кармане любого американского миллиардера». Рабочий класс, если он и существовал в зачаточном состоянии, с началом революции перестал существовать, так как всякая фабричная промышленность прекратилась. Не было и земельного вопроса в стране, которая обладает самым редким населением и самой обширной земельной территорией: дело здесь не в разделе земель, полагает Волошин, а колонизации Великой русской и Великой сибирской низменности. Она идет в течение тысячелетий, и ее нельзя разрешить «росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель». Кроме того, речь идет о переводе сельского хозяйства на более высокий уровень, а это тоже неразрешимо революционным путем. Таким образом, заключает поэт, в России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий, но именно «у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения», совершается великий исторический абсурд. В этом абсурде он находит указание на провиденциальные пути России, заключающиеся, как он считает, в том, что как пандемии — оспа, холера и т.п., — предотвращаются или ослабляются предохранительными прививками, так и Россия, социально наиболее здоровая из европейских стран, — совершает жертвенный подвиг, принимая на себя заболевание социальной революцией. Переболев ею, полагает Волошин, она выработает иммунитет, предотвратив тем самым смертельный кризис болезни в Европе, который, «вероятно, наступит там очень скоро, будет ужасен, но благодаря России европейская культура, быть может, переживет его благопо-

лучно». Поэт сравнивает свою страну с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа, сами получали стигмы на руках и на ногах, приходя к выводу, что «Русская революция – это исключительно нервно-религиозное заболевание». Ибо Россия «в лице своей революционной интеллигенции» с такой силой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что приняла своею плотью стигмы социальной революции, «не будучи распята».

По его мнению, когда чужеземная рука касается жизненных средоточий этой страны, немедленно рождается неожиданный ответный удар, который является разрядом каких-то стихийных, охраняющих ее сил. Его испытали татары, поляки, Карл XII, Наполеон. Последней – Германия, так что большевизм с этой точки зрения оказывается нервным разрядом, защитившим Россию от германского завоевания. И это явление «тем более поразительное и грозное, что Германия сама совершенно сознательно ввела эти трихины в организм Русской империи». Волошин указывает, что Россия вынашивает в себе смертельные культуры ядов и бактерий. Он видел, как в Одессе французы, «неосторожно прикоснувшись к больному органу», тут же почувствовали признаки заразы и бежали, нарушив все обещания, оставляя танки, амунисию и припасы, а потом «долго лечились, выжигая и вырезая зараженные места».

Русская жизнь и государственность, полагает поэт, сплавлены из «непримиримых противоречий: с одной стороны, безграничная, анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдерживать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением империи». И ни от одного, ни от другого Россия не может отказаться. Анархическая свобода совести нужна для решения социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же необходима как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и «как крепкие огнеупорные стены тигля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой». Равнодействующую этих (двух) сил для России мыслитель видит в самодержавии, считая «первый политический акт русского народа», призвание варягов, символом отечественной государст-

венности: для сохранения внутренней свободы народ отказывается от политических прав в пользу приглашенных извне наемных правителей, сохраняя за собой право критики и невмешательства. Ибо все формы народоправства, продолжает Волошин, создают в частной жизни тяжелый и мелочный контроль общества над каждым его членом, – что совершенно несовместимо с русским анархическим индивидуализмом. Поэтому, констатирует мыслитель, «при монархии Россия пользовалась той политикой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран», потому что, по его мнению, политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы – связанностью партийной и общественной. Ранее, при прежнем режиме, запрещенным древом познания добра и зла была политика. Теперь же, пресытившись за время революции этим плодом, должно признать, что «нам не столько нужна свобода политических действий, сколько свобода от политических действий». Это, полагает Волошин, стало наглядно видно во время революции, когда «мы» предоставляли «все более ответственные посты и видные места представителям других рас, государственно связанных с нами, но обладающих иным политическим темпераментом». Поэтому, пишет мыслитель, объясняя феномен участия евреев в «революции»: «Нам нечего пенять на евреев, которые как народ, более нас склонный к политической суеде, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия». О необходимости и нужности этих последних для народа и страны детально и много пишут другие свидетели катастрофы, среди них и М. Горький.

Насколько мало сам поэт, как и другие представители нации могли сами получать и тем менее предоставлять какие-либо важные и ответственные «посты» кому-либо, видно как из фактов его собственного существования в революции (Волошина не приняли, печатно назвав «сволочью», даже в качестве оформителя плакатов и лозунгов к 1 мая), так и многих других честных и искренних интеллигентов, надеявшихся получить от революции что-то другое, чем она дала и показала во Франции за столетие до того.

Естественность пути самодержавия как государственного порядка России Волошин демонстрирует и на примере большевиков. Они, будучи носителями социалистической идеологии и имея

крайнюю коммунистическую программу, ускорили «падение России в ту пропасть, над которой она уже висела». Это удалось, и они стали господами положения. Они стали строить коммунистическое государство, уже борясь сами против тех анархических сил, которые использовали до тех пор. Их созидательная работа, «против их воли, против собственной идеологии и программы», стала идти по следам, полагает Волошин, оставленным самодержавием, а новые возводимые стены совпали «с только что разрушенными стенами низвергнутой империи». Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной: выборное начало уступило место централизации, канцелярское бумагопроизводство удешевилось, социалисты стали чиновниками, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом, стачечников стали беспощадно расстреливать (на что не всегда решалось и царское правительство). Армия, замечает Волошин, была восстановлена, дисциплина обновлена, «и в связи с этим наметились исконные пути московских царей – собирателей земли Русской», так что «принципы Интернационала и воззвания к объединению пролетариата всех стран начали служить только к более легкому объединению расслоившихся областей Русской империи».

Таким образом, делает вывод мыслитель, «внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно», приводя пример Петра Великого: как и он, они «мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем, так же как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками», так что между Преображенским приказом, Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией никакой существенной разницы нет, – разве что последняя, можно заметить, не просто объединила худшее из двух первых, а и пошла куда дальше, став одним из орудий прямого геноцида народа. Поэтому оставив в стороне революционную фразеологию и официальные лозунги, «уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как “самодержавие, православие и народность” недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям нельзя дать отчет, в каком веке и при каком режиме живет страна». Это сходство, полагает Волошин, говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и о

«неизбежности государственных путей России, о том ужасе, который представляет собою русская история во все века». Сквозь дыбу и застенки, сквозь молодецкую работу заплечных мастеров, утверждает поэт, «мы выносили свою веру в конечное преобразование земного царства в церковь, во взыскуемый Град Божий, в наш сказочный Китеж в Град Невидимый, скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях». Сейчас страна горит в пламени Гражданской войны, но кто же они, риторически спрашивает Волошин, — эти «беспощадно борющиеся враги? Пролетарии и буржуи? Но мы знаем, что это только маскарадные псевдонимы, под которыми ничего не скрывается». Каковы же их настоящие имена? Кто и что за ними стоит? Что их разделило? На эти вопросы поэт попытался дать ответ в стихотворении «Гражданская война». По его мнению, «молитва поэта во время Гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев». Ибо: «первоначальный и основной знак братства — это братство Каина и Авеля. Братоубийство лежит в самой сущности братства и является следствием ревности к Богу, ревности к своей правде. Ведь то, что проявляется войною и ненавистью здесь, на земле, с духовной перспективы является высшим слиянием. Мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение и гибель одной из партий грозит провалом и разрушением всему зданию».

Волошин знает, как знали, конечно, и творцы «революции», читавшие Библию, что разделившееся государство, в котором одна часть населения воюет против другой, «не устоит», разрушится и самоуничтожится, это худшее бедствие, которое только может постигнуть страну и народ. Поэтому в истоках подобных явлений всегда присутствует так много «атеизма», которым часто даже не пытаются прикрыть откровенное богоборчество, демонизм и различные формы сатанизма, убийств священнослужителей, репрессирования членов их семей, разрушений и ограблений храмов, уничтожения сакрального искусства, запрещений и истреблений священных текстов (любых!). При этом всемерно пропагандируется

и поощряется картинное богохульство, наглое кощунство, издевательства и глумление над религиозными и народными святынями.

Затем писатель развивает свою мысль, показывая, что обычным оптическим обманом людей, «безумных политикой», является, что они думают, будто от победы той или иной стороны зависит будущее, тогда как от победы принципа будущее не зависит, так как партии в борьбе часто обмениваются лозунгами и программами. Борьба, продолжает мыслитель, уподобляет противников друг другу, поэтому большевики берут от добровольцев лозунг «За единую Россию» и в случае своей победы, как он думает, поведут страну к единодержавию.

И тогда можно спросить, продолжая его рассуждение, зачем было нужно это тотальное разрушение страны, гибель миллионов отнюдь не худших граждан, уничтожение веками создававшейся цивилизации, культурной и интеллектуальной элиты страны, ее армии и флота?

Далее поэт обращает внимание на фактор, который обычно редко принимается во внимание, особенно в акматической фазе «торжества» бездуховно-сциентистской, технократической цивилизации, поставившей человечество на грань самоуничтожения: он указывает, что Великая Русская равнина, по его мнению, – это исконная страна «бесноватости»: в древности отсюда шли в Грецию оргиастические культы и дионисийские поступления, здесь «с незапамятных времен бродит хмель безумия». Выделяет «свойство» бесов: «дробление и множественность». И не только, можно добавить: но и жажда разрушений, страданий, убийств, включая самоуничтожение, мучений, безумств. Между тем фактор «одержимости» революционеров, «преображения» в толпы зверообразных, одержимых животными инстинктами и обезумевших от крови вовлеченных в смуту лиц всех групп населения: солдат, крестьян, рабочих, служащих, интеллигенции и т.д. – отмечается многими писателями-современниками тех трагических событий. Наступление этого времени пророчески предвидел, видимо, и Ф.М. Достоевский, когда писал: «Да, новый дух придет, новое общество восторжествует. В этом не может быть никакого сомнения. И этот злой дух близко. Наши дети узрят его... Мир спасется уже после посещения его злым духом» (т. XI, с. 381). И подобные тексты следует понимать буквально. Сам факт возможности вселения

«нечистых духов» и демонов в людей, многократно засвидетельствованный Евангелиями (и не только), и до 1917 г. признавался многими мыслителями и большинством населения. Из того, что Бог есть (а Он есть), следует множество фундаментальных следствий, которые М. Волошин, *знавший* о Его существовании и имевший личный опыт контактов с бестелесным миром, не мог не учитывать. Он даже включил в свою просветительскую миссию наряду с католицизмом и буддизмом «магию, масонство, оккультизм, теософию». Поэт считал само понятие материализма «научным абсурдом».

По мнению Волошина, независимо от исхода борьбы раздирающих ее партий, историческое будущее России определяется не внутренними, а внешними обстоятельствами. Возникновение Турецкой империи создало на Востоке два щита: Австрию и Россию. Русь Ивана III, освободившаяся из-под татарского ига, начала готовиться к пятивековой перемежающейся борьбе с Турцией, поставив себе целью Царьград и проливы. Теперь перед Европой, полагает мыслитель, встает на Дальнем Востоке древней исторической угрозой призрак монгольской опасности, требующей новой имперской спайки племен, населяющих Великую Русскую равнину и Сибирь. Поэтому Волошин предполагает, что Россия будет единой и останется монархической, несмотря на «социалистическую революцию», ведь им, по существу, ничто не мешает уживаться вместе. Поэт показывает, что все широкие демократические движения, ведущиеся в имперском и мировом масштабе, ведут к цезаризму, а для русского самодержавия, – временно забывшего революционные традиции Петра, – отнюдь не будет неприемлема, по мнению мыслителя, и самая крайняя социалистическая программа. Волошин полагает, что славянским государствам, которые образуются на развалинах Австрийской и Русской империй, придется соединиться под угрозой германской опасности. Представляется возможным образование Славии – славянской южной империи, в которую будут включены как Балканские государства, так и области Южной России. Она будет республиканской и федеративной, вначале по крайней мере, так как так отдельным государствам будет легче объединиться. Славия, как ему представляется, будет стремиться к Константинополю и проливам, к месту Византийской империи, а Византия – это пол-Европы.

Славянство, по мнению поэта-мыслителя, может родиться только через проливы. Себя Волошин не считает ни скрытым большевиком, хотя и говорит о государственном строительстве в советской России, ни монархистом, хотя он и предсказывает возвращение России к самодержавию, и не социал-монархист. Его идеал – это Град Божий: «но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества». Волошин пишет, что он не может иметь политических идеалов потому, что эти последние всегда стремятся к невозможному земному благополучию и комфорту. Он же желает своему народу только правильного и прямого пути, соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И этот путь – путь страдания и мученичества. Будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм, – все это только различные виды пламени, проходя через которые, полагает мыслитель, перегорает и очищается человеческий дух. Поэтому он равно приветствует и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, «так же как епископ Труасский святой Лу приветствовал Аттилу: “Да будет благословен твой приход, Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя!”». Поэтому, заканчивает поэт свою работу, он может быть «только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами переживаемые. А над моей размыканной и окровавленной родиной я могу произнести только одну молитву: это “Захлятье о Русской земле”».

В другой своей работе, «Заметки 1917 года», М. Волошин эксплицирует идейные предпосылки и мемы обыденного сознания, показывая, в том числе, что вредно и бессмысленно, когда формулы и требования одной области переносятся целиком в другую: принцип равенства (демократизации), вполне разумный и справедливый в области правовой, становится губительным, когда его применяют в той области, где всё основано на порыве к лучшему, высочайшему, т.е. где всё основывается не на демократизме, а на аристократизме. Поэтому насколько для мира материального принцип демократизма верен и нужен, настолько же для мира духовного необходим принцип аристократизма. Социализм он считает отрицательным явлением, потому что для настоящего он недостаточно практичен, а для будущего его идеал слишком мелок, ибо

в первом случае он ограничивается справедливым распределением плодов производства, не заботясь ни о его практичном, ни о моральном упорядочении. Во втором – утверждает неприглядный и легко достижимый идеал сытого и комфортабельно обставленного человеческого существования, что делает социалистов, полагает Волошин, носителями того рабьего духа, который «распространяют в мире демоны машин, которые, подобно всякой силе, данной в руки человеку, стремятся не работать на него, а стать его господами».

Более того, счастье не должно являться высшей целью человека на земле, поэтому утверждение Кропоткина, думает мыслитель, о том, что высшим законом является развитие человечества от менее счастливого существования к более – неверен, так как именно несчастье является основным «побудителем» к поступательному развитию и движению. А счастье, благосостояние, удовлетворенность приостанавливают всякое развитие как в физическом, так и в духовном мирах – это, думает Волошин, «смерть, начало распада». Поэтому он не готов пожелать человеку счастья, которое заменил бы понятием духовного равновесия, покрывающим противоречия и ущербы материального мира. Социальный же рай на земле, по его мнению, находится в полном противоречии с «царством Божиим внутри нас». Государство, считает русский поэт, строится отказом от личных страстей и инстинктов, самоотречением и самопожертвованием, тогда как эгоизм ведет не к закреплению общности, а к ее разрушению. По его мнению, между человеком и Богом существует определенный экономический договор, находящийся в состоянии скрытой возможности, но приходящий в действие по первому требованию человека, которое заключается в том, что Господь берет на себя устройство земных дел человека, пока он сам будет заниматься делами господними. И обещает, считает поэт, исполнение всякой просьбы, к нему обращенной. Это обещание сводится к моральному очищению, просветлению желаний и к приведению их в гармоничное согласие с планами Бога, так что желание оказывается у него чем-то вроде скрытой формы зрения на будущее, данной человеку, одним из способов ангажирования и интегрирования индивида в провиденциальный процесс истории (то, что она имеет и метафизическое, трансцендентное измерение, полагали многие выдающиеся философы). Поэтому, думает Волошин, Россия должна идти

к религиозной революции, а не к социальной, к преобразению личности (статья «Вся власть патриарху»).

Тем самым решительное предпочтение все же отдается не социальной, а духовной «революции», открывающей в силу своей природы и эволюционный путь реформ, сопровождаемый не только культурным, экономическим и цивилизационным прогрессом, успехами образования, но и, прежде всего, религиозно-духовным просвещением и очищением личности, ведущим ее к преобразению, нравственному совершенству, очевидно, считаются мыслителем важнейшим фактором стабильного и восходящего развития России, которого она, вероятно, и достигнет на своих старых исторических путях, т.е. в «монархии: видоизмененной и усовершенствованной...»

Оценивая с точки зрения «кому выгодно?» русскую революцию, писатель замечает, что она «подозрительно схожа с грандиозной германской провокацией», – настолько соответствует интересам и планам Германии, ибо в ее совершении и успехе заключалось спасение Германии «от железного кольца, которым она уже была окружена». Он полагает, что впоследствии станет известно (и не ошибся), какова реальная роль Германии в организации русской смуты, однако и тогда уже Волошину было совершенно ясно, что «в мышеловке, куда мы попали», германской политикой были положены приманкой «свержение старого режима, гражданская свобода и социальный строй». И немцы знали, что «мы не можем не пойти на этот кусок сала, что для нас наши внутренние немцы ненавистнее», чем более далекие внешние немцы, которые окружены ореолом науки для интеллигенции и ореолом социал-демократии для рабочих. Поэт предполагает, что «мы были и останемся рабами Германии», с тем различием, что, как он предполагал, после войны внутреннее рабство станет внешним, а внутренняя политическая борьба превратится в борьбу за политическую независимость.

Через годы и десятилетия, когда уже и три поезда с революционерами, включая «пломбированный» вагон с Лениным, и пароход Шифа с Л. Троцким, везущим деньги и оружие для «русской революции», перестали быть «государственной тайной» от благодетельствованного ими народа, глубокие исследования историков показали не только источники финансирования и поддержки

деятельности «революционеров» конкурентами и противниками России, но и стратегии, тактики и механизмы разрушения страны изнутри. Применение при этом методов, инструментов и средств, которые были изобретены, разработаны и применены как бы специально для достижения данной сверхцели – уничтожения великой, процветающей, динамично развивающейся страны-гегемона Европы. И только потом уже данные технологии вошли в теорию и практику наиболее хищных стран, стали рассматриваться как приемы политической и / или информационной войны: например, окончательной дискредитации страны, ее культуры и народа как якобы «реакционных и негодных самих по себе» (Гегель, Маркс, Энгельс и др. – предшественники Парвуса).

Поэтому, вероятно, в статье «Русская бездна» мыслитель, написав, что «большевизм – русское явление», тут же продолжает: «Пусть его микробы были выведены в Германской лаборатории и введены в наш организм недобрыми руками», утверждая, что затем эти микробы «нашли в русской психологии особо благоприятную почву для развития», – факт остается фактом: микробы «за-разы», созданные и экспортированные для отравления национального организма, остаются ядом.

С.Р. Федакин

**ПОСЛЕСЛОВИЕ К 1917-му:
(ЕЩЕ РАЗ О ПОЭМЕ БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»)**

Аннотация

В статье предлагается подход к поэме «Двенадцать» Блока, как произведению, имеющему музыкальную основу. Прослеживается предыстория произведения, определившая ее внутреннюю музыкальность. Выявляется многоголосие тем и образов, показывается органическая неизбежность появления образа Христа в конце поэмы, дается наиболее полное прочтение главного символа произведения – «Двенадцать».

Ключевые слова: А.А. Блок, поэма «Двенадцать», многоголосие, образ Христа.

Fedyakin S.R. Afterword for 1917. (One more time about the Blok's poem «The Twelve»)

Summary. The article proposes to consider Blok's poem «The Twelve» as the composition with music basis. The article follows the history of the poem creation which defined it's inner musicality. The author analyzes polyphony of themes and characters and shows that the appearance of image of Christ at the end of the poem is necessary. This article also describes various interpretations of the main symbol of the poem – «The Twelve».

Бой часов, – 12 ударов, – который можно было услышать в ночь с 31 декабря 1917-го на 1 января 1918-го, говорил о смене эпох: закончился год революции, начался год великой смуты, из которого, как ранее из смуты начала XVII в., произойдет новая жизнь, новое государство, новые отношения между людьми. Оценивать то, что придет на смену, можно было как угодно (у Блока есть предчувствие: «...явится, может быть, в удесятеренном ужасе,

так что жить станет нестерпимо»¹), но прошлое ушло без возврата («Художнику надлежит знать, что той России, которая была, – нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет»²).

О «Двенадцати», – этом необыкновенном послесловии к 1917 г., – написана библиотека. О поэме говорили современники, уже тогда, в первые годы новой исторической эпохи, путаясь в образах этого произведения и то так, то эдак (и с неизбежностью односторонне) их перетолковывая. Писали и после, с не меньшей горячностью убеждая, что Блок одно изобразил замечательно, другое «недопонял».

Но когда начинается исследование поэмы «Двенадцать», толкователи то и дело сбиваются на вопрос: «Что хотел сказать Блок?» – и самой поэмой, и тем более завершающим ее образом. И здесь можно лишь повторить слова Толстого, некогда сказанные о «главном смысле» его «Анны Карениной»: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала»³. Блок и сам мог после недоумевать, почему сказалось именно так, а не иначе. Но и ответ мог быть только блоковский: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос»⁴. Или – если обо всей поэме: «В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией...»⁵

Произведение и по сию пору остается, быть может, самым загадочным в русской литературе. Что значит «Двенадцать»? Почему в конце поэмы появляется Христос? Осеняет ли он эти смутные времена, а заодно и совершенное убийство (одно из многих убийств того времени)? Примерно так вспоминал поэму Георгий Иванов: Блок поставил Христа «во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию»⁶. Или все-таки верен противоположный взгляд, как увидел этот финал Максимилиан Волошин? – «Христос вовсе не идет во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, преследуется ими»⁷.

Ответа на «странности» поэмы и современники, и будущие толкователи – в огромном своем большинстве – ждали политиче-

ского. По чуткому признанию самого Блока, в «Двенадцати» была «капля политики»⁸, но, – после всего, что о поэме позже написали, – было бы точнее акцент сделать на слове «капля», а не «политика».

«Двенадцать» Блока рождались в непростом жанровом окружении. Сначала будет закончена статья «Интеллигенция и революция». Сразу после поэмы придут чеканные строки «Скифов». И в статье, и в стихотворении – звук «лирической формулы», своего рода – итог размышлений о России, о мире, об истории. Это – язык выводов. «Двенадцать» явили собой язык чувств и предчувствий. Потому и образы поэмы ускользают от жестких и непреложных толкований.

Ощущение той истории, которая свершается на глазах, и *мысль* о ней у Блока в это время идут рука об руку. Еще 13 июля 1917 г. он занесет в записную книжку: «Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных»⁹. И когда в «Двенадцати» появится этот образ: «Стоит буржуй на перекрестке, и в воротник упрятал нос...» – в нем различим и «писатель-вития», интеллигент, всю жизнь копивший «духовные ценности».

12 августа 1917 г. явятся первые «звуки», едва-едва различимые, – еще не поэмы, но того «мирового оркестра», в который вслушивался поэт. В дневнике Блок запишет:

«Ночью – какие-то странные вспышки на небе прямо перед моим окном, далеко. Гроза? Зарницы? Но воздух холодный. Может быть, ракеты? Или – прожектор?

Ночь (на воскресенье) производит впечатление рабочей, городской шум еще не улегся, гудки, горят фонари над заводами. А мерцающие вспышки, желтые, а иногда бледные, охватывающие иногда большую полосу неба, продолжаются, и мне начинает казаться, что за городским гулом я слышу еще какой-то гул»¹⁰.

К концу революционного года Блок начинает этот гул ощущать более отчетливо, и – после долгого поэтического молчания¹¹ – в черновиках возникают первые пробудившиеся ритмы и образы:

*И шел и шел
Затерян в безднах
Души скудельной
Тоски смертельной...*¹²

Рядом – еще одна «повисшая» строка:

*Бросаясь в вихорь вихревой...*¹³

Пусть едва-едва, но в этих записях можно уловить прообразы будущей поэмы («скука смертная»; «ветер, ветер, на ногах не стоит человек...»)¹⁴.

Появляются еще строки:

*Всадник мне навстречу
Смерть (4 раза)...*¹⁵

Различим образ из «Апокалипсиса»: четыре всадника, четверка разномастных коней, последний – «конь блед», «и на нем всадник, которому имя “смерть”»¹⁶.

Другой набросок 1917 г. ритмом своим напоминает поэму «Возмездие»:

*Сребристый месяц, лед хрустящий,
Окно в вечерней вышине,
И верь душе, и верь звенящей
И верь натянутой струне*¹⁷.

Здесь ничто не напоминает будущую поэму «Двенадцать». Зато четко обозначено главное дело поэта: верь душе и тому звуку, который ты способен различить. И потому знаменитый призыв (он появится очень скоро): «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию»¹⁸, – окутан у Блока ссылками на «мировой оркестр» и закреплен беспрекословностью им явленного «императива»: «Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, *что* задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”»¹⁹.

Статья с этими лирическими воззваниями – «Интеллигенция и революция» – будет писаться с 30 декабря 1917 г. по 9 января 1918 г. В день завершения в дневнике появится запись: «На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение»²⁰. Поэма «Двенадцать» рождается из этого тревожного звука.

Январские записи в дневниках и записных книжках – это разные грани одного и того же времени: житейское, литературное, историческое, символическое – всё это сосуществует, сплетаясь воедино, как разные голоса в музыкальном произведении. Каждый день – политические страсти: то митинг «Народ и интеллигенция», то призывы в защиту Учредительного собрания, то его разгон. Из примет времени – военные суда на Неве, аэроплан над городом, часто – выстрелы на улице. На хаос событий – и мелких, и серьезных – наложилась «литературная жизнь». Она тоже сплетена и с историей, и с политикой, и – с жизнью личной.

Новый год он встречает с женой, сочиняет ответы на анкету («отмена литературного наследства»²¹). То есть в ночь с 31 декабря на 1 января Блок отказывался от прав на свои сочинения, отрекаясь тем самым от «буржуазного» прошлого («у человека, который действительно живет, то есть движется вперед, а не назад, с годами естественно должно слабеть чувство всякой собственности»²²). Рядом с этим – голос предчувствия: «Страшный мороз, молодой месяц *справа над Казанским собором*. К вечеру тревога (что-то готовится)»²³.

Для газеты «Знамя труда» он готовит цикл своих давних статей²⁴. 2-го он переделывает статью «Пламень». И значит, слова из 1913 г. – «были в России “кровь, топор и красный петух”, а теперь стала “книга”; а потом опять будет кровь, топор и красный петух»²⁵ – реют в воздухе.

3-го – среди разноголосицы политических событий – запись о том, что в газете «Знамя труда» напечатана его «Комета». «Апокалиптический обертон» стихотворения звучит в том же регистре:

*Ты нам грозишь последним часом,
Из синей вечности звезда!*²⁶

Вечером того же дня у Блока Есенин. Разговор (темы, фразы, жесты) подробнейшим образом запечатлен в дневнике 4-го. За этой встречей – то, что давно волнует и мучает: народ, интеллигенция, революция, церковь. Есенина Блок воспринял как старообрядца. Отсюда – характерная окраска в записи одной из тем: «Ненависть к православию»²⁷. Богоборчество Есенина обретает неожиданный поворот (Блок воссоздает канву его объяснений

к «Инонии»): «Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)»²⁸. Богоборческие мотивы и нелюбовь к попам, – за что будут костерить «Двенадцать» многие современники, – вошли в поэму с «есенинским» тембром. Оттуда, из беседы, возможно, родился и еще один образ.

Есенин чувствует в себе голос новой пугачевщины: время смирения для мужика прошло. Блок давно ожидает «возмездия». Но крестьянский поэт иначе чувствует историческую ситуацию. Интеллигент мается «как птица в клетке». И вот: «К нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят...»²⁹ Есенин взмахнул рукой, будто выпустил птицу. Не этот ли жест, увиденный сквозь зарево «мирового пожара», скоро отзовется зловещей приговоркой в поэме: «Ты лети, буржуй, воробышком...»

Есенинские реплики оказались созвучными давно вызревшему ощущению нынешнего катастрофического времени, и 4 января Блок снова занят статьей «Интеллигенция и революция». 5-го – еще никакого намека на стихи: «Весь день и вечер тоскую, злуюсь, таюсь»³⁰. Внешние приметы времени, – то, что раньше его тревожило, – теперь безразличны: «Где-то, кажется, стреляли, а я не знаю и не интересно»³¹. 6-го – работа над статьей. И – запечатленное мгновение из современной истории: «Слухи о том, что Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра»³². Что-то вызывает в душе необычайное: «Легкость, поток идей – весь день»³³, – но это, по-видимому, о статье.

7 января – день особенный. В записной книжке – отсылка к «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана. В дневнике – наброски образов к пьесе о Христе, которую они замыслили с женой: «Жара (синее и желтое). Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит»³⁴. Заметки эти – после их публикации – поразят тем, что древние образы приближены к современности: «У Иуды – лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность)»³⁵. Отдельные записи могут показаться кощунством: «Входит Иисус (не мужчина, не женщина). Грешный Иисус». Или: «Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу). Их стыдили»³⁶. Но вместе с тем характеристика Христа выдает и своеобразное к нему отношение: «Иисус – художник. Он все получает от народа (женственная восприимчи-

вость). “Апостол” брякнет, а Иисус разовьет». И – не менее важное: «Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не ладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними Иисус – задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет»³⁷. При всей двусмысленности образа Иисуса он тем не менее предстает как столь ценимый Блоком «человек-артист».

То, что тема возникла 7-го – случайностью не назовешь. Праздник Богоявления (Крещения Господня) должен был навеять свои образы, тем более после недавней беседы с Есениным. Символ креста мог замерцать в этот день, родив и неясный замысел поэмы. 8-го – поэма уже «явилась»³⁸. И в этот же день – жестокая новость: «Убиты (в больнице) Шингарев и Кокошкин»³⁹. Кровавое событие ложится на слухи о других убийствах. Последняя запись этого дня: «Внутри дрожит»⁴⁰. Вовсе не случайно он после скажет о «капле политики» в своей поэме, хотя изобразит совсем иное убийство.

Эта маленькая предыстория поэмы не раскрывает того смысла, который несет в себе образ Христа, но она все-таки дает возможность лучше увидеть, что образ этот не был случайным, что «Другой», – который позже мог Блоку показаться более уместным в поэме, – появиться в ней мог только вопреки воле самого произведения. Образ Христа явно предощущался в дни от Рождества до Богоявления и как раз в день Крещения Господня – пусть и в неожиданном виде – он именно явился поэту.

Январские записи говорят и о другом: внешняя «разрозненность» жизни (будни, житейские передряги, литературная жизнь, революционная действительность, – и всё это вперемешку с разнообразными «знаками времени») ощущалась как «многоголосое» свидетельство присутствия «мирового оркестра» в современной жизни. О рубеже 1917–1918 гг. Блок мог бы повторить то же, что ранее сказал в 1910-м: «Революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах», прибавив к этому: «Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России»⁴¹.

Тревога за судьбу отечества – постоянный лейтмотив блоковских дневников и записных книжек за 1917 г. Не ощутить того, что империя зашаталась, было невозможно. 22 апреля он словно уговаривает себя: «Все будет хорошо, Россия будет великой. Но

как долго ждать и как трудно дожидаться»⁴². 12 июля настроение иное: «“Отделение” Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за “Великую Россию”»⁴³. Приходит не историософское, но политическое видение этой судьбы: «Если распылится Россия? Распылится ли и весь “старый мир” и замкнется исторический процесс, уступая место новому (или – иному); или Россия будет “служанкой” сильных государственных организмов?»⁴⁴ К началу 1918 г. приходит ответ, вполне «музыкальный», в духе всей статьи «Интеллигенция и революция»: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой»⁴⁵.

Фраза поневоле заставляет вспомнить «Эллинскую религию страдающего бога» Вяч. Иванова, а заодно и многочисленные его статьи. В момент дионисийской оргии менады, впадая в состояние экстаза, становятся частью вселенской силы и разрывают жертву на части. Божество гибнет, чтобы в свой срок воскреснуть вновь. И хотя культ Диониса ушел в даль истории, его отголоски живут и в христианстве, и в театре, и в творчестве каждого художника. Сам он – как сказали бы в более поздние годы – одна из сторон человеческого подсознания или «коллективного бессознательного».

Не эту ли «оргию» и неизбежную «жертву» Блок ощутил в революции и в судьбе России? И если подправить это слишком «эстетическое» понимание истории письмом Розанова к Блоку от 19 февраля 1909 г., ощущение «жертвы» станет еще более отчетливым. Розанова коробит поведение интеллигенции, готовой многое простить бомбометателям, он приоткрывает тайный двигатель христианской цивилизации, в том числе и сопровождающих ее пыток, казней, смут, революций: это – «древний Каин», что живет в человеке. Голос Розанова звучит как предвестие: «Это древнее – “дай полизать крови”, от которого (по-моему) люди только и отделялись древними жертвоприношениями»⁴⁶. Мысль подобная ясновидению не могла пройти мимо Блока. В его ответе – хоть и неявное, но – согласие: «Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем “дай полизать крови”»⁴⁷.

Конец 1917 г. настраивал на принятие трагедии и очищение через жертву. Революция – это своего рода религиозное действо. Жертва – Россия. Она должна пройти через расчленение, через смерть, чтобы позже воскреснуть. И если вспомнить все превра-

щения и преображения «Вечной Женственности» в лирике Блока, – от ранних стихов до «Поля Куликова», до «Русь моя, жена моя» (с очевидным указанием на это женственное начало), – то гибель героини в поэме «Двенадцать» – это лишь знак иной гибели.

В январе 1918 г. Блок явственно слышит разгул стихии. В исторических событиях ощущает «дух музыки». Он и воплотится в поэме.

Уже писалось, что в «самоощущении эпохи», в том числе в творчестве Блока, заметна «исключительная роль музыки и музыкального сознания в широком смысле»⁴⁸, что в поэме отразилось «многоголосие эпохи»⁴⁹, что «в ней переплетаются и развиваются различные темы по законам строения симфонической музыкальной формы»⁵⁰, что «художественная сила поэмы Блока», – это было замечено еще в 1921 г., – «заключается в создании впечатления грандиозного неразрешенного диссонанса, как в современной музыке»⁵¹. Из более детальных, но и более частных наблюдений – разноголосица песенных жанров, свойственная той эпохе, которая была впитана поэмой Блока⁵². И все-таки прочтение «Двенадцати» ни у одного исследователя не определялось тем музыкальным началом, которое ощутимо в соотношении стихов, образов, тем.

Рефрены и полурефрены, – их в поэме множество. Здесь и повторы строк: «Эх, эх, без креста...», «Вперед, вперед, рабочий народ...», и, как назвали бы музыканты, «ракоходы», вроде: «Революционный держите шаг...» – «Шаг держи ревлюцонный...». Всё это – прямое указание на то, что поэма «Двенадцать», как и музыкальное произведение, не только использует лейтмотивы, но и состоит из разных по характеру тем и сложного их контрапункта. Что, например, реплики: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь», как и «Революционный держите шаг!» – это не голос Блока, но голоса, пришедшие из январской метели и сцепленные в единое полифоническое целое. Так в главке пятой – несомненное двухголосие, столкновение разных разговорных интонаций.

Строфы, высветившие судьбу героини⁵³:

*У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.*

Или:

*Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала...*

В ответ – строфы-возгласы, строфы-вздохи:

*Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!*

Или:

*Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!*

Иной раз и в строфы «рассказа» врываются возгласы из второго голоса, усложняя контрапункт:

*В кружевном белье ходила –
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила –
Поблуди-ка, поблуди!*

И как музыкальное произведение нельзя свести к одной теме и даже к их «набору», так и в поэме Блока главное – не отдельные образы, но всё их «созвучие». Тем более что можно различить здесь и образы сокровенные, незримые...

* * *

*Черный вечер.
Белый снег.*

Обычно в первых строках видят только противостояние цвета: черный – белый. Но поэт одновременно с цветовой гаммой (она в поэме скупа: черный, белый, изредка – серый, и – сквозь них – кроваво-красный⁵⁴) создает и весьма своеобразное пространство.

Сколько восхищения за долгую свою жизнь выслушали строчки Пушкина из «Сказки о царе Салтане»!

*В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...*⁵⁵

Мир здесь явлен в гармонии: верхняя строчка – о том, что вверху (звездное небо), нижняя – о том, что внизу (море с волнами).

Блок создает мир, где гармония нарушена. Но произведение не может быть дисгармоничным. Поэма как бы составлена из клочков (образов, реплик, ритмов). Но мир в ней просвечен началом всё объединяющим.

«Черное, черное небо...» – фраза эта появится у Блока в конце первой главки. Он не выписывает пространство поэмы столь отчетливо, как Пушкин в своей сказке (да и какая отчетливость изображения в метельной ночи?). Но «черное, черное небо» лишь подтверждает: «черный вечер» в первой строке высвечивает верх, а «белый снег» во второй – низ. И первые две строки – от «черного неба» до «земли в снегу»⁵⁶ – это незримая линия, прочерченная вертикаль.

Следом, сразу, – горизонталь:

*Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.*

Позже не раз мелькнет крест неподлинный, «плотский» («...и крестом сияло брюхо на народ...») – или, если дать – как говорят математики – образ «от противоположного»: «эх, эх, без креста!»). В первых строках поэмы крест вычерчивается истинный, незримый (видны лишь «вечер», «снег», «ветер»). Такой же незримый, как Христос в последних, «выюжных» строках. И так ли странно появление Христа в конце поэмы, если уже в самом начале прозвучит «Божий свет», – слова, которыми обозначено это художественное пространство⁵⁷.

*Ветер, ветер –
На всем Божьем свете!*

Связь первой и последней строфы. Так главная тема в музыке: вначале она звучит как обещание, потом проходит многообразные превращения, вплоть до образов, противоположных началь-

ному («эх, эх, без креста!»), чтобы в конце – явиться вновь, преображенной.

Незримый крест в начале, незримый («и за выюгой невидим») Христос в конце. Но есть и еще одно Его явление, самое сокровенное.

* * *

Юрий Анненков, иллюстрируя «Двенадцать», от себя прибавил новый штрих к центральному образу. Место действия появится на одном из рисунков как адресная вывеска на стене дома: «Рыбацкая, 12»⁵⁸. Блок не возразил, принимая и эту черточку в главный символ поэмы.

То, что замысел пьесы о Христе, – возможно, первый толчок к созданию поэмы, – пришелся на праздник Крещения Господня, случайностью не назовешь. И все же то, что это *двенадцатый* день после Рождества Христова, – скорее историческая или символическая *данность*, с которой Блок мог лишь согласиться.

Но есть и запись в черновиках: ««Двенадцать» (человек и стихотворений)»⁵⁹. И это уже первое по времени *собственное* толкование символа.

Петроградский священник, автор пронзительного слова о «Двенадцати»⁶⁰, увидел в поэме «бесовидение в метель»⁶¹. Посчитал, что имена красногвардейцев пародируют имена апостолов в Евангелии и что сам образ Христа – подмена Христа подлинного. «Ванька», «Петруха», «Андрюха», действительно, вторят апостольским именам. Отсылки к евангельскому сюжету очевидны, разбойники («на спину надо б бубновый туз») и апостолы словно сливаются в поэме. И все же священник прочитал поэму так, как читают трактат, потому и не смог разглядеть иных ее горизонтов.

«И был с разбойником. Жило двенадцать разбойников»⁶². Эти реплики в черновике Блока тоже давно прочитаны. Первая запись указывает на сюжет о Христе, распятом между двумя разбойниками. Тот из них, кто уверовал, услышал из уст Спасителя: «Будешь со Мною в раю»⁶³. Значит, и преступивший через «не убий!» может войти в Царствие Небесное⁶⁴. Вторая запись отсылает к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»⁶⁵, к знаменитой легенде:

*Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан...*⁶⁶

У Некрасова сюжет легенды словно оглядывается на кресты Голгофы. Его «великий грешник» раскаялся. Он годами пытается замолить грехи. Но прощение приходит лишь в то мгновение, когда он в праведном гневе лишает жизни злодея.

Святость и грешность соприисутствуют в легенде. Соприсутствуют и в поэме Блока. Потому и возможны здесь такие строки:

*Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...*

С еще большим нажимом тот же мотив звучит в знаменитой строфе:

*Мы на горе всем буржуйам
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!*

Это уже чуть ли не желание получить благословение на убийство. И «двенадцать», эти грешники Блока, – в отличие от некрасовского Кудеяра, – еще не ведают раскаяния. Даже тот, кто погубил бывшую возлюбленную, кто поначалу «голову повесил», быстро поддается на уговоры товарищей:

*И Петруха замедляет
Торопливые шаги...*

*Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...*

Чутье художника не подводит Блока. «Шаги» – «повеселел»... Это единственные строки в 7-й главке, лишенные рифмы, т.е. гармонической «уровновешенности». Здесь проявился своего рода «задержанный диссонанс». Розановский закон – «полизать

крови» – во время революций неумолим. Но он не отменяет ни заповеди «не убий!», ни раскаяния. Герой лишен всякой уравновешенности. Да и *как* он повеселел? В контексте следующих строк, – от «нынче будут грабежи» до «выпью кровушку», – веселье это обретает оттенок жуткого куража, уголовного «озорства».

* * *

«Было двенадцать разбойников...», двенадцать апостолов, ««Двенадцать» (человек и стихотворений)»... Заявленное Блоком заглавие поэмы – только так и может быть у живого символа – сразу стало обрастать разноречивыми смыслами. Не осталась в стороне и собственно числовая символика. 336 стихов поэмы могут показаться «символистским фокусом»: $3 + 3 + 6 = 12^{67}$. Но маркированный стих – не случайный! – делает это число значимым. Количество стихов «задано». Именно это заставляет вчитываться в «немую» строку.

Главка шестая. Она вся состоит из двестишестидесяти строк. И только центральная строфа – рассечена еще одной строкой из точек:

*Трах-тарарах! Ты будешь знать,
.....
Как с девочкой чужой гулять!..*

Площадная брань с той неизбежной рифмой, которая звучит кощунством по отношению к женскому началу, а значит – и к «Вечной Женственности»?

Любовные треугольники в творчестве Блока. В «Стихах о Прекрасной Даме» царствует «Она» (или «Ты» с заглавной буквы). Он – при ней, он – ее паж, ее рыцарь. Но иногда ему противостоит двойник:

*Навстречу мне из темноты
Поднялся человек⁶⁸.*

Впрочем, и Ее лик иной раз двоится, потому столь явственна тревога в этих уже хрестоматийных строках:

*Весь горизонт в огне, и близко появенье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты...⁶⁹*

В драме «Балаганчик» лица героев-двойников скрыты масками: Пьеро и Арлекин. Облик героини меняется, и вместо Коломбины перед зрителем вдруг предстает «картонная невеста».

Двойники будут вставать из его строк и позже. И «ее» лицо зачастую будет столь же двойственно, как в знаменитой «Незнакомке» (незримая, но ощутимая «Вечная Женственность» – и падшая женщина).

Любовный треугольник в поэме – наследует прошлому блоковского творчеству⁷⁰. Петруха даже имя будто перенимает от Пьеро. Ванька от Арлекина – подчеркнуто бутафорскую сущность, это – «переодетый» Арлекин:

*Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...*

И Катька – не только «с офицерами блудила», не только «падшая». В ней есть «вечноженственное» начало. Потому Блок и наставляет Юрия Анненкова, иллюстратора: «“Толстомордость” очень важна (здоровая и чистая, даже до детскости)»⁷¹.

Глава 6-я – не просто сцена убийства. Она – о жертве, где пуля, предназначенная «ему», сопернику и «буржую», губит «ее», бывшую возлюбленную. «Трах-тарарах! Ты будешь знать...» – в это мгновение она еще жива. Далее – строка из точек. После – продолжение ругани: «Как с девочкой чужой гулять!...» Петруха в пылу ярости ничего не чувствует. Но ее уже нет. И Блок внушает художнику как сцену изобразить: «Если бы из левого верхнего угла “убийства Катьки” дохнуло густым снегом и сквозь него – Христом, – это была бы *исчерпывающая обложка*»⁷².

Вертикальный столбец «значимых» строк пересекает горизонтальное многоточие, «невыразимое». Еще один «незримый крест» в поэме, еще одно «подспудное» проведение главной темы. За «немой» строкой – не только непристойная брань. За ней – и гибель, заклание, и незримый Лик, который всегда есть там, где есть жертва.

* * *

«Ужо тебе!..» – это бунт маленького человека в «Медном всаднике». «Ужь я ножичком...» – это разгул «демократии» в «Двенадцати». И далее:

*Выпью кровушку
За зазнобушку...*

Эта вакханалия – не только «отражение» действительности, которую вобрал в себя творческий январь 1918 г. В этом «ужь», как и во всей поэме, сошлись, сплелись, скрестились два мифа, порожденные русской литературой. Будто тревожный ритм «Бесов» Пушкина ворвался в четко очерченный и «неколебимый» – лишь временами нарушаемый водной стихией – «град Петров», мир «Медного всадника». «Двенадцать» Блока – петербургская поэма, хотя город к этому времени и носил другое имя: «Петроград»⁷³.

В «Медном всаднике» есть отдельная тема: рождение города «из ничего». Чеканный стих – это не только пушкинская точность, это и выраженная словом действенная воля Петра. Рваный ритм первой главки «Двенадцати» – это разъятие образа некогда величественного города, это распыление творения рук человеческих. Первая строка поэмы Пушкина имела варианты: «На берегу Варяжских волн...», «Однажды близ Балтийских волн...» – и найдено было: «На берегу пустынных волн...»⁷⁴ Самое точное слово. Не только потому, что «пустынный» для уха того времени – это одинокий: волны – и более ничего. Не только потому, что перед глазами возникает водная пустыня. Но и потому, что в слове эхом отозвалось давнее пророчество: «Месту сему быть пусту!»

В основе петербургского мифа – мотив богоборчества. Город возник не по Божьему промыслу, но по воле сильного мира сего. Он – воплощение царского «упрямства». И потому стихия, – будь то наводнение, будь то бунт, – городу неподвластна, она ему «мстит».

В «Медном всаднике» стихия сгубила тихое счастье маленького человека, это его и сподвигло на бунт обреченного. И русская литература должна была пройти через фантасмагорический Петер-

бург Гоголя, через город-призрак и город немыслимых страстей Достоевского, через город провокаторов и бомбистов Андрея Белого, а также через лирику Пушкина, Тютчева, современников поэта (Анненского, Гиппиус, самого Блока)⁷⁵, чтобы в поэме «Двенадцать» дойти до крайней своей точки.

С первой же главы «прожектор истории»⁷⁶ выхватывает портреты, возгласы, отдельные штрихи новой эпохи, – старушка, плакат, буржуй, писатель, поп, барыня в каракуле и другая барыня, проститутки, бродяга... Это не облик города, но его смысловые обломки. И рваный ритм усиливает это ощущение. Прежнего города нет. Имя его не названо, да и зачем оно, если пророчество – «месту сему пусту быть» – сбывается, воплощается через нашествие стихий...

Ночь, метель. Город почти невидим. Различимы лишь отдельные его контуры: «От здания к зданию протянут канат»... «буржуй на перекрестке»... «пустеет улица»... – Не панорама города, но лишь две стены и пересечение линий. Далее – из того, что может схватить глаз: «Огни, огни, огни»... И еще: «Запирайте этажи»... «отмыкайте погреба»... – каменные «верхи» и «низы» Петербурга. Лишь в 9-й главке – узнаваемый облик, да и тот пришел из прошлого, из знаменитых строк Федора Глинки, слегка «потревоженных» Блоком:

*Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина...*

После же – снова то, что характерно для любого города, а вовсе не только Петербурга: «перекресток», «переулки глухие», «дома» и – примета времени – эхо от выстрелов.

И все же углы домов, улицы, замеченные снегом, – ощутимы. Контуры их проглядывают даже в людских движениях:

*Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит...*

Или позже:

*Стой, стой! Андрюха, помогай
Петруха, сзади забегай!..*

Город есть, но он – призрачен («быть пусту»). Буржуй, писатель, поп, барыня, проститутки, бродяга – это лишь тени прошлого мира. Петербургская слаженность, его «геометрическая четкость» если и поступает, то лишь в поступи «ночного дозора» нового времени, в этих красногвардейцах с «винтовочками стальными»⁷⁷. Когда-то герою Достоевского приходила на ум беспокойная и дикая фантазия: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметсЯ с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жаркодышащем загнанном коне?»⁷⁸ У Блока нет ни Медного всадника, ни других примет: соборов, шпилей, островов, берегов, мостов. Лишь раз мелькнул опознавательный знак из «литературного прошлого» Петербурга: невские башни. Остальной город – скрыт в ночи, утонув в мировой метели.

* * *

«В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила»⁷⁹, – писал Блок в 1906 г. в статье «Поэзия заговоров и заклинаний», постигая народную мифологию. Снежная стихия на него самого налетит в начале 1907 г., когда – одно за другим – будут рождаться стихотворения «Снежной маски». Извивы вьюги и вихри любовной страсти для Блока – это разные воплощения одной стихии. В «Двенадцати» с ними сольется и стихия смуты, революции.

Снежные миры в поэме разнообразны. То мир этот – линейный:

*Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.*

То – круговой:

*Завивает ветер
Белый снежок.*

То – порывистый:

*Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!*

То – слегка успокоенный:

Гуляет ветер, порхает снег.

В драматические мгновения снежная стихия пробуждается снова:

*Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..*

Блок давно уже прочувствовал образы народной демонологии: «Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы...»⁸⁰ Знал он это и по пушкинским «Бесам»⁸¹:

*Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам»⁸².*

И когда Ванька с Катькой проносятся мимо «двенадцати», – на людское столкновение страстей налетает их подобие из мира «инфернального»: здесь же, рядом, в вихревом столбе, в «снежном прахе» справляются «поганые свадьбы». Сцена убийства – разработка той же темы, что прозвучала много раньше: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!»⁸³ Только сейчас снежная пелена застит глаза. И не бес ли толкнул под руку, чтобы герой пальнул в метель: «Трах-тарарах, ты будешь знать...»

Пушкинские бесы мучают тревогою, они взвиваются и воют:

*Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?»⁸⁴*

Бесы Блока – смеются над людскими усилиями и человеческим бессилием:

*Трах-тах-тах! – И только эхо
Откликается в домах...
Только выюга долгим смехом
Заливается в снегах...*

Когда в 1940 г. Рахманинов, – с мукой вглядываясь в охваченную войной Европу, предчувствуя, через какие испытания скоро придется пройти России, – пишет «Симфонические танцы», он в 3-й части изобразит свой вариант «плясок смерти»⁸⁵. В музыке – разгул нечистой силы, перебиваемый то позывными «Дня Гнева», то песнопением из «Всенощной». Но прежде, нежели полетят эти бесовские пляски, оркестр изобразит бой часов: ровно 12 раз, полночь⁸⁶.

В поэме Блока различимы знакомые мотивы «Песен и плясок смерти» Мусоргского на слова Арсения Голенищева-Кутузова: «А метель-то, ведьма, поднялась, разыграла»⁸⁷. Точно так же – вверх – всплывает метель у Блока:

*Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...*

Полночь – начало разгула нечистых. И «Двенадцать» – не только название поэмы, но и бой часов. Именно после заглавия, после этих двенадцати ударов, и вскипают выюжные вихри. «Бесовидение в метель» – формула верная, если речь идет о «двенадцати», о красногвардейцах. Им не дано разглядеть ту даль, в которую они готовы шагать даже через кровь:

*И выюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...*

Если же речь идет о самом поэте – формула «бесовидения» слепа до упрямства. Не Блок хочет увидеть Христа, его произведение требует этого.

Финальная строфа вычерчивает еще один незримый крест. «...Так идут державным шагом...» – середина, «поперечина». «Позади – голодный пес...» – не только образ «старого мира», но и – как давно было замечено – одно из воплощений беса⁸⁸. И (естественно выстроенный космос поэмы) – от «пса» через «двенадцать», вперед и вверх, т.е. выше метели («Нежной поступью надвьюжной»), – к Тому, кто «псу» противоположен: «Впереди – Иисус Христос». При этом и «краски» поэмы из темной, «ночной» части спектра переходят – через красный – в белый цвет. Как в музыкальном произведении трагические столкновения музыкальных образов в смене тональностей переходят к «разрешению» неустойчивых интервалов в тонику. И пространство поэмы проходит свой «композиционный» путь: первые строки – резкое движение вниз, где и происходят «земные потрясения»; последние – восхождение.

* * *

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию»... «Сознание» из этого воззвания Блок оставил для статьи. Для поэмы, которая в ту минуту рождалась, нужны были «тело» и «сердце». Тревожный «гул», – если вчитаться в его ежедневные записи, он чувствует даже телесно. И, набрасывая и перемарывая написанные строки⁸⁹, Блок не рассуждал, но вбирал живую историю.

В «Двенадцати» – музыка слышимая и музыка видимая. Явлен только миг эпохи «после 1917-го». Пробил двенадцатый час русской истории. Это – конец прежней России и начало России другой. Сотрясения катятся уже и по Европе, весь мир меняется.

Блок ждет всеобщего преображения. Потому и скрестились в одном художественном пространстве, в одном историческом мгновении два мифа русской культуры – и «бесы» промчались сквозь «Петербург». Потому соединились воедино все три стихии: вьюга, любовная страсть, смута. Потому слились 12 разбойников и 12 апостолов, 12 ударов, 12 глав и 336 строк. Потому изначальный незримый крест явился ещё раз в сцене убийства и в третий раз преобразился в недоступного земному взору Христа.

Когда-то его лирика поражала необыкновенным зрением:

*Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои⁹⁰.*

Теперь ему нужно вглядываться в снежную пелену, чтобы различить главный образ. И все же... «чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа». Помогла увидеть «музыка», где темы, сплетаясь и скрещиваясь, не только рождают единое целое, но и подразумевают необходимость каждой из них. Христос так же необходим в финале, как и все персонажи, населяющие поэму, как ее контрастные краски и переменчивый ритм.

То, что звуковая волна, подхватившая Блока, закончилась быстро – ощутимо уже в «Скифах». Здесь есть напор ритма и звука, но нет глубинной музыки. Потому нет и загадки. Блок возвращается к четким, лирическим формулам, которые раньше находили свое место в статье. Стихотворение могло поразить современников своей выразительностью. И все же в нем запечатлелась уже позиция самого Блока, отчасти, быть может, позиция будущих евразийцев, но не «дыхание эпохи», не «дух музыки».

Когда поэма «Двенадцать» отойдет от него, Блок и сам будет иной раз поражаться написанному. 20 февраля 1918 г. он запишет в дневнике: «Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы “не достойны” Иисуса, Который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой»⁹¹. Но это – уже рассуждение, а не музыка. Оно так же ограничено, как и другие толкования поэмы.

Трактовок январское произведение Блока породит неисчислимое множество, породит и желание еще и еще раз вглядеться, вслушаться в этот рубеж: год 1917 – год 1918. Всякое прочтение поэмы – хоть немножко – имеет «право на существование». И каждое – не способно охватить всей ее образной многомерности. Поскольку «Двенадцать» можно осмыслять, но нельзя осмыслить. Можно только пережить.

¹ Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. – М.; Л.: Худож. лит., 1962. – С. 59.

² Там же.

- ³ Письмо Н.Н. Страхову от 23 и 26 апреля 1876 г. // *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 18. – М.: Худож. литература, 1984. – С. 784.
- ⁴ *Чуковский К.И.* Александр Блок как человек и поэт: Введение в поэзию Блока. – М.: Русский путь, 2010. – С. 50.
- ⁵ «Записка о “Двенадцати”» Блока цитируется по ее полному изданию в репринтном издании книги: *Блок Александр.* Двенадцать. Скифы / Предисловие Р.В. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». [СПб., 1918]. – М.: Прогресс-плеяда, 1998. – С. V.
- ⁶ *Иванов Г.* Китайские тени: Мемуарная проза. – М.: АСТ, 2013. – С. 174.
- ⁷ *Волошин М.А.* Собр. соч. Т. 6, кн 2. Проза 1900–1927. Очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы. – М.: Эллис Лак, 2000, 2008. – С. 32–33.
- ⁸ *Блок А.* Двенадцать. Скифы / Предисловие Р.В. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». – С. VI.
- ⁹ *Блок А.А.* Записные книжки. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 377.
- ¹⁰ *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – М.; Л.: Худож. лит., 1963. – С. 299.
- ¹¹ В записной книжке 25 марта 1916 г. он напишет: «На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или – чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял» (*Блок А.А.* Записные книжки. – С. 293). Последние стихотворения 1916 г. – «Демон» и «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...» написаны 9 июня, после чего Блок надолго замолчал как поэт.
- ¹² *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. – М.: Наука, 1999. – С. 99.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ О переключке образов из набросков конца 1917 г. и образов поэмы – см.: *Иванова Евг.* Александр Блок: Последние годы жизни. – СПб.: Росток, 2012. – С. 122.
- ¹⁵ *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. – С. 99.
- ¹⁶ Откр 6: 7–8.
- ¹⁷ *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. – С. 99. Первое слово – «Се-ребристый» – взято в скобки, т.е. поставлено поэтом под сомнение.
- ¹⁸ *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. – С. 20.
- ¹⁹ Там же. – С. 12.
- ²⁰ *Блок А.А.* Записные книжки. – С. 383.
- ²¹ Там же. – С. 381.
- ²² *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. – С. 7.
- ²³ *Блок А.А.* Записные книжки. – С. 381.
- ²⁴ Позже статьи войдут в книгу Блока «Россия и интеллигенция» (П.: Алконост, 1919).
- ²⁵ *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. – М., Л.: Худож. лит., 1962. – С. 486.
- ²⁶ *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. – М.: Наука, 1997. – С. 95.
- ²⁷ *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – С. 313.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Там же.

- 30 Блок А.А. Записные книжки. – С. 382.
31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.
34 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – С. 259.
35 Там же. – С. 260.
36 Там же. – С. 259.
37 Там же. – С. 260.
38 В записной книжке: «Весь день – “Двенадцать”» (Блок А.А. Записные книжки. – С. 382). Сомнение, что фраза запечатлела начало, а не продолжение работы над поэмой, уже высказывались (см., напр.: Тимофеев Л. Наследие поэта // Вопросы литературы. – 1980. – № 10. – С. 70–71). Но сомнение может возникнуть не только потому, что до нас не дошла предыдущая записная книжка с возможной отсылкой к такому началу, но и потому, что идея могла «витать» в сознании поэта раньше, не оставив следа в его ежедневных записях. И все же, несомненно, праздник Богоявления в контексте наступившего времени не мог не вызвать в Блоке мыслей об эпохе раннего христианства, которые стали той идейной атмосферой, в которой рождалась поэма.
39 Блок А.А. Записные книжки. – С. 382.
40 Там же.
41 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. – С. 431.
42 Блок А.А. Записные книжки. – С. 318.
43 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – С. 279.
44 Там же. – С. 280.
45 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. – С. 9.
46 Беляев С.А., Флейшман Л.С. Из блоковской переписки // Блоковский сборник. II. – Тарту, 1972. – С. 402–403.
47 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М., Л.: Худож. лит., 1963. – С. 276.
48 Гаспаров Б.М. Поэма А. Блока «Двенадцать» и некоторые проблемы карнавализации в искусстве начала XX века // Slavica Hierosolymitana. – 1977. – V. I. – С. 128.
49 Долгополов Л. Многоголосие эпохи и позиция автора («Двенадцать» А. Блока) // Вопросы литературы. – 1978. – № 9. – С. 176.
50 Иванова Евг. Александр Блок: Последние годы жизни. – С. 151.
51 Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977. – С. 236.
52 Петровский М. У истоков «Двенадцати» // Литературное обозрение. – 1980. – № 11. – С. 20–23.
53 Поэма «Двенадцать» цитируется по изданию: Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. – М.: Наука, 1999. – С. 7–20.
54 См. это наблюдение, – с пропущенной строкой: «гетры серые носила», – в статье: Гаспаров Б.М., Лотман Ю.М. Игровые моменты в поэме «Двенадцать» // Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А.А. Блока и русская культура XX века». – Тарту, 1975. – С. 60. «Серый» в цветном

контексте поэмы может как раз означать смешение белого и черного, т.е. – двойственность образа героини. В скрытом виде, – «на спину б надо бубновый туз!», – присутствует и желтый, поскольку ромбы на арестантской одежде были желтого цвета (см. об этом: *Иванова Евг.* Александр Блок: Последние годы жизни. – С. 147). Но здесь действует и образ карт, и потому «бубновый» вписывается в оттенки красного.

55 Цит. по: *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. Поэмы. Сказки. – Л.: Наука, 1977. – С. 316.

56 Название сборника Блока 1908 г.

57 Эту же вертикаль – 12 лет спустя – уловил Георгий Иванов (См.: *Георгий Иванов.* Стихотворения. – СПб.; М.: Издательство ДНК, Прогресс-Плеяда, 2010. – С. 272):

*Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.*

Горизонталь в его стихотворении, – вольное переложение слов знаменитого романа на слова Александра Кусикова, – прочерчены в первых строках:

*Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег...*

58 См.: *Блок А.* Двенадцать. Рисунки Ю. Анненкова. – Пб.: Алконост, 1918. – С. 17.

59 «Двенадцать» А. Блока в издании «Алконоста». Черновик поэмы. – М.: Книга, 1980. Л. 12 (факсимильного издания), в левом верхнем углу, в две строки.

60 Первая публикация: Петроградский священник. О Блоке // Путь. – 1931. – № 2 6. – С. 86–109. Позже работа несколько раз перепечатывалась, в том числе в издании: Александр Блок: Pro et contra. – СПб.: Издательство РХГИ, 2004. – С. 433–451. По этому изданию и даются ссылки.

61 Александр Блок: Pro et contra. – С. 437.

62 «Двенадцать» А. Блока в издании «Алконоста». Черновик поэмы. Л. 16 (факсимильного издания), в левом верхнем углу, в две строки.

63 Лука 23:43.

64 Об этой связи образов Петрухи и евангельского разбойника писал еще Иванов-Разумник. – См.: *Блок А.* Двенадцать. Скифы / Предисловие Р.В. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». – С. 11.

65 К этой отсылке Блока обращались многие исследователи. В данной статье акцент сделан лишь на степени тематической близости некрасовской легенды к некоторым лейтмотивам поэмы Блока.

66 Цит. по: *Некрасов Н.А.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 5. – Л.: Наука, 1982. – С. 207.

67 В свое время, желая подчеркнуть образную и смысловую наполненность произведения Блока, Л. Долгополов заметил: «В “Двенадцати” всего 335 стихотворных строк» (*Долгополов Л.* Поэма Александра Блока «Двенадцать». – Л.: Художественная литература, 1979. – С. 6). При этом он почему-то пропустил

маркированный стих, вероятно, полагая, что строка из одних точек особой «информации» не несет. Своим числом он настолько «заворожил» будущих исследователей, что в научном издании поэмы строки пронумеровали словно бы забыв об этом стихе, т.е. от 1 до 335 (см.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. – С. 7–20). Впервые о точном количестве стихов автор этой статьи услышал в 1990 г. от д.ф.н., профессора Одесского университета, Степана Петровича Ильева (1937–1994), которого поразило «несимволистское» число 335 в работе Долгополова и заставило правильно пересчитать строки. – См. об этом: *Федякин С.Р.* «Ничего, кроме музыки, не спасет» // Литература. Приложение к газ. «Первое сентября». – 1993. – № 4 (9). – С. 3.

68 Цит. по: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. – М.: Наука, 1997. – С. 115.

69 Цит. по: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. – С. 60.

70 О том, что в любовном треугольнике «Двенадцати» своеобразно отразился любовный треугольник из «Балаганчика» исследователи разглядели уже давно. – См.: *Гаспаров Б.М., Лотман Ю.М.* Игровые моменты в поэме «Двенадцать». – С. 53. Корректировка этой аналогии дана в книге: *Смола О.П.* «Черный вечер, белый снег...»: Творческая история и судьба поэмы Александра Блока «Двенадцать». – М.: Наследие, 1993. – С. 52–53.

71 *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – С. 514.

72 Там же.

73 Первым сопоставлять «Двенадцать» с «Медным всадником» попытался Иванов-Разумник. – См.: *Блок Александр.* Двенадцать. Скифы / Предисловие Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». – С. 10–11, 14.

74 *Пушкин А.С.* Медный всадник. – Л.: Наука, 1978. (Лит. памятники). – С. 27–28.

75 Называются наиболее значимые именно для поэмы Блока имена.

76 Выражение Георгия Иванова из статьи «Без читателя». – См.: *Иванов Г.В.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. – М.: Согласие, 1994. – С. 539.

77 Разные интерпретации этого «державного шага» – см.: *Небольсин С.А.* Черный вечер – белый снег: О стиле поэмы А. Блока «Двенадцать» // Русская речь. – 1978. – № 6. – С. 55. *Петровский М.* У истоков «Двенадцати». – С. 24; *Орлов Вл.* Поэма Александра Блока «Двенадцать»: Страница из истории советской литературы. Изд. 2-е, доп. – М.: Художественная литература, 1987. – С. 113. *Смола О.П.* «Черный вечер, белый снег...»: Творческая история и судьба поэмы Александра Блока «Двенадцать». – С. 51.

78 *Достоевский Ф.М.* Полн. Собр. соч.: В 30 т. Т. 13. Подросток. – Л.: Наука, 1975. – С. 113.

79 *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. – С. 38.

80 Там же.

81 О близости ритмов и образов поэмы «Двенадцать» стихотворению Пушкина «Бесы» в ином контексте – см.: *Гаспаров Б.М.* Поэма А. Блока «Двенадцать» и некоторые проблемы карнавализации в искусстве начала XX века. – С. 122–123; *Петровский М.* У истоков «Двенадцати». – С. 26–27; *Магомедова Д.М.*

- Блок и Волошин (Две интерпретации мифа о бесовстве) // Блоковский сборник XI. – Тарту, 1990. – С. 38–45.
- ⁸² Цит. по: *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. Стихотворения, 1827–1836. – Л.: Наука, 1977. – С. 167.
- ⁸³ В несколько ином ключе эта параллель проводится в статье: *Гаспаров Б.М.* Поэма А. Блока «Двенадцать» и некоторые проблемы карнавализации в искусстве начала XX века. – С. 125–126.
- ⁸⁴ *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. – С. 168.
- ⁸⁵ В музыке до «Симфонических танцев» к этому образу, если называть самых известных композиторов, обращались Ф. Лист, К. Сен-Санс, М.П. Мусоргский.
- ⁸⁶ См. подробнее: *Федякин С.Р.* Рахманинов. – М.: Молодая гвардия, 2014. – С. 425–434; *Федякин С.Р.* «Симфонические танцы» С.В. Рахманинова в контексте истории русской эмиграции // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2013. – М., 2014. – С. 411–436.
- ⁸⁷ Поэты 1880–1890-х годов. – Л.: Советский писатель, 1972. – С. 235.
- ⁸⁸ *Гаспаров Б.М.* Поэма А. Блока «Двенадцать» и некоторые проблемы карнавализации в искусстве начала XX века. – С. 126; *Петровский М.* У истоков «Двенадцати». – С. 24; *Смола О.П.* «Черный вечер, белый снег...»: Творческая история и судьба поэмы Александра Блока «Двенадцать». – С. 67.
- ⁸⁹ Факсимильное издание чернового варианта поэмы см. в книге: «Двенадцать» А. Блока в издании «Алконоста». Черновик поэмы. – М.: Книга, 1980.
- ⁹⁰ Цит. по: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. – С. 95.
- ⁹¹ *Блок А.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – С. 326.

М.А. Юшкевич

Г.П. ФЕДОТОВ И РЕВОЛЮЦИЯ*

Аннотация

В предлагаемой работе рассматриваются воззрения на русскую революцию историка, философа и публициста Г.П. Федотова. Подходя к вопросу революции с точки зрения ее социально-политической составляющей, Федотов по-новому ставит вопрос о государственности и о возможности общественной консолидации в России, слабость которых выявили события 1917 г. Проблема эта, ввиду распада СССР, как представляется, не потеряла своей актуальности.

Ключевые слова: Г.П. Федотов, революция, проблема государственности.

Youshkevich M.A. G.P. Fedotov and the Russian revolution

Summary. Views on the Russian revolution by historian, philosopher and publicist – G.P. Fedotov are considered in this paper. Approaching the issue of revolution in terms of its socio-political component, Fedotov anew raises the question of statehood and social consolidation opportunities in Russia after the events of 1917. Since the collapse of the Soviet Union the problem seems to have not lost its relevance.

Каждый, кто прошел через опыт революции, уже никогда не сможет смотреть на мир так, как видит его человек, чья жизнь физически или исторически прошла вдали от нее. Для нескольких поколений людей в России революция стала тем событием, на фоне которого весь ход исторического развития России приобрел новое значение и смысл. Одним из таких людей был историк, философ и публицист Георгий Петрович Федотов (1886–1951).

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Герменевтика классическая и современная: ретроспективы и перспективы». Грант № 16-03-00687.

Родился Федотов в Саратове, в семье надворного советника (7-й чин Табели о рангах, дававший потомственное дворянство) Петра Ивановича и Елизаветы Андреевны Федотовых. В юношеские годы он увлекается литературной публицистикой – Белинским, Добролюбовым, Писаревым. В это же время он знакомится с трудами Маркса и становится членом кружка социал-демократов. Руководствуясь этими политическими убеждениями, Федотов поступает в Технологический институт в Петербурге, но затем переходит в Петербургский университет на историко-филологический факультет. В 1905 г. его несколько раз арестовывают за агитаторскую деятельность, а в 1906 г. его на два года высылают из страны.

Вероятно уже в период ссылки Федотов отходит от марксистских убеждений, оставаясь при этом социалистом [I, с. 6–13]¹. Социалист, недавний член РСДРП, Федотов, однако, решительно не принял произошедшую в России революцию. В одном из писем, датированном ноябрем 1917 г., он пишет: «Рухнули последние надежды на сохранение в России республики, чести. Судьба России в руках авантюристов. Рабочие массы переживают это серьезно <...> для них тут социальная революция <...> как ужасно будет разочарование» [XII, с. 204–206]. А в журнале «Свободные голоса» (3 номера вышло в 1918 г.), в разделе «От редакции», который составлял Федотов, напечатано: «В России нет сейчас несчастнее людей, чем русские социалисты, – мы говорим о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной крест: видеть родину истекающею кровью и идеалы свои поруганными и оскверненными» [I, с. 101]. В этом же журнале, в последующих двух статьях – «Лицо России» и «Мысли по поводу Брестского мира», – события Февраля и Октября оцениваются Федотовым как гибель России [I, с. 104, 110]. Это – слова непосредственного очевидца, но и через десять лет, уже в эмиграции, проводя критический анализ революции, Федотов оценивает произошедшее как катастрофу.

Каково, по Федотову, содержание понятия «революция»? В каком смысле революция 1917 г. названа катастрофой и каковы возможные пути выхода из революции? На эти вопросы Федотов пытался ответить в эмиграции.

Тема Революции была одной из центральных тем философской публицистики Федотова; так или иначе она обсуждается

в таких его статьях, как: «Трагедия интеллигенции» (1926), «Будет ли существовать Россия» (1929), «Сумерки отечества» (1931), «Россия, Европа и мы» (1932), «Февраль и Октябрь» (1937) и др. Наиболее завершенное выражение мысли Федотова о русской революции нашли в книге «И есть, и будет. Размышления о России и революции» (1932).

Революция, ставшая трагическим результатом развития общества, задала такую точку отсчета, такую перспективу взгляда, которая меняла представление о привычных темах – «государство и интеллигенция», «народ и власть». В знаменитой статье «Трагедия интеллигенции» Федотов говорит, что современники революции «имеют, часто печальное, преимущество, видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. <...> Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга» [IV, с. 5].

Таким обращением к истории России, пересматриваемой в свете революции, очевидно, была и книга «И есть, и будет...». По словам самого Федотова, в этом труде он не ставил себе «целью воссоздать облик старой императорской России. Это всего лишь история болезни – схематичная до крайности. <...> Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания <...> так как ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающихся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня» [V, с. 6].

Подход Федотова можно описать словом «возрождение» или «ренессанс» (в широком смысле этого слова) – обращение к прошлому как к продуктивной возможности творческого развития общества. Так, Федотов отмечает, что в пореволюционной России «для молодежи основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление порванной связи поколений», тогда как «за рубежом это же восстановление связи поколений достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре <...> нам следует отречься не от святынь, но от тленной ризы. В новых формах, на новых путях мы будем служить той же вечной правде, которой служили и строители государства русского, и мятежное мучениче-

ское воинство русской интеллигенции» [V, с. 6–7]. Двойное «и» здесь – ключевой момент. Федотов пытается избежать путей русской интеллигенции, приведших к революционному слому, но при этом – не соскользнуть в монархическую реакцию, ставшую, по мысли Федотова, политическим и социальным «декадансом», против чего собственно и восставала интеллигенция (по определению Федотова – идейный, беспочвенный слой общества).

Таким образом, анализируя опыт Русской революции, Федотов пытается найти некий третий путь – по ту сторону революции и реакции. Его поиски, однако, далеки от утопического модернизма. Источником обновления он считает культурно-историческую традицию – органически сложившийся опыт нации, способный, как ему кажется, исцелить и русскую власть, и русскую интеллигенцию от главного недуга – беспочвенности. В этом обновлении, по мысли Федотова, европейская культура должна послужить переоткрытию и обновлению культуры национальной, а не порывать с ней связь, как это случилось при Петре I.

В книге «И есть, и будет...» Федотов рассматривает различные предпосылки и социокультурные аспекты Русской революции. Мы здесь ограничимся рассмотрением одного, но, вероятно, самого мучительного и рокового аспекта – внутреннего разложения государства и общества, неотвратимого процесса скатывания национального тела в революцию.

Прежде всего, стоит отметить, что рассматриваемый Федотовым в упомянутой книге генезис революции понимался им самим не как теоретическое и отвлеченное построение, но как «основа для *акции политика* национальной России» [V, с. 5] – иначе говоря, вполне прагматически. Впрочем, ни вопрос о конкретном политике, ни вопрос о его «акции», к сожалению, не обсуждается.

В первом разделе книги, который называется «Революция идет», дается описание процесса дезинтеграции общества. В этом процессе автор различает две составляющие: во-первых, это утрата творческой энергии в тех общественных слоях, которые строили русскую империю; во-вторых, социальные силы, разлагавшие российское общество изнутри, – противодействовать им были призваны творческие силы государства. Временные рамки, внутри которых проводится анализ, охватывают период от правления Петра I, т.е. рождения империи, до 1917 г. Время Петра I Федотов избирает

точной отчета постольку, поскольку именно Петром была совершена «прививка западной культуры, причем в героических дозах, без которой московская государственность стояла на пороге неизбежной гибели» [V, с. 10–11].

Необходимость освоения технических достижений в конце XVII – начале XVIII в. потребовала, в свою очередь, развития наук, а значит, и рецепцию европейского просвещения. Вхождение в политический мир европейских держав требовало освоения западной культуры, вестернизации дворянства. При этом дворянство «одно становится у трона, оттеснив вниз, к податным слоям и купечество и духовенство. Оно одно восприняло европейскую культуру». С этого момента народ и власть буквально перестают говорить на одном языке. Создается ситуация, в которой дворянство – класс, на который опиралась империя и через который империя воплощала свою политическую волю, – стало быстро утрачивать свою национальную почву. Произошел культурный раскол общества: с одной стороны, традиционная национальная культура, к которой принадлежала большая часть русского общества, а с другой – вестернизированная культура, к которой принадлежали классы, осуществляющие управление страной. На протяжении двух веков эти две культуры сосуществовали, в сущности не соприкасаясь. Единственное, что их объединяло, – это политическое тело нации, скрепляемое монархией.

Пока «привитая Петром идея национального служения государству» [V, с. 8] воодушевляла дворянство, политическая мощь империи неуклонно росла, пик пришелся на царствование Екатерины Великой, а через поколение наступил «пик культурного расцвета» [V, с. 14–15]. Одной из предпосылок творческого упадка дворянства Федотов считает «указ о вольности», освободивший дворянство одновременно и от службы, и от власти. С этого времени начался процесс обезгосударствления, «дезэтизации» дворянства. «По своим последствиям для государства, – отмечает Федотов, – этот процесс сравним с процессом секуляризации культуры для Церкви» [V, с. 15].

По мысли Федотова, разложение правящего класса само по себе не составляет опасности. Европа дает множество примеров упадка и разложения дворянского сословия; но в России к середине XIX в. сложилась совершенно иная социально-политическая

ситуация, чем в Западной Европе столетием раньше: «Беда России была в том, что умирающий класс не оставил после себя наследника. Если культурное знамя дворянства подхватили разночинцы, то государственной службы подхватить было некому» [V, с. 17].

Дворянство, как считает Федотов, утрачивая на протяжении XIX в. свою творческую энергию, постепенно растворялось в тех социальных слоях, которые приходили ему на смену – в бюрократии и армии. Но бюрократия, восприняв в этой смене элит худшие привычки дворянского барства, осталась безынициативной. Армия же, в известной мере впитав в себя традицию рыцарской доблести и чести, свойственную дворянству, и сохранив эту традицию вплоть до революции 1917 г., служила монархии, но была ею же лишена всякого самостоятельного политического значения и влияния в обществе.

Говоря о чиновниках как о классе, способном сменить и действительно сменившем в государственном управлении дворянство, Федотов показывает, что созданная Сперанским бюрократическая машина довольно быстро потонула в «карьеризме; <...> ставя личные и семейные интересы над государственными, она оказалась неспособна к государственному строительству» [V, с. 21]. Со своей стороны, монархия не стремилась культивировать в бюрократическом сословии политическую волю, считая аполитичность залогом благонадежности. В результате разлагающийся изнутри бюрократический аппарат не сумел стать реальной политической опорой монархии, что предreshило и довершило беспомощное одиночество самодержавия перед лицом революции.

Другим возможным преемником дворянства в деле укрепления государства, по мысли Федотова, могла бы стать интеллигенция, но начиная с конца XVIII в. монархия отступается от импульсов Просвещения (заложенных Петром) – политика самодержавия приобретает все более охранительный, запретительный характер. В ответ на это интеллигенция становится оппозиционной (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Реакционная политика монархии только углубила раскол. Загнанная на нелегальное положение, но имеющая политические амбиции, интеллигенция постепенно превратилась в революционный авангард общества. Дальнейшее притеснение со стороны власти породило уже не только революционеров, но и террористов. В 1905 г. эта придавленная политиче-

ская воля вырвалась на улицы. Неудача революции, впрочем, оттолкнула значительную часть интеллигенции от ее революционного авангарда – отсюда тот парадокс, что старая революционная интеллигенция в 1917 г. пыталась скорее сдержать революцию, чем повести ее за собой. Причину этого парадокса Федотов видит в том, что боровшаяся за власть в течение полувека, интеллигенция внутренне вообще презирала власти и избегала ее: «Само отношение интеллигенции к политике было не политическим отношением (для этого нужен вкус к власти), а бессознательно религиозным. Она искала власти не для себя, а для народа» [V, с. 27]. Этого самопротиворечия лучшая, совестливая часть интеллигенции как-то не замечала, и в тот момент, когда – между Февралем и Октябрем – возникла возможность по-настоящему, всерьез и ответственно взять власть в свои руки, интеллигенция спасовала. В сложившемся к 1917 г. положении дел в России, по сути дела, никто не знал, что делать: «...обладай Ленин настоящим умом, он не мог бы строить социализм в России. Чутьочку больше (ума) и он (тоже) был бы обречен на бездействие» [V, с. 74]. Иначе говоря, социалистическая революция в России была преждевременна в большей мере, чем где бы то ни было в Европе, но именно в России в 1917 г. возможность взять власть была наиболее осуществимой, и отныне реальные закономерности исторического развития были подменены своеобразным сочетанием интеллигентского аполитичного мечтательства и антиинтеллигентского политического авантюризма.

Образованный слой в дореволюционной России был оторван от народной культуры, от исторически сложившейся в народе системы ценностей, от традиционной народной морали и веры. Тот, кто имел «белые руки», в народе всегда воспринимался как «полунемец», а по мере того как дворянство переставало нести государственную службу – как «паразит». Федотов, споря с народниками, считал, что не земледельческий труд объединяет людей в общее понятие народа, «но приверженность традиционным, религиозным ценностям. <...> Таким образом, в понятие народа попадают и городское мещанство, и купечество (а значит, частично и буржуазия) и духовенство» [V, с. 38].

Народ – подавляющая часть населения России, по Федотову, – хранитель национальной традиции и здоровых моральных общест-

венных устоев, еще сохранявший в XVIII и XIX вв. мировоззрение допетровской Руси. Народ был второй, кроме дворянства, политической опорой монархии. В своей религиозной идее царя-помазанника он сохранял преданность имперской (вестернизированной) монархии, слепо исполняя царскую волю. И тем не менее на протяжении двух веков просвещения религиозное послушание и подчинение монарху постепенно разрушалось и в народе; вследствие этого «в народных массах выветривалось и государственное сознание» [V, с. 9].

В статье «Будет ли существовать Россия?» Федотов подчеркивает: революция была не сменой власти, не социальным переустройством только, а крушением национального сознания.

В самом деле, дворянство и народ по-своему служили на протяжении двух веков политической опорой монархии. Однако к началу XX в. положение дел изменилось. Дворянство, теряя творческий импульс государственного строительства, сходило с политической сцены. Преемника, который мог бы обновить политическую жизнь государства, или, по крайней мере, остаться опорой монархии, — не нашлось. Народ — основа армии, — утратив основанную на религиозных представлениях верность царю во время Первой мировой войны, в какой-то момент отказался защищать Россию. Отсюда — массовое дезертирство с фронта. Вчерашние крестьяне, поставленные дезертирством вне закона, но имеющие при себе оружие, стали топливом революции.

По мысли Федотова, победа Ленина и большевиков в Октябре была не торжеством восстания, а пределом разложения русской государственности. Революция, кем бы она ни была начата, стала неизбежностью (но не была необходимостью). В сознании людей монархия утратила всякую легитимность, стала анахронизмом. Удивляет Федотова не победа большевиков, а то, что им удалось удержать власть; большевики стали строителями нового государства, которое Федотов в написанной по-английски поздней статье «*Religious background of Russian culture*» описывает так: «Сквозь отступающие воды потопа вновь проступают естественные очертания берегов. Исторически образованный наблюдатель легко узнает в большевистской России черты давно минувших дней»². Так, по мысли Федотова, революция, в своей утопической попытке построения государства, сознательно отринула свое национальное прошлое

и неосознанно воспроизвела собою узнаваемую форму традиционной русской государственности, с которой интеллигенция боролась почти сто лет. В книге «И есть, и будет» Федотов прямо говорит, что «социализм в России, строящийся в Советском Союзе, является издевательством над здравым смыслом и марксизмом одновременно <...> – по сути это – возвращение к формам московского деспотизма царей и крепостному праву XVII века» [V с. 83].

Революция, таким образом, высветила колоссальную слабость государственного сознания в русском обществе. Эта слабость отомстила за себя вполне естественным и в то же время фантастическим образом: поскольку государству грозил полный распад и анархия, то единственным выходом из кризиса оказалось возвращение к новой, радикализованной форме старого деспотического правления.

Возможен ли позитивный для России и русских исход из Революции? Насколько можно судить, Федотов видит такой выход и исход в обращении к исторически сложившимся формам демократической государственности, модифицированным с учетом современных социальных и экономических реалий. Парадокс в том, что воззрения и оценки Русской революции в работах Федотова оказываются по-новому актуальны сегодня после распада теперь уже не петербургского монархического, а кремлевского коммунистического самодержавия, – актуальны как в духовно-идеологическом, так и в историко-методологическом смысле. Но эта актуальность, конечно, проблематична, особенно в том, что касается *перспектив* общественно-политического развития в постсоветской, постутопической, да и постэмигрантской действительности XXI в. Научно-методологическая трудность – в том, чтобы мысли, догадки и убеждения Федотова, иногда гениальные, иногда спорные, суметь разделить и соотнести с современной исторической ситуацией, может быть, менее катастрофичной, но по-своему драматичной.

¹ Федотов Г.П. Собрание сочинений: В 12 т. – М., 1996–2008. Здесь и далее ссылки на сочинения Федотова приводятся в тексте с указанием в квадратных скобках тома (римской цифрой) и страницы (арабской).

² Fedotov G.P. Religious background of Russian culture // Church history: Studies in Christianity and culture. – N.Y., 1943. – Vol. 12. – N 1. – P. 35–51.

К.В. Душенко

«ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН»
И ЛЕГЕНДА «БЕЛОЙ ГВАРДИИ»

Аннотация

Стихотворный цикл М. Цветаевой «Лебединый стан» рассматривается на фоне политического языка эпохи. Такой подход выявляет своеобразие и даже парадоксальность образа Белого движения, созданного Цветаевой.

Ключевые слова: Цветаева, Белое движение, политическая символика цвета.

Dushenko K.V. *«The demense of the swans» and the legend of the «White movement»*

Summary. «The demense of the swans» by M. Tsvétaeva is considered as the reverberation of the political language of those days. It reflects the peculiarity of the White movement in Tsvétaeva's poetry.

Цикл стихотворений Цветаевой «Лебединый стан» (в дальнейшем: ЛС) – не только поэтическое, но и политическое высказывание. Поэтому оно должно рассматриваться не только в контексте поэтического мира Цветаевой и современных ей русских поэтов, но также в контексте политического языка эпохи – в частности, в контексте «цветовой системы» этого языка. Только так можно по-настоящему оценить оригинальность и даже парадоксальность созданного Цветаевой образа Белого движения. Между тем представления как историков, так и филологов о политическом языке эпохи Гражданской войны весьма расплывчаты, а нередко даже превратны. Это прежде всего относится к семантике «белого» и производных от него выражений.

Три цвета времени

В работах филологов о ЛС отмечается, что цветовая система цикла строится вокруг трех основных цветов: белого, черного и красного. При этом с белым связаны положительные коннотации, а черный и красный выступают как антонимы белого и в этом плане как бы уравниваются между собой¹.

Семантика цвета в ЛС не совпадает с личным, индивидуальным восприятием цвета у автора цикла. «Черное, – пишет Л.В. Зубова, – связано у Цветаевой прежде всего с высоко ценимым ею понятием страсти, <...> а белое – с бесстрашием». «Черный цвет связан обычно с миром ее лирического субъекта, а белый – с чуждым ей миром»². Летом 1919 г. Цветаева записывает в записной книжке: «Моя простонародная нелюбовь к белому цвету (и марко, и пусто!)»³. «Нетипичная» для Цветаевой семантика цвета в ЛС как раз и обусловлена спецификой ЛС как актуального политического высказывания.

Те же три цвета, что и в ЛС – красный, черный и белый, – со времени Первой русской революции лежали в основе цветовой системы русского политического языка, хотя их семантика и их относительная значимость менялись со временем. (Развернутое обоснование тезисов, содержащихся в этом и следующем разделах статьи, дано в моей работе «Красные и белые: символика цвета в политическом языке».)⁴

В 1905–1907 гг. центральную оппозицию образуют красный и черный. Связано это было с появлением черносотенства как антиреволюционной силы. Сплошь и рядом черносотенцев именовали просто «черными». Однако в либеральной печати черносотенцев иногда называли и «белыми», как французских роялистов.

С Февраля по Октябрь 1917 г. «белый» практически отсутствует в политическом языке. Главенствует оппозиция «красное – черное». Но ее содержание меняется коренным образом. Черносотенцы как политическая сила не пережили крушения монархии. «Черное» в публицистике *всех направлений* становится универсальным символом реакции, насилия и контрреволюции, под каким бы флагом она ни совершалась – пусть даже под красным.

К концу лета 1918 г. в советской печати на первый план выходит оппозиция «красное – белое». «Черное», однако, продолжает

играть важную роль в политическом языке. В течение всей Гражданской войны черный цвет используется для дискредитации (можно было бы сказать: для очернения) врага, причем не только в большевистской, *но и в антибольшевистской печати*.

Вопреки преобладающим до сих пор представлениям, на основных фронтах антибольшевистской борьбы – Восточном и Южном (а также Северном) – понятие «белые» и производные от него *не использовались* в качестве самоназвания вплоть до конца Гражданской войны; соответственно, здесь не могла возникнуть оппозиция «красное – белое».

И только на Северо-Западе весной 1919 г. в армейской печати и официальных документах появляются самоназвания со словом «белый»: «белая армия», «белые солдаты», наконец, просто «белые». В этом регионе наименование «белые» не было заимствовано из советской печати; в Финляндии и Прибалтике местные «белые» имели широкую поддержку в обществе. Однако уже в ноябре 1919 г. Северо-Западный фронт «белых» перестал существовать, а с ним и самоназвание «белые».

Так продолжалось до 1921 г., когда в Софии вышла книга Шульгина «1920 год. Очерки», заложившая основы идеализированного образа Белого движения. Шульгин не скрывает, что он не пишет историю движения, а создает ретроспективный миф «Белой армии». «Белые», по Шульгину, есть некий рыцарский орден, сознательное меньшинство, взявшее на себя задачу спасения и возрождения родины. Политическое содержание «белой идеи» остается неясным; ничего не говорится о том, как она соотносится с идеей монархии или демократии. Нет и сближения «белого» с чистотой православной веры. Достаточно того, что Белая армия – армия национальная. В остальном дихотомия «белые – красные» исключительно нравственная. «Белые» – значит чистые.

«Белая гвардия» в языке публицистики

Выражение «белая гвардия» появилось в конце 1905 г. как самоназвание боевых дружин Союза русского народа (т.е. черносотенцев) в Одессе. «Гвардия» здесь означает не «отборные части войск», а «[гражданскую] стражу» для охраны общественного порядка. (Оба эти значения присущи французскому слову *garde*.)

Тогда же в печати появляется слово «белогвардейцы» – обычно в связи с погромами.

Почти одновременно появляются упоминания о финляндской «белой гвардии», которая, однако, не имела ничего общего с южнорусскими черносотенцами. Она состояла преимущественно из либеральной студенческой молодежи и противостояла местной «красной гвардии» – полувоенной леворадикальной организации.

В публицистике Первой русской революции выражение «белая гвардия» не играло заметной роли. Вторично оно появилось 27 октября 1917 г., во время октябрьских боев в Москве. Так называли себя отряды учащейся молодежи, в отличие от юнкеров, которые были главной силой московского выступления и в печати упоминались гораздо чаще. Одним из участников московских боев был прапорщик Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. Позднее начало своего «добровольчества» он считал с 26 октября 1917 г. Показательно, что в его мемуарных очерках 1920-х годов с подробным рассказом о московских событиях⁵ «белая гвардия» не упомянута ни одним словом.

Согласно воззванию Центрального студенческого исполнительного комитета, название «белая гвардия» было выбрано «в противовес красной», т.е. по контрасту. Но в цветовой системе тогдашнего политического языка «белое» логически означало также отрицание «черного» со всеми его смысловыми коннотациями, включая ассоциацию с монархизмом. Московская «белая гвардия» была не только безусловно республиканской, но и достаточно левой по духу.

С февраля 1918 г. в Финляндии развернулась полномасштабная гражданская война между «красной» (коммунистической) и «белой» (буржуазно-республиканской) гвардией, закончившаяся в апреле поражением «красных». *Только тогда* в советской печати оборот «белая гвардия» из эпизодического становится обычным.

Тогда же выражения «белая гвардия» и «белогвардейцы» начинают применяться к антиреволюционным вооруженным формированиям в Эстонии, Латвии и Германии, а также к германским частям, наступающим на Петроград. В результате «белая гвардия» и «белогвардейцы» становятся синонимом буржуазной контрреволюции, *прежде всего зарубежной*. Этому способствовало то, что в рамках леворадикальной идеологии «белая гвардия» легко ассо-

цировалась с «белым террором», который для «красных» всегда был террором контрреволюционной буржуазии.

Иначе обстояло дело с наименованием «внутренних» антибольшевистских сил. Вплоть до конца весны 1918 г. «белая гвардия» («белогвардейцы») – лишь одна из множества «контрреволюционных» групп, например: «помещики, банкиры, домовладельцы, фабриканты, лавочники, меньшевики, спекулянты, правые эсеры, белогвардейцы, безвольные интеллигенты и юнкера»⁶. «Белогвардейцы» – это обычно либо добровольческие части (в отличие, например, от казаков), либо «внутренние» заговорщики. Во втором случае «белогвардеец» и «черносотенец» используются практически как синонимы. «Белой гвардией» именуется едва ли не всякая городская противобольшевистская организация.

С июля 1918 г. обычным становится краткое обозначение «белые», и лишь к концу лета 1918 г. двухцветное деление воюющих сторон – «белые» против «красных» – окончательно утверждается по отношению к самой России.

В антибольшевистской печати (даже на Северо-Западе, где использовалось самоназвание «белые») термины «белая гвардия» и «белогвардейцы» встречаются только в закавыченном виде, как «чужое слово». Судя по всему, они вызывали у так называемых «белых» наибольшее отторжение и оставались табуированными по крайней мере до середины 1920-х годов. Возможные причины такого отторжения рассматриваются в моей упомянутой выше статье⁷. Выражений «белая гвардия» и «белогвардейцы» нет ни в книге Шульгина «1920 год», ни у его ближайших продолжателей, развивавших идею «Белого дела».

То же относится к сторонникам «белых» в Советской России. Москвич Н. Окунев, сторонник конституционной монархии, в своем дневнике за все время Гражданской войны ни разу не пользуется определениями «белые» и «белогвардейцы» как собственными – а только при пересказе официальных сообщений, обычно закавычивая эти наименования⁸.

Вопрос о датировке текстов ЛС

Как было показано выше, в 1917–1919 гг. семантика «белого» и слов, производных от него, менялась достаточно заметно.

Поэтому для рассмотрения ЛС на фоне языка эпохи крайне важен вопрос о датировке отдельных текстов ЛС.

Все стихотворения цикла датированы автором, чаще всего – с точностью до дня или нескольких дней. Независимых датировок большинства текстов ЛС, по-видимому, не существует, так что обычно принимаются датировки авторского рукописного сборника 1938 г. Между тем по крайней мере в некоторых случаях их достоверность оказывается под серьезным сомнением. Так, стихотворение «Дорожною протонародною...» в первых публикациях (1921, 1923) датировалось «1 октября 1918 года»; однако в 30-е годы, при составлении книги ЛС, Цветаева сдвигает датировку сразу на год вперед: «осень 1919»⁹.

Стихотворение «Царь и Бог! Простите малым...» датируется: «Москва, 1-я годовщина Октября», т.е. концом октября 1918 г. Стихи ЛС, как правило, представляют собой непосредственный отклик на актуальные события, однако содержание этого стихотворения – призыв к милосердию в случае вступления в Москву «Белого полка» – не вяжется с военно-историческими реалиями. Основные бои велись тогда на Урале и на Дону, и о вступлении «белых» в Москву речь не шла.

Между прочим, именно этим объясняется аберрация восприятия Е.Л. Кудрявцевой, исследователя цикла ЛС: «...как помечает Цветаева, в “1-ю годовщину Октября. Дни, когда Мамонтов подходил к Москве...”»¹⁰. Тут неоправданно сконтаминированы датировка стихотворения и начало примечания к нему в поздней авторской рукописи ЛС: «Дни, когда Мамонтов подходил к Москве – и вся буржуазия меняла керенские на царские – а я <...> знала, что не войдет в Столицу – Белый Полк!»¹¹

Мамонтов «подходил к Москве» в сентябре 1919 г., и по своему содержанию «Царь и Бог! Простите малым...» действительно гораздо легче связать с этой датой, чем с октябрём 1918 г.

Парадоксы «Лебединого стана» как политического высказывания

До мая 1919 г. дихотомия «красное – белое» существует только в советской печати, и «белое» здесь, разумеется, полюс зла.

И *только* у Цветаевой мы находим ту же оппозицию с противоположными знаками¹².

Противопоставление «белые – красные» в ЛС (как позднее у Шульгина) – прежде всего нравственное. «Белое» в ЛС возникает еще до Октября 1917 г., как антитеза – пока еще не политическая, а только метафорическая, – красному и черному. Роль черного как одного из антонимов белого, не менее важного, чем красное, вполне соответствовала символике цвета у антибольшевистских публицистов, которая, однако, начала складываться лишь со второй половины 1919 г. в «белой» печати Северо-Запада, а окончательно закрепилась у В. Шульгина уже в эмиграции.

Зато *в высшей степени* необычно то, что Цветаева – если принять авторские датировки триптиха «Дон», – уже с начала апреля 1918 г. по н.ст. последовательно пользуется терминами «Белая гвардия», «белогвардейцы» и «белогвардейский», заимствованными из советской печати и строго табуированными у так называемых «белых» вплоть до начала 20-х годов. Формула «белогвардейская рать святая» из триптиха «Дон» [I, 390] была, в сущности, оксюморонной, равно неприемлемой как для «красных», так и для их противников.

Вторым, после Цветаевой, автором, преодолевшим табу на использование выражения «Белая гвардия» в позитивном контексте, был М. Булгаков. Его роман под этим названием вышел в 1925 г., а упоминание о нем в печати появилось двумя годами ранее. Однако «Белая гвардия» у Булгакова остается метафорой, а не термином летописца Белого движения, на звание которого претендовала Цветаева («Белый поход, ты нашел своего летописца...») [I, 572]. Герои булгаковского романа, в полном соответствии с исторической реальностью, ни разу не называют себя и своих единомышленников на Дону и Кубани «белыми» или, тем более, «Белой гвардией».

Наименования, предложенные советской пропагандой, имели для Цветаевой достоинство краткости, а также образности; они позволяли оперировать цветовой дихотомией по историческим образцам, из которых наиболее очевидным был «Девяносто третий год» Гюго, где «белые» – вандейские повстанцы-роялисты, а «синие» – солдаты-республиканцы. (Весной 1919 г. Цветаева записывает в дневнике: «Перечитываю сейчас “Quatre-vingt-treize”

[“Девяносто третий год”, *франц.*]. <...> Каждая строка – формула. <...> Да. – Нет. – Черное. – Белое. – Добродетель. – Порок. <...> Роялист. – Республиканец»¹³.)

В наиболее сжатом виде цветаевская легенда «Белой гвардии» выражена в заключительном двустишии первого стихотворения триптиха «Дон»:

*Старого мира – последний сон:
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон* [I, 390].

Здесь «молодость» неожиданно становится защитницей «старого мира», а добровольческий «Дон» отождествляется с «Вандеей» – оплотом монархизма и истовой религиозной веры.

«Молодость» – постоянная характеристика «Белой гвардии» в ЛС: «Волны и молодость – вне закона!»; «Долг и Верность спустив с цепи, / Человек молодой – не спи!», и уже в 1921 г., в обращении к «белой» эмиграции: «С Новым Годом, молодая Русь, / За морем за синим!» [I, 391, 407; II, 9].

Другая постоянная характеристика «Белой гвардии» – ее рыцарственность: «белы-рыцари» [I, 384], те же «долг и верность» как рыцарские черты. Рыцарственность понимается в ЛС не только метафорически, но и в социально-сословном смысле («долг дворянский», «Дворянин, дорогу – дровосеку!») [I, 426, 465]. Эта последняя особенность опять-таки совершенно нехарактерна ни для идеологии «белых» в годы Гражданской войны, ни для шульгинской «белой идеи».

Мотив «молодой гвардии» и ее рыцарского служения не был чужд антибольшевистской публицистике. В феврале 1918 г., незадолго до создания триптиха «Дон», в газете «Вольный Дон» появились три сходные по духу статьи: Ник. Литвин, «Рыцари идут»; К. Шадринцев, «Гвардия молодости»; Ник. Арсеньев, «Во имя России».

Перед нами первые наброски легенды «Белой гвардии», хотя сам этот термин табуирован. Авторы обращаются к традиции и риторике «освободительного движения в России», начиная с декабристов (ср. в ЛС: «Свобода! – Прекрасная Дама / Маркизов и русских князей») [I, 351], а Ник. Литвин – еще и к донской традиции «казацкой вольности». Однако теперь Россию надлежало

освобождать не от гнета самодержавия, а от деспотизма большевиков. Главное же – «новому рыцарству» предстоит искупить «всю мерзость <...> преступлений, лежащих на русском народе»¹⁴. И это уже совершенно новый мотив, не сочетающийся с прежним «освобожденством», зато во многом близкий к осуждению «черни» в ЛС. «Молодая гвардия» понимается как избранное, жертвенное меньшинство; его рыцарское служение – служение уже не «народу», а *России как некой идеальной сущности*. Но, разумеется, ни о какой защите «старого мира» речь не шла. «В этих юношах и мальчиках, – писал Арсеньев, – рождается, более того – уже родилась *обновленная, новая Россия*»¹⁵ (курсив мой. – К. Д.). Эти идеи и образы впоследствии прочно войдут в легенду «белой гвардии», хотя едва ли ее творцы были знакомы с публицистикой «Вольного Дона» февраля 1918 г.

Уподобление Дона Вандее было общим местом тогдашнего политического языка. Однако М. Шкапская делает существенную оговорку: «Дон, эта своеобразная русская Вандея – Вандея без роялистов и без роялизма»¹⁶. Цветаева уподобляет Дон Вандее без оговорок, хотя она не могла не знать, что добровольческое движение, тем более на его раннем этапе, не было монархическим. Цветами «Корниловского полка», прихода которого так ждала Цветаева, были черный и красный, и этими цветами корниловцы были обязаны Февральской революции. (В 1917 г. красная полоса на нарукавных повязках новых ударных частей толковалась как «символ борьбы за свободу», а черная – как символ «нежелания жить, если погибнет Россия»¹⁷.)

Дон и Кубань первых месяцев 1918 г. скорее можно было уподобить Жиронде, чем Вандее. В первые годы эмиграции это наименование неоднократно применялось и к Белому движению в целом. Стихотворный фельетон Дон-Аминадо о «белой» эмиграции (1920) назывался «Жиронда». Б.А. Энгельгардт, октябрист – т.е., по тогдашней мерке, консерватор, – беседуя с Керенским сразу после Февраля, говорил: «Победу-то я вижу, но невольно с грустью вспоминаю об участии жирондистов...» Встретившись с Керенским уже в эмиграции, Энгельгардт замечает: «...Теперь, в Париже, мы встретились оба в одинаковой роли жирондистов, благополучно ускользнувших от якобинцев...»¹⁸ В 1921 г. право-монархический (т.е. черносотенный) публицист именуется вождем

Добровольческой армии «плеядой революционных генералов», предавших дело монархии¹⁹.

Стоит еще отметить, что «Белый поход» в ЛС – это поход Добровольческой армии, с которой и отождествляется Белое движение в целом. Тут Цветаева была не одинока: то же мы видим в 1921 г. у Шульгина. Добровольческое движение появилось раньше всего (если начинать отсчет с корниловского выступления) и последним сошло со сцены. Только оно и в эмиграции сохраняло нить идейной, кадровой и организационной преемственности.

Нередко указывается, что в одном из заключительных стихотворений ЛС «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..» «белое» и «красное» как бы уравниваются:

*Где свой, где чужой?
Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила²⁰.*

Близкую параллель можно найти в «Девяносто третьем годе» Гюго. Здесь маркитантка, которая поит всех раненых – «и синих и белых», объясняет: «Умирают все, без различия убеждений. Умиравшим надо бы помириться»²¹. Однако – и это принципиально важно – Гюго признает часть правоты за обеими сторонами и видит своих «рыцарей» как у близких ему «синих», так и у «белых». Цветаева в ЛС никакой правоты, а тем более рыцарства за «красными» не признает. «Красное» и «белое» уравниваются только в могиле.

Монархизм и «аристократизм» ЛС

Начиная с первых стихотворений цикла, написанных вскоре после крушения монархии, для ЛС характерен последовательный, едва ли не эпатажный монархизм. «Белое движение» понимается как реставраторское, как восстановление исторической, царской России. При этом монархические образы и символы черпаются одновременно из русской и французской истории, например: «Бледный праведник грозит войной Содому / Не мечом – а лилией в щите!» [I, 410]. В контексте ЛС с его постоянным обращением

к сюжетам Французской революции лилия воспринимается не просто как символ чистоты и непорочности, но также как символ традиционной французской монархии.

Религиозная линия, одна из центральных в ЛС, была заметна в идеологии «белого» движения, но последовательный, жертвенный монархизм в духе французских роялистов – не более чем «авторская» легенда Цветаевой. Борясь с восприятием триколора как «царского флага», так называемые «белые» даже ссылались на западные республиканские образцы, включая наследие Великой французской революции. Три цвета русского знамени, писала «колчаковская» газета, «взяты Петром у голландской республики. <...> У наших верных друзей-французов на знаменах те же цвета, только в другом порядке, и <...> означают они у них: “Свобода, равенство, братство”»²².

Даже в конце 20-х годов Цветаева в поэме «Перекоп» приписывает врангелевским войскам лозунг «За Царя и Русь!» Под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество» выступала в июле 1918 г. правомонархическая и прогерманская Астраханская армия (существовавшая очень недолго), но для Добровольческой, а затем врангелевской армии этот лозунг был совершенно неприемлем, независимо от монархических симпатий некоторой части офицерства.

Д. Фельдман объясняет монархизм ЛС тем, что советским идеологам удалось навязать общественности – и Цветаевой в том числе – пропагандистскую схему: «Если “белый”, значит, монархист»²³. Но это объяснение не согласуется с семантикой «белого» в советской печати периода создания ЛС. Понятия «белогвардейцы», «белые», «белый террор» ассоциируются здесь с буржуазной контрреволюцией, а не с монархизмом. Постоянный эпитет «белой гвардии» – «буржуазная». Основное противопоставление шло не по линии «республика – монархия», а по линии «буржуазно-помещичья» – «рабоче-крестьянская власть».

Конечно, обвинения противника в монархических замыслах не были редкостью, но они обычно не связывались с французской символикой «белого» как монархического, например: «Из зеленых попугаев либерализма [кадеты] <...> превратились в черных воронов монархической реставрации»²⁴. Зеленый был партийным цветом кадетов, а «черный» – цветом русских монархистов в политическом языке; после Февраля «белый» в этом значении

практически исчезает. В зарубежной русской печати антибольшевистские силы именуются «белыми» без коннотации между «белым» и монархическим – даже в критических высказываниях, – притом что коннотация «черного» с монархизмом сохраняется в эмигрантской печати еще и в 20-е годы.

Разумеется, монархизм ЛС, так же как демонстративный аристократизм этого цикла, вплоть до восхваления понятий «раса» (в смысле «порода») и «белая кость», были насквозь романтическими, умозрительными, можно даже сказать – книжными. В статье «Бальмонту» (май 1920 г.) Цветаева «яростно рукоплещет» Сологубу, сказавшему на чествовании Бальмонта: «Демократические идеи для поэта – игра, как монархические идеи, поэт играет всем. Единственное, чем он не играет – слово»²⁵.

За видимой оппозицией «чернь – белая кость» скрывается гораздо более важная для Цветаевой оппозиция «культура – варварство». То же можно сказать о творчестве позднего Блока, но Блок делает выбор в пользу «нового варварства» против «старой культуры», Цветаева же выбирает культуру и рыцарский этос. А рыцарский этос требует опоры в высших традиционных ценностях: Бог, Монарх, Честь – как личная, так и честь рода. (Тут Цветаева, как неоднократно было замечено, сближается с Гумилевым.) «Честь рода» в ЛС трансформируется в причастность к отечественной истории, начиная с «белого дела» князя Игоря Святославича [II, 7].

О французском девизе в ЛС

Частое в ЛС обращение к французским историческим образцам в немалой степени обусловлено тем, что традиция рыцарства, столь важная для цветаевского образа «Белой Гвардии», была по преимуществу традицией западной. Одним из таких образцов был монархически-рыцарский эпиграф к включенному в ЛС мини-циклу «Памяти А.А. Стаховича» (весна 1919 г.).

Эпиграф представляет собой краткое четверостишие:

*A Dieu – mon ame,
Mon corps – au Roy,
Mon coeur – aux Dames,
L'honneur – pour moi.*

*(Господу – мою душу,
Тело мое – королю,
Сердце мое – дамам,
Честь – себе самому)* [I, 464].

Таким, или почти таким, мог бы быть девиз рыцарей «Белой гвардии», образ которой создан в ЛС.

Это четверостишие, по-видимому, возникло в среде монархической эмиграции на рубеже XVIII–XIX вв., после крушения «легитимной» монархии Бурбонов. На протяжении XIX в. оно цитировалось во французской печати в различных вариантах. Заметим, что вариант с «телом» (*mon corps*) вместо «жизни» (*ma vie*) крайне редок, а оригинальную пунктуацию Цветаева заменила своей собственной, используя четыре тире в четырех кратких строках.

Самое раннее из известных нам упоминаний этого девиза появилось в книге поэта и драматурга Огюста Крезе де Лессера «Путешествие в Италию и Сицилию в 1801 и 1802», опубликованной в 1806 г.: «На стенах гостиницы в Турине я нашел это четверостишие, не вполне правильное, но благородное по своему чувству и удивительно верное:

*A Dieu mon ame,
Mon cœur aux dames,
Ma vie au roi,
L'honneur à moi.
[Богу – моя душа,
Сердце мое – дамам,
Жизнь моя – королю,
Честь – мне самому]*²⁶.

То же четверостишие (с перестановкой строк) выбрал своим гербовым девизом немецкий поэт-романтик Фридрих де ла Мотт-Фуке (1777–1843)²⁷. Его стихотворную повесть «Ундина» Цветаева знала с детства в переводе Жуковского, а в дневнике Цветаевой ла Мотт-Фуке упоминается почти рядом с четверостишием «*A Dieu – mon ame...*»

К тому же девизу восходит девиз герба князей Васильчиковых, утвержденный в 1840 г.: «Жизнь – царю, честь – никому»²⁸.

В «исправленном» виде девиз Васильчиковых был использован Добровольческой армией. В 1919 г. на Юге России был снят агитационный антибольшевистский фильм «Жизнь – родине, честь – никому». Как видим, место «царя» здесь заняла «родина», в полном согласии с официальной идеологией Белого движения.

Чуть раньше, чем в стихах памяти Стаховича, тот же эпиграф появился у Цветаевой в пьесе в стихах «Фортуна» с подписью: «Старинный девиз». Это лишнее свидетельство того, сколь важен он был для автора, притом что его отнесение к герою пьесы, герцогу Бирон-Гонто, выглядит парадоксом. Сразу после начала Французской революции Бирон-Гонто перешел на ее сторону, успешно сражался против роялистов в Вандее и был казнен якобинцами по ложному обвинению. Строка девиза «Тело мое – королю» никак не могла к нему относиться. В сущности, то же касается и строки «Господу – мою душу»: аристократ, перешедший в стан революции, едва ли отличался глубокой религиозностью. Наконец своей сословной честью герцог легко пожертвовал, соглашаясь служить под начальством цареубийц. Безусловно верно лишь то, что в сердце герцога нашлось место для множества «прекрасных дам».

* * *

При жизни Цветаевой лишь отдельные стихотворения из ЛС печатались в эмигрантской периодике. Отдельным изданием цикл был опубликован только в 1957 г., а в СССР – в 1990 г. В 1920–1930-е годы он не оказал сколько-нибудь заметного влияния на апологетов Белого движения, но в 1956 г. Глеб Струве уже называет его «поэтическим памятником добровольческому рыцарству», подобного которому «никто из самих участников Движения не создал»²⁹.

Гораздо сильнее, чем на эмигрантов первой волны, знакомых с Белым движением не понаслышке, ЛС повлиял на позднее-советского читателя (задолго до 1990 г. цикл широко ходил в Самиздате), но особенно – на читателя постсоветского. В современной русской культуре, а пожалуй, и в массовом историческом сознании образ Белого движения сформирован в немалой степени именно «Лебединым станом».

-
- ¹ См., напр.: *Клинг О.* Поэтический мир Марины Цветаевой. – М., 2004. – С. 92; *Спесивцева Л.В.* Творчество М.И. Цветаевой 1910–1920-х годов: Традиции символизма и авангардизма. – Астрахань, 2008. – С. 66.
 - ² *Зубова Л.В.* Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. – Л., 1989. – С. 117–118.
 - ³ *Цветаева М.И.* Неизданное. Записные книжки. – М., 2000. – Т. 1. – С. 243.
 - ⁴ *Душенко К.В.* Красные и белые: Символика цвета в политическом языке // *Символическая политика: Сб. науч. трудов.* – М., 2015. – Вып. 3. М.: ИНИОН РАН, 2015. – С. 255–297.
 - ⁵ *Эфрон С.* Записки добровольца. – М., 1998.
 - ⁶ Во имя Учредительного Собрания [передовая статья] // *Правда.* – М., 1918. – 5 июня. – С. 1.
 - ⁷ *Душенко К.В.* Цит. соч. – С. 286–287.
 - ⁸ *Окунев Н.П.* Записки москвича. – Париж, 1990.
 - ⁹ *Кудрявцева Е.Л.* «Белая гвардия, белый сон...»: Архивные материалы как основа работы с поэтическим текстом // «Мой знак пред жизнью – вереск гор...»: Русская эмиграция в архивах Швейцарии / Сост. Е.Л. Кудрявцева, Г. Риггенбах. – М., 2003. – С. 342.
 - ¹⁰ Там же. – С. 366.
 - ¹¹ *Цветаева М.И.* Собр. стихотворений, поэм и драматических произв.: В 3 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 385.
 - ¹² Среди множества прямых заимствований из политического языка эпохи отметим «красную тряпку»: «Коли красною тряпкой затмили – Лик» [I, 396]. Наименование красного флага «красной тряпкой» появилось в монархической печати еще в годы Первой русской революции; после Октябрьского переворота оно стало обычным как в устной речи противников большевиков, так и в антибольшевистской печати.
 - ¹³ *Цветаева М.И.* Неизданное. Записные книжки. – М., 2000. – Т. 1. – С. 201.
 - ¹⁴ *Арсеньев Ник.* Во имя России. Вольный Дон. – Новочеркасск, 1918. – 20 янв. – С. 2–3.
 - ¹⁵ Там же.
 - ¹⁶ *Шкапская М.* На Дону // *День.* – М., 1917. – 8 дек. – С. 2.
 - ¹⁷ *Колоницкий Б.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции 1917 г. – СПб., 2001. – С. 162. Отметим, что это один из многочисленных случаев, когда визуальная семантика цвета (в данном случае черного) не совпадает с его вербальной семантикой, о которой идет речь в данной статье.
 - ¹⁸ *Поликарпов В.Д.* Военная контрреволюция в России: 1905–1917. – М.: Наука, 1990. – С. 201.
 - ¹⁹ Передовая статья // *Двуглавый орел: Орган монархической мысли.* – Берлин, 1921. – 1/14 марта, № 3. – С. 2–3. (Автор, вероятно, Н.Е. Марков 2-й.)

- ²⁰ Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 576. Далее ЛС цитируется (в скобках после цитаты) по тому же изданию: номер тома – римскими цифрами, номер страницы – арабскими.
- ²¹ Hugo V. Quatrevingt-treize. – Paris, 1874. – Т. 1. – Р. 22.
- ²² Знамя // Отечество. – Пермь, 1919. – 30 июня. – С. 1.
- ²³ Фельдман Д. Красные белые: Советские политические термины в историко-культурном контексте // Вопросы литературы. – М., 2006. – № 4. – С. 11.
- ²⁴ Передовая статья // Правда. – М., 1918. – 20 июля. – С. 1.
- ²⁵ Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1994. – Т. 4. – Кн. 1. – С. 9.
- ²⁶ Creuzé de Lesser A. Voyage en Italie et en Sicile, fait en 1801 et 1802. – Paris, 1806. – Р. 21.
- ²⁷ Zoosman R. Zitatenschatz der Weltliteratur. – Berlin, 1961. – S. 115.
- ²⁸ Корф М.А. Записки. – М., 2003. – С. 109.
- ²⁹ Струве Г. Русская литература в изгнании. – М., 1996. – С. 113. (1-е изд.: Нью-Йорк, 1956.)

А.М. Ранчин

**БЛОК, МАНДЕЛЬШТАМ, ХЛЕБНИКОВ
И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
О ПОДТЕКСТАХ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИОСИФА БРОДСКОГО «УЗНАЮ ЭТОТ ВЕТЕР,
НАЛЕТАЮЩИЙ НА ТРАВУ...»**

Аннотация

В статье рассматривается стихотворение Иосифа Бродского «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» Доказывается, что литературный подтекст этого произведения образуют стихотворные тексты Александра Блока, Осипа Мандельштама и Велимира Хлебникова, посвященные русской революции. Революция мыслится Бродским как культурная катастрофа, с ней соотнесена личная драма автора – эмиграция и расставание с возлюбленной.

Ключевые слова: поэзия Иосифа Бродского, поэзия Осипа Мандельштама, поэзия Александра Блока, поэзия Велимира Хлебникова, литературные подтексты, интертекст, Октябрьская революция.

Ranchin A.M. *Alexander Blok, Osip Mandel'shtam, Velimir Khlebnikov and the October revolution: the literary subtext of the poem of Joseph Brodsky «I recognize this wind battering the limp grass...»*

Summary. The article discusses the poem of Joseph Brodsky «I recognize this wind battering the limp grass...» It is proved that the literary subtext of this work is constituted by the poetic texts of Alexander Blok, Osip Mandel'shtam, Velimir Khlebnikov which are dedicated to the Russian revolution. Revolution is treated by Brodsky as a cultural disaster, it correlates with the personal drama of the author – emigration and separation from the beloved.

Стихотворение «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» (1975), входящее в цикл «Часть речи» (1975–1976), неоднократно было предметом исследовательского внимания¹. Приходилось

о нем писать и мне. В этой статье я ограничусь только анализом поэтических подтекстов этого произведения, связанных с темой Октябрьской революции, – темой, которая подается Бродским прикровенно, посредством тайнописи – так, что на первый (а может статься, «и на второй») взгляд никаких отсылок к этому историческому событию в стихотворении попросту нет.

Перечитаем текст.

Строки 1–4:

*Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложающуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обгаренный князь².*

Это узнавание конечно же не может быть понято буквально. Один из инвариантных мотивов цикла «Часть речи» – расставание с родиной, причем он представлен сразу, в первом из стихотворений: «уже не ваш, но / и ничей верный друг вас приветствует с одного / из пяти континентов, держащегося на ковбоях; / я любил тебя больше, чем ангелов и самого, / и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих» («Ниоткуда с любовью, надцатого марта...» [II; 397]). Соответственно, подразумевается узнавание в американской осени, в американском листопаде – осени и листопада русских. (Цикл «Часть речи» создавался в эмиграции, спустя три-четыре года после того, как автор покинул родину.)

Но эта очевидная трактовка не разрешает всех недоумений. Неожиданным, внешне не мотивированным выглядит сравнение лежащей, никнувшей под ветром травы с *татарвой*. Уподобление листа *князю* мотивировано подразумеваемой ассоциацией «падающий [значит, осенний, красный] лист – обгаренный [окровавленный, израненный] князь». Но эта ассоциация сначала может показаться поверхностной и натянутой. Одна из мотиваций первого сравнения – языковая, построенная на паронимической аттракции *трава* – *татарва*. Сопоставление предстает своего рода лингвистическим метаописанием: как трава ложится под ветер, так и лексема ‘трава’ под лексему ‘татарва’. В ‘татарве’ как бы свернута ‘трава’: т[ата]рва.

Метаописательность вообще присуща Бродскому и, может быть, особенно циклу «Часть речи». Она задана уже заглавием

«Часть речи»: цикл – часть русской речи, часть русской поэзии, ее своеобразная манифестация. Поэтому закономерным был бы поиск интертекстуального ключа или ключей к образам травы – татарвы и листа – князя. Один из этих ключей спрятан в стихотворении Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» (1931). Есть в нем и «татарва», и ассоциативно связанные с ней «князья». Приведем соответствующие строки и – для необходимого понимания их – ближайший контекст:

*Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье³.*

Из различных существующих толкований этого стихотворения мне представляется предпочтительной интерпретация М.Л. Гаспарова: «Обращено стихотворение, вероятнее всего, к русскому языку. Сквозной образ стихотворения – колодезные срубы: в первой строфе на дне их светится звезда совести (образ из Бодлера), во второй расовые враги топят в них классовых врагов <...>. Это значит: <...> поэт <...> принимает на себя смертные грехи народа, которому он чужд. <...> Мы видим, что отношение поэта к отвергнутому современному миру сложнее, чем кажется с первого взгляда»⁴.

Интерпретация М.Л. Гаспарова нуждается лишь в одной корректировке. И.З. Сурат совершенно справедливо отводит мнение, что адресатом этого «темного» стихотворения является русский язык: «<...> Разве русский язык требует от поэта тех жертв, о которых дальше идет речь? Этих жертв может требовать только народ, а точнее – поэт сам готов идти на любые жертвы ради того, чтоб народ признал его своим, ради сохранения связи с народом через поэтическую речь и общую историю. “Привкус несчастья и дыма”, “смола кругового терпенья”, “совестный деготь труда” – это те свойства поэзии, которые делают ее близкой народу, лежат в основании их общности»⁵. Исследовательница оспаривает мнение

М.Л. Гаспарова, но он лишь повторил трактовку, принадлежащую О. Ронену⁶.

Упоминание о «князьях», опускаемых в «срубы» на «бадь», отсылает у Мандельштама, очевидно, не только к давней русской истории, к временам монголо-татарских нашествий (впрочем, такой эпизод в точности, кажется, не известен), но и к событию недавнего прошлого – к убийствам большевиками великих князей и княгинь из дома Романовых, тела которых были сброшены («опущены») в шахты. Помимо великих княжон и наследника цесаревича Алексея – детей последнего российского императора, сброшенных в шахту после расстрела вместе с родителями, это великая княгиня Елизавета Федоровна и князя Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Константин Константинович и Иоанн Константинович, в ночь на 18 июля 1918 г. сброшенные в шахту Нижняя Селимская недалеко от города Алапаевска (все они, кроме великого князя Сергея Михайловича, были сброшены в шахту живыми)⁷. Замена реальных шахт на колодезные «срубы», в частности, по-видимому, мотивирована чеховским интертекстом: в комедии «Вишневый сад» упоминается звук, похожий на звук лопнувшей струны; возможным источником этого звука оказывается упавшая бадня в *шахте*. Автор стихотворения «Сохрани мою речь за привкус несчастья и дыма...», вспоминая события революции и послереволюционного времени, мог истолковать чеховский образ-символ как эсхатологический, а «бадня» из «Вишневого сада» естественно рождала ассоциации шахты с колодцем.

В стихотворении Бродского от мандельштамовской противоречивой «готовности-неготовности» принять недавнее прошлое и выросшее из него настоящее советской России ничего не остается. Воспоминание о «татарве», расправляющейся с князьями, предстает здесь как символ кровопролитной, жестокой истории Отечества как старинной, так и не столь недавней. Мандельштамовская «татарва», как справедливо указал С.Г. Шиндин, ассоциируется с новым советским «варварским» поколением⁸.

Соседство *травы*, словно *лежащей под татарву*, о которых говорится в первых двух строках стихотворения Бродского, с раненым *князем*, очевидно, мотивировано историей далекого прошлого – событиями 1223 г., первого столкновения русичей с монголо-татарами – битвы при Калке. Это история гибели

Мстислава Романовича Киевского и его двух зятьев – князей Андрея и Александра Дубровецкого, защищавших укрепленный стан и сдавшихся татарам только на условии сохранения жизни себе и своим ратникам, но обманутых. Свидетельства об их трагической и позорной смерти Бродский, несомненно, знал, так как они постоянно повторяются не только в научных трудах, но и в популярных исторических сочинениях, и в различных курсах и учебниках истории. Приведу эти известия в изложении Н.М. Карамзина, чью «Историю государства Российского» Бродский, несомненно, ко времени написания стихотворения прочитал: «Остервенелые жестоким сопротивлением великодушного Мстислава Киевского, и вспомнив убиение своих Послов в нашем стане, Моголы изрубили всех Россиян, трех Князей задушили под досками, и сели пировать на их трупах!»⁹ Известие о гибели трех князей восходит к свидетельству Тверской летописи под 6732 (1224) г.: татары «князей издавиша, подкладше подъ доски, а сами на верху сѣдоша обѣдати, и тако издохошася и животь свой скончаша»¹⁰.

Расправа, учиненная монголо-татарами над тремя князьями, и убийство большевиками родственников и свойственников Николая II для Бродского, по-видимому, символически смыкаются и перекликаются, осознаются поэтом как вехи, знаменующие торжество деспотизма, некоей метафорой которого становится «татарщина» ('азиатчина').

«Татарва» в стихотворении Бродского может полемически отсылать к поэзии Александра Блока. В тексте Бродского (строки 5–6) осень растекается «широкой стрелой по косо́й скуле / деревянного дома в чужой земле». «Стрела», особенно с эпитетом «широкая», поданным как трансформация исходной лексемы «широкоскулая», напоминает о блоковской «стреле татарской древней воли» из цикла «На поле Куликовом»¹¹. Напоминает скорее полемически, так как «татарва» в произведении Бродского никак не ассоциируется со свободой. В блоковском цикле «русское» и «татарское» одновременно противопоставлены и родственны друг другу: они символизируют два лика, две «ипостаси» русской души, причем «татарское» – 'природное, стихийное, хаотическое' – предстает воплощением души народной, а символическая, повторяющаяся, «вечная» встреча-битва на Куликовом поле трактуется как своеобразный символ тогда еще лишь возможной революции,

о чем свидетельствует автоинтерпретация цикла в блоковской статье «Народ и интеллигенция». Еще позже в стихотворении «Скифы» поэт выразит и приветствует Октябрьскую революцию, ее обновляющую стихию, представив себя и соотечественников в образе степняков-скифов. Скифы, в отличие от татар, не были тюрками, но Бродский, отвергающий блоковский гимн революции, вполне мог приравнять их татарам: ведь у поэта-символиста скифы подобно татарам – «азиаты <...> / С раскосыми и жадными очами»¹².

Ветер в стихотворении Бродского, несомненно, соотносится с ветром из Плача Ярославны, несшим «хиновъския стрѣлки» на войско Игоря, так же как ложащаяся под его порывами трава – с травой, которая после поражения новгород-северского князя «ничить жалощами»¹³. Но одновременно ветер, пригибающий долу траву, подобно тому как «татарва» «давит» русских князей, и символизирующий некое властное, исполненное губительной силы начало, ассоциируется с ветром – символом революции, ее великой и страшной «музыки» в блоковской поэме «Двенадцать», символом, замыкающим в кольцо композицию поэмы¹⁴. В первой главке поэмы он описан в строках:

*Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всем божьем свете!*¹⁵

Вероятная интертекстуальная связь с блоковским произведением имеет в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» особенный характер: это не преемственность, а своеобразный разрыв: вместо грандиозной символической картины, вместо космического ветра Революции – ветер «обычный», «природный», вместо символа – предметная, пейзажная, казалось бы, деталь. Красный («как обгаренный князь») осенний лист, падающий под ветром в «придорожную грязь», может быть соотнесен с образом ветра в последней, 12-й главке поэмы: «Ветер с красным флагом / Разыгрался впереди»¹⁶. Но у Блока ветер и флаг как бы соприродны, принадлежа к одному символическому ряду, в то время как Бродский противопоставляет стихийный и враждебный («татарский») ветер листу-«князю» – его жертве. При этом если

Блок создает символы, то автор стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» прибегает к (квази)предметным образам с полуприкрытой тропеической семантикой, проявляющейся благодаря литературному подтексту.

Бродский Блока как «певца Революции» любить не мог. Однако ему была чужда и поэтика автора «Двенадцати» и «Скифов». Свидетельства тому – и оценка блоковской трактовки петербургской темы как «банальной», и аттестация Блока как «наиболее безвкусного крупного русского поэта», и откровенное признание: «Блока <...> я не люблю, теперь пассивно, а раньше активно. <...> За дурновкусие»¹⁷. Эти декларации и оценки подтверждаются на примере рассматриваемого поэтического произведения: в строках стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» соотносимость с блоковскими текстами – неявная, замаскированная и полемическая.

Конечно, «татарский» пласт стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» перекликается не только с блоковскими «татарско-скифскими» мотивами. Интертекстуальные связи этого пласта более сложны: это и «Фелица» Державина, в которой акцентировано татарское происхождение автора, и другие его стихи (например, «Видение мурзы»), и мандельштамовские «Стихи о русской поэзии», в которых образ Державина овеян теми же «татарскими» ассоциациями¹⁸. Кроме того, татарская тема и «кайсацкое имя», которое «язык во рту / шевелит в ночи, как ярлык в Орду» (строки 11–12), отсылает к мотиву разлуки автора с возлюбленной – Мариной (Марианной) Басмановой, к ее тюркским корням и к ассоциациям, которые рождает ее фамилия (ср. слово *басма* – ‘пропуск в Орду’)¹⁹.

Теперь обратимся к стихам 9–10 из последнего катрена этого текста:

*И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку...*

С.Н. Бройтман и Х.-Е. Ким исходную, правильную синтаксическую структуру этих строк восстанавливают так: «[С]трока “я не слово о номер забыл говорю полку” требует, чтобы мы для устранения очевидной бессмыслицы соединили “слово о” не

с находящимся рядом (“номер”), а с далеко отстоящим “полку” – и тогда восстанавливается фрагмент фразы: “Слово о полку [Игоре-реве]”, особенно учитывая заданные вначале мотивы “князя” и “набега”. Так прочитанная фраза отсылает нас к метатекстуальному уровню художественной реальности, к Слову, и одновременно позволяет увидеть здесь еще одну реминисценцию из метастихотворения Мандельштама: “Я слово позабыл, что я хотел сказать...”²⁰.

На мой взгляд, С.Н. Бройтман и Х.-Е. Ким реконструируют исходную синтаксическую структуру строк Бродского верно, но односторонне: вполне возможна, например, и исходная конструкция: «Я говорю полку, [что] забыл не слово [вариант: не Слово о полку], а номер»; возможны и иные реконструкции²¹. Строка Бродского предстает синтаксически аморфной и семантически многозначной. Своеобразным автометаописанием многозначного текста являются последняя и предпоследняя строки стихотворения, в которых лексема «язык» означает одновременно и ‘орган речи’, и ‘пленный, от которого можно узнать нужные сведения’. Текст Бродского не линейен – компоненты высказывания, составляющие анализируемую строку, могут менять свои места. Высказывание образуется каждый раз заново, как мозаичный рисунок в калейдоскопической трубке. Текст не обладает неким заданным смыслом, – этот смысл (вос-)создается читателем стихотворения.

Начало стихотворения, содержащее мотив узнавания, контрастирует с концовкой, в которой говорится о забывании, причем в плане выражения это забывание проявляется в разрушении имени (названия) древнерусской «песни», которое разорвано на отдельные лексемы. (Строго говоря, «забыто», выпало из текста как раз имя – «Игоре-реве».) Но одновременно именно благодаря упоминанию в финале о «Слове...» – ключе к тексту – начинает работать механизм памяти и узнавания, и власть поэзии торжествует над «дырявой» памятью лирического «я»: читатель должен по крупинкам собрать рассыпанное по всему стихотворению «золото» «Слова...»²².

У разрушения, которому Бродский подвергает название древнерусской «песни», по-видимому, есть прецедент в русской поэзии. Это строки поэмы – «сверхповести» Велимира Хлебникова

«Война в мышеловке», где сказано о земле, преображенной эсхатологической катастрофой:

*И когда шар земной, выгорев,
Станет строже и спросит: «Кто же я?» –
Мы создадим «Слово Полку Игореве»
Или же что-нибудь на него похожее»²³.*

Конечно, хлебниковская трансформация заглавия не столь радикальная, как у Бродского: вычеркивание предлога *о* не приводит к утрате смысла и к исчезновению названия «Игоревой песни», благодаря этому происходит смена падежа (предложного на дательный) и получается, что древнерусское творение – это не повествование об Игоре-вом походе, а посвящение Игорю и его воинству. Футурист Хлебников пишет не о разрыве с традицией, а о ее обновлении и о создании прежде написанного заново, его «сверхповесть» проникнута пафосом, радостным чувством революционного первотворчества. «Война в мышеловке» создавалась в несколько этапов, объединение разрозненных стихотворений в поэму происходило в 1919 г., а затем в 1922 г. сложилась новая редакция. «Война в мышеловке» – произведение революционное как по своей поэтике, так и по своему тону, рожденное 1917 г. Порой этот тон, этот настрой приобретает почти лозунговые формы выражения, как в строках из 17-й главки (нумерация главок принадлежит публикаторам и, возможно, не вполне отражает гипотетический авторский замысел): «Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы»; «Да будет народ государем, / Всегда, навсегда, здесь и там!», «Самодержавный народ»²⁴.

У Бродского же мерцающая, пульсирующая в подтексте стихотворения память о 1917 г. – это память о катастрофе. Утопические чаяния и революционный пафос «будетлянина» поэту глубоко чужды. Память мучительно пытается собрать разбитое, расколотое название древнерусской «песни», а не создать такую же, обновленную.

Исследователи неоднократно задавали вопрос о том, что именно превращает в единое целое стихотворения, объединенные под общим названием «Часть речи», и затруднялись с ответом: «<...> Остается непроясненным, как стихотворения, составляющие художественное целое, связаны между собой и в какой логике рас-

положены внутри цикла»²⁵; «<...> Нет ни одной подсказки, что же объединяет собранные в цикл стихи»²⁶.

Однако на тематическом уровне связность цикла несомненна и достаточно прозрачна. В нем есть три инвариантные темы, объединенные общей семантикой разлуки, разрыва и их преодоления в слове, в творчестве: тема расставания с родиной, тема расставания с возлюбленной, тема «расставания» с Языком. Тема распада языка и разрыва с ним появляется еще в одном из первых поэтических текстов, написанных в эмиграции:

*Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы...*
(«1972 год» [II; 292])

В стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» все три темы звучат весьма отчетливо. При этом своеобразным метаописанием трех «разлук», трех «разрывов» становится революция 1917 г. – катастрофическое событие, полузашифрованное в подтексте благодаря аллюзиям на стихи Мандельштама, Блока и Велимира Хлебникова, рожденные этой революцией и в той или иной степени ей посвященные.

Единственным же средством преодоления этих «разрывов» остается память, запечатленная в слове. Как сказано в другом стихотворении, входящем в цикл «Часть речи»:

*Зазимую же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда – взглядом,
за бугром в чистом поле на штабель слов
пером кириллицы наколов.*
(«Заморозки на почве и облысение леса...» [II; 411])

¹ См., например: Бройтман С.Н., Ким Х.-Е. О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи» // Поэтика Иосифа Бродского: Сб. научных трудов. – Тверь, 2003. – С. 335–337; Двинятин Ф. Еще о межъязыковых звуко-смысловых соответствиях в поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 112. – С. 288–298; Левинг Ю. Иосиф Бродский

- и Андрей Тарковский (Опыт параллельного прочтения) // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 112. – С. 273–287.
- ² Бродский И. Сочинения: В 4 т. Т. 2. – СПб., 1992. – С. 399. В дальнейшем стихотворение цитируется по этому изданию без указания страниц, цитаты из других стихотворений Бродского даются по этому изданию с указанием тома (римской цифрой) и страниц (арабскими цифрами) в тексте статьи.
- ³ Мандельштам О. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца; Сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. – СПб., 1995. (Серия «Новая Библиотека поэта»). – С. 203.
- ⁴ Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. – С. 44.
- ⁵ Сурат И. Мандельштам и Пушкин. – М., 2009. – С. 179.
- ⁶ См.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. – СПб., 2002. – С. 49.
- ⁷ На этот реальный подтекст мандельштамовского стихотворения впервые указал О. Ронен: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. – С. 51.
- ⁸ Шиндин С.Г. К интерпретации стихотворения Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда...» // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. – М., 2000. – С. 642.
- ⁹ Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. / Отв. ред. А.Н. Сахаров; Подгот. текста В.Ю. Афиани, В.М. Живова, В.П. Козлова. – М., 1991. – Т. 2–3. – С. 487.
- ¹⁰ Полное собрание русских летописей. – М., 2000. – Т. 15. Рогожский летописец. Тверской сборник. Стб. 342.
- ¹¹ Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. / Под общ. ред. В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И. Чуковского. Т. 3: Стихотворения и поэмы. 1907–1921. – М.; Л., 1960. – С. 249. Лев Лосев посчитал цикл А.А. Блока «На поле Куликовом» основным претекстом для стихотворения Бродского; см.: Лосев Лев. Примечания // Бродский И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева. – СПб., 2011. (Серия «Новая Библиотека поэта»). – Т. 1. – С. 615.
- ¹² Там же. – С. 360.
- ¹³ Слово о полку Игореве / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. – М.; Л., 1950. (Серия «Литературные памятники»). – С. 27, 17.
- ¹⁴ См. об этом: Эткинд Е. «Демократия, опоясанная бурей». Композиция поэмы А. Блока «Двенадцать» // Эткинд Е. Там, внутри. О русской поэзии XX века: Очерки. – СПб., 1995. – С. 114–133.
- ¹⁵ Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. – С. 347.
- ¹⁶ Там же. – С. 358.
- ¹⁷ Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступит. ст. Я. Гордина. М., 1998. С. 22, 155, 228.
- ¹⁸ См.: Бройтман С.Н., Ким Х.-Е. О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи». – С. 336–337.
- ¹⁹ См. об этом: Левинг Ю. Иосиф Бродский и Андрей Тарковский (Опыт параллельного просмотра). – С. 275, примеч. 10; Лосев Лев. Примечания //

Бродский И. Стихотворения и поэмы. – Т. 1. – С. 616; Двнятин Ф. Еще о межъязыковых звуко-смысловых соответствиях в поэзии Бродского. – С. 289, 297–298.

²⁰ Бройтман С.Н., Ким Х.-Е. О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи». – С. 336–337.

²¹ Я предлагаю десять возможных реконструкций исходных вариантов этого высказывания: см.: Ранчин А.М. О Бродском: Размышления и разборы. – М., 2016. – С. 153–156; первая публикация: Новое литературное обозрение. – 2002. – № 56 См. также: Двнятин Ф. Еще о межъязыковых звуко-смысловых соответствиях в поэзии Бродского. – С. 294–296. И.В. Фоменко склонен считать претекстом для строки Бродского абсурдную дату в «Записках сумасшедшего» Гоголя (Фоменко И.В. Цикл «Часть речи»: Опыт интерпретации // Иосиф Бродский: Проблемы творчества: Сб. научных трудов и материалов / Ред. А.Г. Степанов, И.В. Фоменко, С.Ю. Артёмова. – М., 2012. – С. 188), однако между стихом и записью нет по сути ничего общего: в отличие от строки поэта запись в повести не предполагает «правильной» реконструкции.

²² См. о реминисценциях из «Слова о полку Игореве» в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...»: Ранчин А.М. О Бродском. – С. 68–76. Впервые опубликовано: Ранчин А.М. «Слово о полку Игореве» в поэзии Иосифа Бродского: Несколько наблюдений к теме // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2007. № 5.

²³ Хлебников В. Творения / Общ. ред. и вступит. ст. М.Я. Полякова; Сост., подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. – М., 1986. – С. 455.

²⁴ Там же. – С. 461.

²⁵ Артёмова С.Ю. Человек vs поэт в цикле «Часть речи» // Иосиф Бродский: Проблемы творчества. – С. 199.

²⁶ Козлов В.И. Четыре подступа к циклу И. Бродского «Часть речи» // Пристальное прочтение Бродского: Сб. ст. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 111.

И.А. Едошина

**А.Н. ОСТРОВСКИЙ «ПО-СОВЕТСКИ»:
СЛУЧАЙ С.К. ШАМБИНАГО**

Аннотация

С.К. Шамбинаго, успешно изучавший древнерусскую литературу и фольклор, после октябрьского переворота 1917 г. вынужден был «укрыться» в творчестве А.Н. Островского, написав о нем несколько статей и биографическую книгу, которая вышла в 1937 г., к 20-летию со дня этого переворота.

Ключевые слова: фольклор, древнерусская литература, драматургия, Островский, «дело славистов», Ржига.

Edoshina I.A. A.N. Ostrovsky «in a Soviet way»: S.K. Shambinago's case

Summary. S.K. Shambinago, who was successfully studying Old Russian literature and folklore, after the October revolution of 1917 was forced «to take refuge» in A.N. Ostrovsky's creativity, having written about it several articles and the biographic book, which appeared in 1937, to the 20 anniversary from the date of this revolution.

Захватив в октябре 1917 г. власть, большевики сразу ввели жесточайшие репрессивные меры не только к тем, кто «не так думает» или «не так поступает», но и к тем, кто способен «не так думать» или «не так поступать», т.е. вразрез с большевистской идеологией. С другой стороны, жесткость репрессий была спровоцирована памятью «пламенных революционеров» о либеральном отношении к политическим заключенным в романовской России, что позволяло им убегать из мест отбывания наказания, в том числе и за границу. Такого насилия (физического и умственного) Россия еще не знала – недреманное око большевизма настигало человека везде: и дома, и на работе, и даже в его мыслях. Любой

человек мог быть обвинен в сопротивлении соврежиму и подвергнут наказанию – заключен в тюрьму, расстрелян.

Как прозорливо заметил В.В. Розанов, революция в России «сделана мошенниками», которые «берут тем, что они откровенны. “Хочу стрелять в брюхо”, – и стреляет»¹, ибо ничего другого они не умеют. В этих условиях тяжело приходилось всем, но особенно тем, кто понимал, что происходит, видел подлинную сущность большевизма, способного под лозунги заботы о народе лишь разорять и уничтожать этот самый народ, особенно думающий. Уже весной 1921 г. начинается процесс упразднения в вузах исторических, филологических и философских факультетов и кафедр. От большевизма можно было только убежать за границу (в первые пять-шесть лет) или, например, «спрятаться» в изучение классического наследия, «разрешенного» соврежимом. «Черные списки» по изъятию «вредной литературы» начиная с 1920 г. составляла Крупская. В эти списки угодили Платон, Кант, Шопенгауэр, Декарт, «История государства Российского» Карамзина, басни Крылова и Лафонтена, частично Гоголь, Лесков, Достоевский, русские народные сказки, «Аленький цветочек» Аксакова, весь Серебряный век и т.д. А.Н. Островскому «повезло» – не попал в черные списки верной ленинской соратницы, наверное, благодаря статьям Добролюбова, который был у большевиков в большой чести, ибо порвал со своим неправильным (церковным) родом и отрицал Бога. А заодно с Островским повезло тем, кто занимался исследованием его творчества. Правда, тоже не всем. Так, историка театра, автора статей о русском драматурге профессора Б.В. Варнеке (1874-1944) арестовали, допрашивали с пристрастием, и он умер в тюрьме, не подписав никаких признательных документов. Борису Васильевичу Варнеке было 70 лет! Но некоторым все же повезло, один из них – Сергей Константинович Шамбинаго (5 августа 1871 – 20 ноября 1948).

Он родился и умер в Москве (похоронен на Введенском кладбище, могила сохранилась). Рано потерял отца, детство его было не очень сытным, но наполненным материнской любовью и ранним, с пяти лет, пристрастием к чтению. Шамбинаго окончил 2-ю Московскую гимназию, увлекаясь, как и положено было в то время, естественными науками. Однако поступил на историко-филологический факультет Московского Императорского универ-

ситета, где на Шамбинаго оказал сильное воздействие профессор В.Ф. Миллер, который не только сформировал устойчивый интерес к этнографии в ее песенных и сказовых формах, но еще способствовал развитию изящества в изложении мыслей. Дипломная работа Шамбинаго «Бытовая сторона русского эпоса» (1894) получила золотую медаль. В 1906 г. он успешно защищает магистерскую диссертацию, посвященную «Повести о Мамаевом побоище», а через восемь лет – докторскую диссертацию «Песни времени царя Ивана Грозного», получает должность профессора Московского Императорского университета. Он исследует, комментирует и публикует «Сказание о Мамаевом побоище» (1907), «Слово о полку Игореве» (1912, 1913, 1917), «Песни-памфлеты XVI века» (1913), «Народные русские легенды» А.Н. Афанасьева (1914). Внимание Шамбинаго привлекает и русская литература. Так, в 1911 г. в Москве выходит его книга «Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь)», где уже во введении он связывает источник сверхъестественного в романтизме с фантастикой народных преданий и сказок². Иными словами, Шамбинаго не выходит за пределы своих профессиональных интересов, обнаруживая следы народной культуры в литературе. В эти же годы он активно исследует русский театр XVII–XVIII вв., публикуя статьи о театре времен Петра II и Анны Иоанновны, о театре скоморохов. Профессор в ту пору даже не догадывался, как его выручит это «хóжение» в русскую классику и театральное искусство, когда власть захватят большевики.

Шамбинаго старался никак не реагировать на происходящие события, спастись «в уголку жизни», переждать, когда все закончится, ведь никому в те годы не верилось, что большевики пришли надолго. Но устроители переворота кромсали и безжалостно резали по живому. В начале 1920-х годов Шамбинаго, как и большинство его коллег, оказался фактически без работы, мыкался по создаваемым в провинции рабоче-крестьянским университетам. Так, на некоторое время он оказался в Костроме, где в 1918 г. был открыт рабоче-крестьянский университет, просуществовавший, правда, всего года три. Шамбинаго был приглашен летом 1921 г. для чтения курсов по русской народной словесности³. В разное время в этом университете работали специалисты в области романо-германской филологии В.Ф. Шишмарев (1875–1957, за отстаива-

ние чести А.Н. Веселовского подвергался преследованиям) и М.А. Петровский (1887–1937, расстрелян), реставрации и исследования иконописи А.И. Анисимов (1877–1937, расстрелян), античной литературы С.И. Радциг (1882–1968), а также – пушкинист С.М. Бонди (1891–1983), автор спецкурса «Художественное творчество А.Н. Островского» А.А. Фомин (1868–1929), издатель первых книг В.В. Розанова, литературный критик П.П. Перцов (1868–1947), историк Н.И. Радциг (1881–1957, подвергался критике как «буржуазный» профессор). В этом университете работал и А.Г. Габричевский (1891–1968, прошел через советские тюрьмы и ссылки), один из будущих отцов-основателей Государственной академии художественных наук.

В Москве Шамбинаго перебивается случайными заработками. Так, в ноябре 1921 г. в связи с 250-летием русского театра он с большим успехом читает в Обществе любителей русской словесности доклад о первом театре на Руси (в основе давняя, еще из прежней жизни, статья). Усиленно работает над комментированием «Слова о полку Игореве».

Спасительным (в те годы, в отличие от нашего времени, еще не ушла дореволюционная традиция платить ученым за статьи и научное редактирование) для Шамбинаго оказался 1923 г., когда праздновался 100-летний юбилей со дня рождения А.Н. Островского. К этому времени Шамбинаго уже был членом Российской академии художественных наук (РАХН, 1921–1925, позднее ГАХН). В академии собрались все лучшие научные и художественные силы тогдашней России, пытаясь не только выжить, но и отстоять подлинное искусство, право художника на свободу самовыражения.

В рамках подготовки к юбилею Островского в академии было принято решение об издании двух сборников под общим заглавием «Островский и современники», составление одного из них поручено Шамбинаго. В результате под его редакцией выходит книга «Творчество А.Н. Островского. Юбилейный сборник», в котором Шамбинаго собирает исследователей разных аспектов в деятельности русского драматурга: А.А. Фомин (1868–1929), историк литературы и театра, библиограф; Н.П. Кашин (1874–1939), текстолог, исследователь; В.В. Яковлев (1880–1937), музыковед; П.А. Марков (1897–1980), театральный критик, историк и теоретик

русского театра; Б.В. Варнеке (1874–1944), историк театра; В.Г. Сахновский (1886–1945), режиссер и театровед⁴. Сам Шамбинаго публикует обширную статью «Из наблюдений над творчеством Островского», состоящую из трех разделов: «Ночи на Волге», «Театральный цех», «Стиль». «Ночи на Волге» – это название, данное Островским своему замыслу написать «целый ряд пьес под общим заглавием»⁵. Шамбинаго анализирует пьесы «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», указывая на *глубокое лирическое проникновение в драму души русского народа*; «Гроза», утверждая, что *сияющему миру прекрасной природы противостоит земная реальность тинистой пучины*; «Воевода, или Сон на Волге», определяя комедию как «произведение совершенно в стиле романтической драмы»⁶. В разделе «Театральный цех» Шамбинаго подчеркивает существенную связь актерского искусства со скоморошеством, находя подтверждение в пьесах Островского. В основе раздела о стиле – доклад, прочитанный Шамбинаго на заседании Общества истории литературы осенью 1921 г. Автор выявляет специфику речи персонажей в зависимости от тех социальных групп, к которым они принадлежат. Доклад Шамбинаго вызвал бурную полемику среди участников заседания⁷.

Не могу не отметить, что в этом сборнике авторы статей еще вполне свободны в высказывании своих мыслей, не омраченных большевистской риторикой. Но уже в конце 1920-х годов деятельность ГАХН подвергается резкой критике со стороны власти, а затем и вовсе закрывается, организаторы оказываются в заключении. А.Г. Челпанов, Г.Г. Шпет, М.А. Петровский будут расстреляны, другие получают разные сроки, среди них – А.Г. Габричевский и Б.И. Ярхо. Будет расстрелян, но по другому «делу» член ГАХН А.И. Анисимов.

Шамбинаго оставляет Островского и возвращается к любимому делу – изучению древнерусской литературы, благо в начале 1930-х годов большевики решили отметить 750 лет «Слову о полку Игореве». Эта страсть большевиков к юбилеям напоминает возложение цветов к могиле русской культуры, к могиле, которую они же и уготовили этой культуре, чтобы потом цинично *отмечать* круглые даты. Два профессора – С.К. Шамбинаго и В.Ф. Ржига – подготовили научную публикацию текста «Слова о полку Игореве»⁸, сделали вновь его переложение на современный русский

язык, снабдили справочным аппаратом. Текст «Слова о полку Игореве» на древнерусском языке был написан от руки художником из Палеха И.И. Голиковым, сопровождался его же рисунками. Роскошная книга вышла в 1934 г. в издательстве «Academia». В этом же году профессор В.Ф. Ржига был арестован по «делу славистов».

«Дело славистов» отражало подлинное отношение большевиков к русской культуре. Тогда, в 1934 г., в Москве и в городе на Неве арестовали тех, кто занимался изучением русской (шире - славянской) культуры и носил русские (шире - славянские фамилии). В.Ф. Ржига (1883–1860) по национальности был чехом, который, к своему несчастью, исследовал средневековую русскую литературу. Видимо, по замыслу большевиков, в русском прошлом не должно быть вообще ничего, этакая торричеллиева пустота, до их прихода (хорошо помню учебник «История СССР с древнейших времен»). Исходя из этой логики, «Слову о полку Игореве», в частности, под видом празднования юбилея, на самом деле была уготована роль лакмусовой бумажки: выявить тех, кто обнаруживает в прошлом что-нибудь достойное, обвинить их в русском фашизме и арестовать. Так появилось «дело славистов». В.Ф. Ржига проходил по одному делу с А.М. Селищевым, В.В. Виноградовым, А.Д. Седельниковым, М.Н. Сперанским, В.Н. Перетцем – блестящими именами в русской филологии. Всего было осуждено в обеих столицах 37 человек (филологи, искусствоведы, несколько химиков), из которых в советских концлагерях и тюрьмах сгинуло больше половины⁹.

Шамбинаго выручили фамилия и... Островский. Он буквально бросает любимое дело (народную и древнерусскую культуры) и к 20-летию со дня большевистского переворота пишет биографию драматурга, которая выходит в 1937 г. в серии «Жизнь замечательных людей». В те годы эта серия не имела твердых корочек, печаталась на бумаге среднего достоинства и должна была выполнять агитационную функцию: утверждать, что все лучшее явилось только с большевиками. В этом плане показательное объяснение Н.В. Водовозова в некрологе Шамбинаго. Стремясь объяснить причины обращения Шамбинаго к творчеству Островского, Водовозов находит ответ у самого Шамбинаго в его книге об Островском: «“В условиях капиталистической действительно-

сти подлинно народный театр осуществиться не мог, – его создает Великая пролетарская революция... В 1917–1918 годах, в разруху и голод, в репертуаре Малого театра числилось **восемь** возобновлений Островского... Великий драматург получил должную оценку и приблизился к народу, для которого в сущности всегда писал, мечтая о создании для него “образцового театра”, только при советской власти”¹⁰. С этим объяснением Водовозов, разумеется, полностью солидаризируется. Приведенные мной обстоятельства свидетельствуют совсем о другом: запуганный арестом своего коллеги, Шамбинаго пытается сохранить себе жизнь и пишет книгу по тем трафаретам, что утвердила новая власть. Но возникает великое «но». Даже загнанный и безмерно всего боящийся человек, если он талантлив, и в трафарете остается насколько возможно честным, а талантливым просто остается. В этом отношении книга С.К. Шамбинаго об А.Н. Островском является ярким и одновременно грустным (учитывая жизненный контекст автора) явлением в истории русской литературы.

Книга открывается следующим эпизодом: «В феврале 1847 г. у профессора теории словесности и литературы С.П. Шевырёва был устроен вечер. Собрались славянофилы – профессора Московского университета, сотрудники журнала “Москвитянин”, который Шевырёв издавал вместе с историком М.П. Погодиным. Хозяин предлагал гостям литературную новинку. Стройный, круглолицый юноша с рыжеватыми волосами, одетый по моде, даже щеголеват, с большой художественной выразительностью прочел свое драматическое произведение “Картина семейного счастья”. Хозяин, внимательно слушавший чтение, с восторгом обнял автора и во всеуслышание признал в нем литературный талант. К голосу Шевырёва в Москве прислушивались. “С этого дня, – говорил впоследствии А.Н. Островский, – я уверовал в свое призвание и стал смотреть на себя как на писателя”¹¹. Если смотреть на этот эпизод из сегодняшнего дня, то ничего особенного в нем нет, кроме замечательного владения словом, что было присуще Шамбинаго. А если вспомнить о времени, когда это слово писалось, то подобный эпизод был скрытым вызовом власти, что совершенно удивительно, поскольку в воспоминаниях современников Шамбинаго в советское время предстает человеком тихим и боязливым, хотя и могущим открыто вступить в филологическую полемику.

С.П. Шевырёв и М.П. Погодин являются в этом эпизоде без присущих тому времени ярлыков, основанных, в частности, на статье Г.В. Плеханова «М.П. Погодин и борьба классов» (1911, включена в 23-й том собрания сочинений Плеханова, том вышел в 1926 г.), где оба причислены к представителям реакции, которые боятся революции, отрицают классовую борьбу и (ужас!) выступают заодно со славянофилами. А в приведенном эпизоде (напомню, этим эпизодом открывается книга) Шевырёв подается как уважаемый профессор, издающий с Погодиным (о котором в официальных большевистских изданиях писали: «махровый представитель полицейски-казенного “официального народничества”»¹²) журнал «Москвитянин» – и никаких марксистско-ленинских определений, которые уже в явно смягченной форме обнаруживаются только в Именном указателе: «Погодин... профессор истории, издатель “Москвитянина”; реакционер, представитель идеологии “официальной народности”»; «Шевырёв... профессор русской словесности, искусствовед; при узком консерватизме и реакционности его эпохи сыграл прогрессивную роль в истории русской критики»¹³. Но без такого рода характеристик тогдашний редактор серии ЖЗЛ И.Б. Генкин (1896–1945), чекист с большим стажем, книгу вряд ли бы допустил к печати. Однако суть не в редакторе, а в той, едва уловимой, интонации грусти, что сквозит в открывающем книгу эпизоде, где описывается нормальная человеческая жизнь людей, увлеченных литературой, театром, историей. Никто за ними не подглядывает, никто не видит в них врагов – все это было так недавно и в жизни самого Шамбинаго, и как давно все было!

В другом месте книги он приводит цитату из Ленина о «двуличности» буржуазной интеллигенции и добавляет: «Весь творческий путь великого русского драматурга является как бы иллюстрацией к этим гениальным словам. Островский начинает с разоблачения русской буржуазии, но, не преодолев до конца “тяготения” к ней, идет на компромисс, начинает писать по “новому образцу”, затем оказывается в рядах “Современника”, пишет такую драму, как “Гроза”, а в восьмидесятые годы, загнанный темной реакцией в буржуазно-либеральные журналы, он под постоянным давлением цензуры с трудом хранит обрывки демократического знамени»¹⁴. Пишется, конечно, об Островском, а словно

о себе: это он, доктор наук, профессор, загнан в угол темной советской цензурой, это он вынужден разоблачать то, чего никогда не было, это он понуждает себя идти на компромисс с бесчеловечным режимом, это он хранит в себе «обрывки» подлинной культуры.

Шамбинаго пишет книгу об Островском, сообщая сведения биографического и творческого характера, стараясь быть как можно объективнее в своих мыслях. Цитаты из «классиков» марксизма-ленинизма встречаются не часто, выполняя скорее функцию «философских бантиков», нежели направления авторской мысли.

Поскольку книга выходила в серии для массового читателя, то задачи автора менее всего определялись научными изысканиями, скорее, Шамбинаго использовал свой писательский талант, коим, несомненно, обладал. Островский под его пером получился не ходульным классиком, а живым человеком, познавшим и радость признания, и горечь неприятия.

Рисуя детские годы будущего драматурга, Шамбинаго обходится без принятых в то время ярлыков в адрес служителей церкви, из которых происходил род Островских. Он просто сообщает об этом, без особых подробностей, но с явным сочувствием рассказывает об отце Островского, создавая образ порядочного, образованного, семейного человека, который вполне успешно продвигается по службе, делает состояние. При этом ссылается на воспоминания племянника Н.Ф. Островского – Ф.А. Гилярова¹⁵, который пишет о нем как человеке очень просвещенном. Подобного рода уважение к человеку зажиточному, владельцу крепостных душ да еще из священнического рода можно прочитывать как протестующий жест (хотя и не прямой, неоткрытый) в сторону режима.

Шамбинаго связывает творчество Островского с его жизнью, выявляет, как и положено советской цензурой, критические настроения в адрес власти, подчеркивает, как трудно было Островскому отстаивать постановки своих пьес. В книге Шамбинаго, если отвлечься от периодически появляющейся (как знак времени) большевистской риторики, вполне добросовестно воспроизводится творческий и жизненный путь Островского. Приведу несколько примеров того, как автор книги по мере возможности старается избежать этой самой риторики.

Рассуждая о «Грозе» Островского, Шамбинаго поразительным образом ни разу не упоминает статей Добролюбова, словно

таковых вовсе и не было, хотя сохраняет их общую интонацию. Имя Добролюбова появится лишь в связи с «Современником» (в отличие от часто цитируемого и чуждого власти большевиков Ап. Григорьева). Отношение Добролюбова к драматургу Шамбинаго пакует в выразительную фразу: «Добролюбов подошел к Островскому как демократ и революционер»¹⁶. А что собой представлял такой подход в 1930-е годы – было хорошо известно.

Вот Шамбинаго обращается к последней оригинальной пьесе Островского «Не от мира сего» (1885), пьесе, где главная героиня искренне верит в Бога, пытаясь обратить в веру своего не очень путного мужа. Шамбинаго тщательно обходит все, что связано с религией, тем не менее тонко подмечает «новые мотивы в творчестве драматурга». Более того, связывает «Не от мира сего» с новым этапом в русской драматургии, с горечью добавляя: «Пьеса осталась не понятой ни современниками, ни критикой»¹⁷. Это, увы, правда. «Не от мира сего» – по сегодняшний день самая редкая гостья на сцене.

Содержание книги об Островском свидетельствует, что Шамбинаго были хорошо известны биографические труды его дореволюционных (А.Е. Нос, А.Н. Сальников, И.И. Иванов, А.Н. Новиков) и послереволюционных (Н.Е. Эфрос, Н.Н. Долгов) предшественников. Хотя ссылок в тексте нет в силу того, что издание было популярным. Принципиально отличает работу Шамбинаго великолепный язык, в котором угадывается мощное влияние не столько древнерусского узорочья, сколько русской литературы. Показательным для понимания позиции автора биографии является «Указатель рекомендуемых источников», в котором большую часть составляют труды (в основном 1923 г.) исследователей, так или иначе имевших отношение к ГАХН. Это – Н.П. Кашин, В.Г. Сахновский, Н.Е. Эфрос, П.С. Коган, Н.К. Пиксанов, С.Н. Дурюлин.

Конечно, обращение Шамбинаго к творчеству Островского было скорее вынужденным, ибо научные интересы его лежали совсем в другой плоскости. Тем не менее он прочитает еще несколько докладов, посвященных Островскому: «Joi d'atог в “Снегурочке”», «Трилогия о Бальзаминове», «Островский – фольклорист». Но доклады эти так и останутся ненапечатанными. А как только появится возможность, он вернется к древнерусской литературе,

историю которой будет читать в ГИТИСе, Литературном институте в Москве.

Шамбинаго примет активнейшее участие в подготовке юбилейной выставки «Слова о полку Игореве», которая пройдет в 1938 г. в Главном Литературном музее. Будет водить экскурсии по выставке, а ему к этому времени уже 77 лет, печатать о «Слове» статьи в газетах. Но уже никогда не увидит своих работ о «Слове» в солидных Трудах Отдела древнерусской литературы Академии наук, а в издании «Слова» в 1959 г. возьмут из когда-то подготовленной Шамбинаго и Ржигой книги только переписанный от руки И.И. Голиковым текст рукописи, полностью проигнорировав их перевод и комментарии. Можно только догадываться, какие чувства испытывал В.Ф. Ржига, увидев эту книгу.

Мистическим образом в год смерти Шамбинаго выйдет в печати не что-нибудь по истории Москвы, которой он много и плодотворно занимался в последние годы жизни, а его работа об Островском – послесловие «Социальный смысл комедии Островского “Бедность не порок”»¹⁸.

Октябрьский переворот превратил жизнь талантливого человека в ад, но не сумел подчинить себе его талант полностью, до конца. Об этом замечательно написал в воспоминаниях сценарист А.Б. Гребнев, учившийся у Шамбинаго в Литературном институте: «Я их еще застал. Осколки старой культуры, ее рудименты, остаточные явления, каким-то образом еще сохранившиеся, в допотопных сюртуках или москвошвеевских тройках, знавшие что-то такое, чего уже никогда не узнаем мы, – они передвигались по этой новой жизни опасливой, испытующей походкой и, что странно, оставались самими собой, когда все другие давно уже сменили кожу. <...> В огромной захламленной квартире на Арбате, дом 4, как сейчас помню, мы сдавали древнерусскую литературу профессору Шамбинаго. <...> Сергей Константинович Шамбинаго, древний, как сам его предмет, в старом сюртуке и съехавшем набор черном галстуке под мятым воротничком, спросил, знаю ли я, с кем состоял в переписке Иван Грозный, и услышав, что с Курбским, обрадовался, закивал. “Давай, – сказал он, – голуба моя, твою зачетку” – и расписался в ней крупно. “С Богом!” – молвил он, провожая меня до порога. <...> Много лет спустя, открыв Булгакова, я узнал в профессоре Преображенском наших старых

учителей, это были они, и где-то рядом с ними гуляли Шариковы, и какое-то глухое отчаяние почудилось мне в том, как они общались с нами, молодыми, уже и не рассчитывая встретить ничего, кроме невежества»¹⁹.

-
- ¹ Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй и последний // *Розанов В.В. Уединенное*. – М.: Издательство политической литературы, 1990. – С. 359.
 - ² *Шамбинаго С.К.* Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь). – М., 1911. – С. 9.
 - ³ *Сморчков В.К.* Первый костромской вуз: Время, люди, события. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С. 390.
 - ⁴ Подобный «пестрый» состав отражал стремление РАХН / ГАХН представить творческий дискурс как синтетическое целое. Замечу также, что все авторы сборника были членами этой организации.
 - ⁵ Письмо А.Н. Островского от 25 сентября 1857 г. Н.А. Некрасову // Архив села Карабихи. Письма Н.А. Некрасова и Некрасову. – М.: Изд. Н.Ф. Некрасова, 1916. – С. 136.
 - ⁶ *Шамбинаго С.К.* А.Н. Островский. – М.: Журнальное объединение, 1937. – С. 308. Курсивом в этом предложении выделено близкое к оригиналу цитирование.
 - ⁷ Из далеких двадцатых годов двадцатого века (исповедальная переписка фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколовых). – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С. 479.
 - ⁸ Подготовка издания была своеобразным завершением давнего замысла, относящегося еще к 1920-м годам, о чем есть упоминание в письме от 2 декабря 1920 г. Ю.М. Соколова брату, Б.Ю. Соколову: Из далеких двадцатых годов двадцатого века (исповедальная переписка фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколовых). – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С. 425.
 - ⁹ Подробнее см.: *Ашнин А.Д., Алпатов В.М.* «Дело славистов» 30-е годы. – М.: Наследие, 1994.
 - ¹⁰ *Водовозов Н.В.* С.К. Шамбинаго (1871–1948) // ТОДРЛ. Вып. VII. – М.; Л.: АН СССР, 1949. – С. 484.
 - ¹¹ *Шамбинаго С.К.* А.Н. Островский. – М.: Журнальное объединение, 1937. – С. 7.
 - ¹² Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 9. – М.: ОГИЗ РСФСР, 1935. – Стлб. 29.
 - ¹³ *Шамбинаго С.К.* А.Н. Островский. – С. 198, 199.
 - ¹⁴ Там же. – С. 38–39.
 - ¹⁵ Ф.А. Гиляров (1841–1895) – сын А.П. Гилярова и Т.Ф. Гиляровой (урожд. Островской), которая приходилась драматургу родной теткой. Воспоминания Ф.А. Гилярова были опубликованы в «Русском Архиве» за 1904 г. Полагаю, что ссылка отсутствует по двум причинам: во-первых, книга предназначалась для массового читателя; во-вторых, Гиляров был из священнического рода,

получил духовное образование, то есть был источником для соврежизма явно неподходящим.

¹⁶ *Шамбинаго С.К.* А.Н. Островский. – С. 83.

¹⁷ Там же. – С. 164, 165.

¹⁸ *Шамбинаго С.К.* Социальный смысл комедии Островского «Бедность не порок» // *Островский А.Н.* Бедность не порок. – М. – Л.: Искусство, 1948. – С. 66–78.

¹⁹ *Гребнев А.Б.* Записки последнего сценариста. – М.: Алгоритм, 2000. – С. 76–77.

А.Н. Стрижёв, М.А. Бирюкова

ТРУДЫ И ДНИ ПРОПОВЕДНИКА ИОАННА ВОСТОРГОВА

Аннотация

Очерк посвящен новомученику, протоиерею Иоанну Восторгову, настоятелю храма Василия Блаженного на Красной площади, видному миссионеру и проповеднику. Его публицистика, духовная и светская, была издана в пяти томах в 1914 г. Иоанн Восторгов – издатель и постоянный автор еженедельной газеты «Церковность» (выходила в свет с 1911 г., не прекращалась и в первые месяцы после Октябрьской революции). Бесстрашный священнослужитель и патриот открыто бичевал насилие новой власти, отстаивая достоинство и свободу выбора человека, в кризисных обстоятельствах призывал враждующих людей к совести. За смелую публичную деятельность Иоанн Восторгов приговорен Революционным трибуналом к расстрелу. Погиб в сентябре 1918 г. В очерке прослеживается жизненный путь этого энергичного подвижника, раскрывается его уникальная способность открыто отстаивать истину.

Ключевые слова: протоиерей Иоанн Восторгов, публицист, проповедник, патриот, новомученик, Революция 1917 г., газета «Церковность», церковь, христианство, совесть.

Strizhov A.N., Biriukova M.A. Archpriest Ioann Vostorgov: His life and works

Summary. The essay is devoted to a newly canonized martyr, archpriest Ioann Vostorgov, a prior of St. Basil's Cathedral on the Red Square, a prominent preacher and missionary. His works of non-fiction, both spiritual and secular, was published in 1914 in five volumes. Ioann Vostorgov was a publisher and regular author of a weekly newspaper «Tserkovnost'» («Ecclesiasticism») that was printed from 1911 to the first months after the Revolution of October 1917. The fearless clergyman and patriot openly lashed out against the violence of the new regime, defending human dignity and freedom of choice, and called for conscience in the feuding people in the times of crisis. For his courageous public activities Ioann Vostorgov was sentenced to death by shooting by the Revolutionary Tribunal. He died in September 1918. The essay

follows the life of this energetic ascetic and reveals his unique ability to openly fight for the truth.

В августе 2000 г. в Москве состоялся юбилейный Архиерейский собор – событие весьма памятное для страны. Тогда к лику святых причислили священномучеников, пострадавших за Христа, и среди них настоятеля храма Василия Блаженного на Красной площади прот. Иоанна Восторгова. Это всенародное почитание видного духовного подвижника, патриота и яркого публициста явилось достойным приношением потомков борцу с силами зла и поработителями духа истины. Всего пять лет служил о. Иоанн настоятелем Покровского собора, известного в народе как храм Василия Блаженного, что у самых кремлевских стен. И за этот недолгий срок храм сделался главным средоточием церковной и общественной жизни древней столицы. Здесь проповедовал Иоанн Восторгов – и сюда шли люди со всех сторон, чтобы послушать и вразумиться от слов смелого и благодатного батюшки. Раньше этот исстари намоленный храм посещали больше полюбоваться дивной красотой – ведь подобного белокаменного чуда больше нигде нет и не было. Но до настоятельства о. Иоанна святой храм богомольцами мало посещался, так что здесь и вправду не приход был, а проход через площадь. Новый – молодой, энергичный и образованный священник сразу оживил и наполнил приходскую жизнь современными интересами, в своих проповедях он умело вскрывал язвы современного общества – богоотступничество и равнодушие части граждан к судьбе государства, а заодно и к устоям семьи; развязность инстинктов у населения, безудержная пропаганда разложения личности – все это вместе крайне обострилось после революционных событий 1905 г., а уж ближе к Семнадцатому, катастрофическому, году беда и вовсе приняла характер безумия и прямого преступления. Чем ближе двигались к концу Империи, тем острее чувствовалась необходимость крепкого церковного назидания здоровой народной толщи, – тоже, впрочем, уже затронутой смутой и посулами перемен. Всякого рода авантюристы, выжиги, провокаторы – в первых рядах опрокидывателей трона. И вожаки их – террористы да заговорщики. Сладить ли с такой напастью?

Если в самый почин XX в. И. Восторгов был преисполнен «радости осмысленного труда» и надеялся на плодотворную

жизнь, уповая: «Мы живы, мы сохранены для земли, для работы, для покаяния, для спасения», то в грозный, гибельный Семнадцатый год в его речи зазвучали исповедальные ноты. Накануне Октябрьского переворота, 15 октября 1917 г. он написал в своей газете «Церковность»: «Если нас теперь заточат, убьют, разорвут на части, то и в преследованиях и в смерти сохраним чувство удовлетворения, сознание нашего морального торжества... Мы сильны силою истины». Далее православный исповедник и мудрый пастырь, будто предвидя свой близкий мученический венец, сказал: «Наша, может быть, теперь скоро будет пролита кровь, наши недруги могут быть спокойны: на них наша рука не поднимается, так как мы слишком мирные люди». Это он говорил о себе и подобных ему. Прямая, пламенная речь протоиерея Иоанна все также настойчиво произносилась им и в дни жестокого Октября. Народ валом валил на его молебны – служились не в тесном древнем храме, а прямо на Красной площади. Здесь с новой силой зазвучал его умиротворяющий голос, призывая горожан, а с ними и весь народ православный, преодолеть в душах ненависть, всеваемую смутьянами, преодолеть вражду, столь бедственную для людей последствиями.

Но события зловеще развивались, и конца им не виделось. Наперекор угрозам батюшка Иоанн по-прежнему выпускает в свет свою газету «Церковность», каждое воскресенье выходит свежий номер. А в нем поставлены на видное место злободневные вопросы, выдвигаемые яростными буднями. И мучимые очередями и голодом люди жадно читают статьи, огненные проповеди Восторгова, заполняющие почти все пространство 40-страничной газеты, ведь автор подавляющего большинства публикаций – сам отец Иоанн. Ночами служитель алтаря описывает в дневнике события прошедшего дня, убедительно изображает живые лица, знакомые и незнакомые, то, что увидел на московских стогнах и площадях – репортажи его ёмки, рельефны, почти скульптурны, и на письме он – талантлив как литератор.

Почитая этого новомученика, хочется подробнее остановиться на его жизненном пути – кто наш герой и откуда? Родился прот. Иоанн Иоаннович, в миру Иван Иванович Восторгов, 30 января 1867 г. в станице Кавказской на Кубани, в семье священника, профессора духовной семинарии, и наречен в память Иоанна

Златоуста. Впоследствии и самого его назовут Русским Златоустом, за мужество и преданность святой вере. Учился юноша в Ставропольской духовной семинарии, а по окончании ее в 1887 г. побыл там же и надзирателем, и учителем русского и церковно-славянского языков. И. Восторгова вскоре епископ Владимир (Богоявленский) определит служить в одну из станиц все той же Кубанской области. Место то было заражено расколом, и молодому батюшке пришлось поначалу приложить руки к постройке храма, украсить его всем необходимым, освятить и войти в доверие прихожан, целое столетие не имевших священника. Так начиналась миссионерская работа – привлечение закоренелых сектантов к православию. И всего-то в поселке этом Восторгов служил побольше года, а как преобразилась станица! Михаило-Архангельская церковь наполнилась богомольцами, в поселке уменьшилось буйство, а 100 раскольников присоединились к благочестию. Рвение молодого иерея оценило начальство – назначения и повышения следуют одно за другим. Вот он в 1890 г. наблюдает за всеми церковно-приходскими школами целого округа Кубани, затем назначен законоучителем в Ставропольскую мужскую гимназию, а чуть позже по настоянию владыки Владимира – экзарха Грузии, его переводят на Кавказ, в Елисаветполь (теперь Гянджа). Даровитый проповедник, усердный законоучитель и педагог-словесник отмечен грамотами и знаками отличия. А с 1900 г. он на важном миссионерском посту в Тифлисе. Просветительское дело началось с открытия трех миссионерских школ, с тремястами учащимися. Занятия в классах, службы и собеседования – все, как задумано заведующим школами о. Иоанном. От Синода его посылают в Персию для обозрения школ духовной миссии. Проповеди этого миссионера были столь поучительны и успешны, что в середине 1902 г. И.И. Восторгова избирают пожизненным членом Императорского Палестинского общества.

В январе 1906 г. прот. И.И. Восторгов назначен Святейшим синодом проповедником-миссионером Московской епархии. Настал самый яркий период жизни этого выдающегося деятеля. Отец Иоанн молод, ему 42 года, и он полон энергии, готов послужить России, изнемогающей от язв, нанесенных ей еще не до конца подавленной революционной смутой. В церкви он видел наше спасение, радость, счастье и жизнь. Теперь в полную меру развер-

нулся в нем дерзновенный талант миссионера. Творческие его силы укреплялись замыслами, его писания насытились конкретным опытом противостояния подрывным акциям ненавистников мирной, спокойной жизни. Теми же устремлениями были охвачены и многие участники патриотических союзов – по стране их насчитывалось до 6 млн, представителей всех слоев общества. К ним в первую очередь и обращался со словами ободрения и горячей проповедью стойкий миссионер-патриот. Он и сам был видным монархистом-союзником, отстаивал, как государственный, интересы Державы, оберегал ее национальные ценности. Чтобы слово его и таких же людей, как и он, было слышнее и понятнее, с 13 ноября 1911 г. миссионер И.И. Восторгов стал издавать газету «Церковность». Этот православно-народный еженедельник выходил по воскресеньям и праздникам, основная задача его – «открывать правду христианскую», бороться с безверием и сектантством, прилагать усилия к искоренению пьянства и распутства; здоровая семья и душевное воспитание детей – важное попечение патриотической печати. Газета Восторгова в каждом номере разъясняла простым людям основы общественно-политического устройства, к примеру, что такое социализм и как его понимать верующему человеку? Насилие и власть – непременная тема в революционной действительности. Мировая война, всенародная помощь фронту и переживания, страдания наших людей – все это отражалось на газетных полосах. Здесь можно было встретить крепкую публицистику, вышедшую из-под пера историка и порядочного журналиста, большой массив публикаций касался предсоборных раздумий – ведь Русская церковь готовилась к избранию Патриарха на предстоящем Всероссийском соборе. Естественно, в газете прот. И. Восторгова публиковались мнения и соображения на этот счет.

В спокойной обстановке предыдущего десятилетия роста рядов монархических и патриотических движений не наблюдалось. Более того, численность союзников резко сократилась, а от взаимных пререканий их руководителей единство и вовсе развалилось: появились новые отделения со своими программами. Не отошли от коренных установок движения разве что твердые и последовательные защитники державности и церковные монархисты. Иоанн Восторгов был в их рядах, а его газета оставалась противницей распада многовековых устоев нации, духовности и нравст-

венных ее начал. Ревностный миссионер о. Восторгов стал известен не только благодаря своему красноречию и верности долгу, но и как обличитель врагов России, поносителей ее культуры. Иоанн Кронштадтский в свое время назвал Восторгова «современным Златоустом» и слушал его пламенную проповедь в Андреевском соборе 6 декабря 1907 г. Через год после кончины Кронштадтского пастыря, его, как церковного трибуна, сменил прот. Иоанн Восторгов, пожалованный митрой, высшим отличием приходского священника, отдающего всего себя служению людям, а в лихолетье противоборствующего смуте, беспорядку и гибели России. По поручению Великой княгини Елизаветы Федоровны миссионер Восторгов едет в город Бари, где покупает участок земли и строит там храм и странноприимный дом для паломников. А в августе того же 1911 г. он уже в Белгороде, на торжествах по прославлению Иоасафа Белгородского, и произносит там при огромном стечении верующих проникновенную проповедь, посвященную деяниям Чудотворца. С таким художественным воодушевлением он говорил разве, что в день памяти просветителя Японии, миссионера-подвижника Николая, которого И.И. Восторгов имел счастье знать лично.

С того дня, как в храме Василия Блаженного начал служить батюшка Иоанн, либеральная печать буквально захлебывалась в клеветах на него, выдумывала и лгала, очерняя невозмутимый облик подвижника. Зато домашнее горе переживалось им тяжело. Когда в самом начале 1915 г. умерла его жена, Елена Евпловна, И.И. Восторгов воспринял эту смерть, как наказание. В письме первенствующему митрополиту Московскому Макарию он поведал о своем тяжелом, несказанном горе так: «Теперь уже нет у меня ничего на земле, в смысле земных плотских привязанностей: пусть безраздельная любовь к Святой Церкви и служение ей совершенно заполнит мою жизнь». Владыка Макарий предложил Синоду возвести священника Иоанна, по принятии монашества, в сан епископа. Из-за разных напраслин и клевет определение сверху затягивалось. Потом и вовсе грохнуло начало переворота – Февральская революция. Замутилась Россия, и Держава пала. К тому времени Иоанн Восторгов уже был известен как видный публицист и духовный оратор. Его произведения широко распространялись отдельными книжками, а накануне революционных событий вышли в пяти томах, где были представлены его впечат-

ления о поездках по Сибири, а также капитальное рассмотрение социалистических учений с точки зрения христианина, конечно же основное место в Собрании сочинений занимали яркие проповеди, сказанные им в православные праздники. Когда совершался Октябрьский переворот 1917 г., настоятель храма Василия Блаженного ведет в своей газете цикл статей «Во дни смуты», а в нем на первое место ставится вопрос о совести и греховности мщения и злодейских убийств. Не смолкал голос пастыря в пору расстрела большевиками святынь Московского Кремля – огонь из орудий велся прямой наводкой со стороны Замоскворечья. Несколько снарядов попали и в купол храма на Красной площади. Батюшка спешит на Пятницкую улицу, где печаталась газета «Церковность» и выступает с гневными статьями, разъясняющими суть происходящих событий. А в своем дневнике он рассказывает о зловещих московских улицах и встречах там с самыми разными людьми, чувствуя тревожный пульс горожан и безнадежность общего положения.

Разумеется, такой прямой и бесстрашный человек, каким был протоиерей Иоанн, водитель совести и патриот, продолжал «Церковность» и в первые месяцы 1918 г., последний раз газета вышла в конце мая; всего за семь лет существования этого необыкновенного печатного органа обнародовано 366 номеров. В самый последний день мая 1918 г. И.И. Восторгова арестовала Чека в его собственной квартире, и сразу же он был увезен в тюрьму. А там провокации, жестокое издевательство. Патриарх Тихон пробовал заступиться за всенародного глашатая истины – не помогло. Обреченного на смерть палачами – не спасти... Четвертого сентября 1918 г. Революционный трибунал приговорил протоиерея Иоанна Восторгова к расстрелу, а утром следующего дня его привезли на Братское кладбище возле Ходынского поля и там в числе других приговоренных, а среди них оказались царские министры, государственные и духовные лица, в упор расстреляли. Первым подошел к краю могилы отец Иоанн, вдохновенно перекрестил всех обреченных на жертву и, обращаясь к конвою, бодро сказал: «Я готов!» Так на голгофе завершился земной круг жизни замечательного человека. Ныне прот. И.И. Восторгов причислен Церковью к мученикам и исповедникам, и к нему возносятся молитвы предстоящих.

ПУБЛИКАЦИИ

Т.Н. Красавченко

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ АНГЛИЧАНИНА: ХЬЮ УОЛПОЛ

*О России и русских я не знаю ничего,
но о воздействии России и русских
на меня и на мои идеи кое-что знаю¹.*

Аннотация

Известный английский писатель Хью Уолпол (1884–1941), приехавший в Россию в сентябре 1914 г., описал, какими ему виделись русские накануне и в процессе Февральской революции, в двух романах – «Темный лес» (1916) и «Тайный город» (1919), занимающих особое место в его творчестве: Россия стала для него открытием нового мира. Февральская революция показана вписанной в исторический, культурно-цивилизационный и имагологический контексты. В приложении к статье дается перевод официального отчета Уолпола о Февральской революции для британского Министерства иностранных дел в марте 1917 г.

Ключевые слова: английская литература, образ России, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Достоевский.

Krasavchenko T.N. The February Revolution seen by Hugh Walpole

Summary. A famous English writer Hugh Walpole (1888–1941), who came to Russia in September of 1914, described his view on Russians before and during the February Revolution in two novels – «The Dark Forest» (1916) and «The Secret City» (1919), where he discovered Russia as a new world for himself. The February revolution is represented in the novels in the historical, cultural and imagological contexts. The Russian translation of Walpole's official account of the February revolution, sent to the British Foreign office in March 1917, one can read in an appendix to the article.

Хью Уолпол – очевидец Февральской революции; все, что происходило с ним в России, куда он приехал в сентябре 1914 г., служит важным свидетельством того, какой была русская жизнь в преддверии революции, что привело к ней, какими виделись русские накануне и в процессе революции иностранцу, в данном случае британцу. Таким образом, русские революции, не только Февральская, но и Октябрьская, хотя о ней прямо у Уолпола речь не идет, оказываются вписаны в широкий исторический, культурно-цивилизационный, имагологический контексты.

Хью Уолпол (13 марта 1884, Окленд, Новая Зеландия – 1 июня 1941) был широко известен в Великобритании и США в 1920–1930-е годы. В 1924 г. Эрнест Хемингуэй в одном из рассказов сравнил его с Г.К. Честертоном и сделал вывод, что Уолпол лучше как писатель, а Честертон – как человек, и оба они – классики². Ныне наблюдается процесс возрождения его литературной репутации³.

О России Уолпол написал два романа – «Темный лес» (The Dark Forest, 1916) – о Первой мировой войне, и «Тайный город» («The Secret City», 1919). Россия стала для него открытием нового мира.

* * *

Когда началась Первая мировая война, из-за плохого зрения Уолпол не смог пойти в армию. И принял предложение поехать в Москву в качестве корреспондента газет – ежедневной «Дейли мейл» и еженедельной «Сэтердей ревю»⁴.

О России у него были довольно скромные – литературные – представления: в детстве – в 1890-х годах – его увлек приключенческий роман британского автора Макса Пембертона (1863–1950) «Кронштадт» (1899) – о приключениях английской героини и ее возлюбленного в русской морской крепости; когда ему было 22, он прочитал «Анну Каренину»⁵, а в 1912 г. его потрясли «Братья Карамазовы» Достоевского в переводе Констанс Гарнет⁶ – ему было 28.

Каким он был до России? Безусловно, своим в Англии, несмотря на новозеландское рождение, раннее американское детство (в 1889 г., когда ему было пять лет, семья переехала из Новой

Зеландии в США, где отец, англиканский священник, работал в Теологической семинарии⁷) и негативный опыт британских школ (с 1893 г., когда родители послали его учиться в Великобританию, за 10 лет он сменил несколько частных школ⁸). В 1906 г. он окончил престижный Кембриджский университет (Эммануэль-колледж), где изучал историю. Поработав по воле отца проповедником в миссии для моряков в Ливерпуле, он предпочел стать учителем, сначала частным, а в 1908 г. преподавателем французского языка в Эпсом-колледже в Саррее, потом переехал в Лондон и стал зарабатывать на жизнь рецензиями на книги для газеты «Standard», а в свободное время писал прозу. На его первый роман «Деревянная лошадь» (1909) критика откликнулась благожелательно, но успех у читателя имел лишь его третий – психологический – роман «Мистер Перрин и мистер Трейл» (1911) – о трагикомическом конфликте двух учителей – стареющего неудачника и молодого, привлекательного идеалиста. Уолпол был признан в британской литературной среде, его поддерживали маститые писатели – Генри Джеймс и Арнольд Беннет. В начале 1914 г. Генри Джеймс в «Таймс Литерэри Сопплемент» (март, апрель) в статье, позднее известной как «Новый роман», включил Уолпола в число наиболее ярких молодых британских романистов⁹.

Вот таким – молодым преуспевающим писателем, из Великобритании, страны с нормированным, регламентированным бытом, он приехал в Россию. Его взгляд на нее был взглядом не свысока, но со стороны – как на совершенно другого, вызывающего то недоумение, то восхищение: он увидел других людей, другой стиль жизни, другую культуру, ощутил ее притягательность, заразительность и вместе с тем чуждость. Как позднее вспоминала хорошо знавшая его балерина Тамара Карсавина, вышедшая замуж за британского дипломата Бенджи Брюса (H.J. Bruce): «Он <Уолпол> интересовался русской жизнью и русским характером не как чем-то экзотическим и причудливым, но с подлинной любовью и пониманием. <...> А мы с нашей русской любовью к Диккенсу звали его Пиквиком»¹⁰.

* * *

«Русское приключение» Уолпола началось 24 сентября 1914 г.¹¹: он приехал в Москву и подружился с британским вице-консулом Робертом Локкартом, который сразу погрузил его в гущу русской культурной жизни: вывел в оперу, балет, цирк, в знаменитый клуб-кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, познакомил с очаровавшим его Михаилом Ликиардопуло – Лики, литературным секретарем в Художественном театре, переводчиком на русский и популяризатором произведений западных писателей (прежде всего Оскара Уайльда), агентом русской разведки, о чем Уолпол наверняка не знал. Уолполу довелось встретиться с Горьким и Шалапиным.

Он снял в Москве комнату в русской семье. «Русский стиль жизни» поразил его непосредственностью, смешением разнородного, т.е. полным отличием от английского образа жизни, с его сдержанностью, тихими голосами, нормированностью. 12 ноября 1914 г. Уолпол писал Генри Джеймсу: «Семья, в которой я живу, состоит из милой женщины, ее меланхоличного мужа и троих детей. Квартира маленькая и невероятное количество людей живет в ней – посторонние приходят и уходят, постоянны только запахи и шум. Я начал немного говорить по-русски, но в течение нескольких недель это представлялось абсолютно невозможным – казалось, это язык, на котором идиоты красиво разговаривают в сумасшедшем доме – *на самом деле* он в высшей степени прекрасен. У меланхоличного мужа приступы ужасного настроения – каждое третье утро. По понедельникам я просыпаюсь от его громкого голоса, переходящего в пронзительный дрожащий крик и это продолжается и продолжается. Весь понедельник и вторник муж и жена не разговаривают. В среду утром он плачет за завтраком и прощен. В четверг утром все начинается снова. Он очень вежлив со мной, потому что у них нет денег, а я – их прожиточный минимум. <...> Он изобретатель и за последний месяц изобрел новый вид <...> извлекаемой из коры деревьев краски, новые чернила и новый сорт мыла. Период чернил был ужасным – все забрызгалось ими...»¹²

Далее следует описание жизни типичной русской семьи из среднего класса: «По вечерам иногда собираются гости: приходят

дамы играть в карты, пить чай и говорить о Боге. Бог – тема, не утрачивающая интерес, половина России (низы) уверена в Его существовании, как в существовании собственных блох, другая половина (интеллигенция) уверена, что его нет, но испытывает интерес к нему, подобный нашему интересу к Джордж Элиот или Теннисону. Мне очень повезло, потому что хозяйка дома милая женщина и отличная учительница. Я учу русский по четыре часа в день и во время завтраков, обедов, ужинов. <...> Это действительно замечательный язык, богатый, как золотая парча и полный чудесных слов. Он предназначен (я уверен) для потока ночных разговоров, к которым они здесь привыкли. Успехи мои невелики, но не думаю, что овладеть им невозможно, хотя это и требует новой челиости и горла»¹³.

Несмотря на недолгое пребывание в Москве, он делает обобщения: «Что касается самих русских, что можно сказать? У любого русского на улице очень кроткие добрые глаза и жестокий рот варвара. Мне кажется в настоящем, что они живут, словно без кожи, так обнаженно они все переживают. <...> Кажется, будто у них нет самоконтроля и все же они без звука приняли запрет на водку – самую сердцевину своего существования, что я считаю самым прекрасным достижением войны. Они поразительно смиренны, неизменно уверенные в том, что другие страны делают все лучше, чем они, но их Художественный театр абсолютно превосходит в театральной сфере все, что я видел – у меня, наконец, открылись глаза и я понял, какой может быть актерская игра, каково целое формы и духа драмы. Любой, проживший здесь две недели, не сомневается в их победе в этой войне. Они – новый народ: этот кризис сделал для них то, чего не смогла добиться вся предшествующая история – дал ощущение уверенности в себе. Их современная литература кажется незначительной – рассказы, поэзия, редко роман – два нездоровых автора Арцыбашев и Куприн и, конечно, Андреев, который теперь пишет плохие пьесы»¹⁴.

А в письме от 23 декабря 1914 г. писательнице, миссис Беллок-Лоундес, сестре известного британского писателя Хилэра Беллока, Уолпол лаконичнее и эмоциональнее передает свои впечатления о русской жизни: «О! Все так странно и сумбурно здесь! <...> Эта квартира! Гомон детей, хозяйка, бегущая в ночной

рубашке (в одиннадцать часов!) к телефону, фиолетово-зеленые башни напротив моего окна, по соседству с жутким современным зданием, грязь и дружелюбие, вкус и полное отсутствие его!»¹⁵

Позднее, 1 февраля 1915 г., он вновь писал Генри Джеймсу: «Мой дорогой Мастер, <...> я не намного продвинулся в своем понимании русского характера. И все еще считаю, что наиболее совершенно передает его “Вишневый сад” Чехова, но недостаточно только читать его – нужно видеть, как играют эту пьесу актеры Художественного театра. <...> Ни один английский автор, на мой взгляд, не прав в отношении русских, потому что их либо идеализируют, либо проклинают. Истина же в том, что у русского все человеческие инстинкты проявляются в их самой простой, сильной, самой примитивной форме – чувство красоты, братства, склонность к неаккуратности, грязноватости, жестокости, альтруизму, эгоизму, ко всему – и он не знает, что такое сдержанность – *пока*. Когда же он познает ее, он будет очень значителен, но совсем не так интересен. <...> Как они едят! Как любят женщин! Как говорят о Любви, Боге и Братстве! Как не доверяют друг другу и конфликтуют в трамваях! Как шпыняют женщин и едят утку руками! Как поглощены собственной психологией, как погружены в себя и не доверяют себе! Какие они беспечные, легкомысленные, гостеприимные и теплые! Они кажутся мне менее всех способными к удачной войне, и все же эта война выявляет их чудесные качества – возможно, это *самый* великий кризис в их истории»¹⁶. Тут Уолпол оказался провидцем.

В начале декабря 1914 г. он съездил на польский фронт и в поезде в Варшаву, за два дня, проведенных с русскими офицерами, был уже, как рыба в воде: пел русские песни, ел колбасу, а в Варшаве в гостинице писал роман «Зеленое зеркало», читал «Преступление и наказание» и наблюдал за солдатами: его особенно тронули их колонны, с песнями направлявшиеся на фронт (он написал для «Сетердей ревью» о своих впечатлениях в Варшаве)¹⁷.

Вскоре Уолпол переехал в Петроград, предпочитая его Москве, и там в начале марта 1915 г. подружился с одним из основателей общества «Мир искусства», художником К.А. Сомовым, о котором писал: «Крайне привлекательный человек. Очень спокойный – одно из самых печальных лиц, которые я когда-либо

видел – прекрасные глаза. <...> Всем русским свойственна, кажется, одна и та же необычная привлекательность – привлекательность, которую дети вызывают у взрослых»¹⁸.

В России Уолпол ощущает себя участником истории. В марте 1915 г. на обеде в британском посольстве он договорился с послом – сэром Джорджем Бьюкененом и его женой – леди Джорджиной, что будет помогать в Английском госпитале. Он прошел там подготовку и стал санитаром; в письме Генри Джеймсу 15 марта 1915 г. он писал: «...Должен признаться, что нахожусь в состоянии необычайного возбуждения. Это не значит, что я не понимаю всю трагедию и ужас положения, <...> но быть актером (хоть и крошечным) на величайшем этапе истории в жизни мира, видеть *такие* вещи, быть испытанным самым глубочайшим испытанием <...> – значит подняться так высоко, что перестаешь вообще быть человеком, а становишься каким-то бестелесным и совершенно абстрактным...»¹⁹

В том же письме он описывает журналиста из «Дейли мейл» Хэмилтона Файфа, по-иному воспринимающего Россию: «<...> Кроме госпиталя и писательства, я гуляю во второй половине дня с этим столпом филистерства. <...> Поистине он замечателен. Он и есть Человек с Улицы – точно и абсолютно. Он *ненавидит* Россию. Поскольку его белье стирают три недели, он говорит, что Чехов – плохой драматург; поскольку русские не играют в футбол, он говорит, что они должны быть гомосексуалисты (они ими *никогда* не были). Поскольку он *не может* выучить русский язык, он говорит, что они “безмозглые”. <...> Вечера я провожу с самыми интересными сейчас людьми в России – Мережковским, Сологубом, Глазуновым, Скрябиным, Сомовым. <...> Все они изумляют меня – они совсем как дети, несмотря на весь свой интеллект. Плачут, смеются, верят всему в данную минуту и не верят – в следующую, не знают, что хотят, добрые и с грубоватыми манерами <...>»²⁰.

Уолпол стал работать в «Санитаре» – отделении Красного Креста, цель которого заключалась в том, чтобы выносить раненых с поля боя и выполнять «черную» работу в госпиталях. Он называл себя «одним из немногих (полдюжины) англичан в мире, которые носят русскую форму»²¹. К этому времени он уже стал свободно говорить по-русски. Тогда – еще до отправки на фронт в Галицию – у него зарождается замысел романа – «Темный лес»

(первоначальное название «Смерть и охотники»), но не хватало фона, контекста²².

22 мая 1915 г. он отправился в Карпаты с отрядом медиков – хирургов, медсестер и санитаров – маленьким мобильным госпиталем, прикомандированным к Русской девятой армии. В поезде Уолпол вновь читал Достоевского – «Записки из Мёртвого дома»²³.

24 мая 1915 г. Отряд прибыл в Станиславов (ныне Ивано-Франковск), на машинах добрался до маленькой деревни. Наступил недолгий период ожидания и передышки. Уолпол полеживал в саду и читал Браунинга и Достоевского²⁴.

3 июня 1915 г. он записал в дневнике: «...Вечером пошли в лес. <...> Здесь произошло Приключение моей жизни. Отправился с несколькими санитарями искать раненых, прошли немного вперед, но санитары сели и отказались идти дальше. Я забыл весь свой русский, ругался по-английски и, наконец, заставил их пойти со мной»²⁵. В результате нашли раненого, один из санитаров отказался возвращаться, пришлось нести носилки втроем. За стойкость его наградили Георгиевским крестом²⁶. Этот эпизод выглядит как явное свидетельство преимущества британской решимости и гуманности на фоне русской безалаберности и безответственности.

Через два дня начали поступать раненые. 16 июня 1915 г. Уолпол записал: «Позавчера восемьсот раненых за двенадцать часов. Я запросто отрезаю пальцы ножницами!»²⁷ Как пишет автор биографии Уолпола, писатель и издатель Руперт Харт-Дэвис, вместо планировавшегося наступления русские в Галиции отступали. «Судя по официальным историям кампании, по дневникам и воспоминаниям солдат и политиков, трудно понять, как русская армия продержалась так долго. Некомпетентное командование, плохо одетые и неадекватно вооруженные солдаты проявили огромное мужество и выдержку. Их запасы амуниции истощились через несколько месяцев войны, у них было так мало винтовок, что многие пехотинцы в бездействии ждали, пока им не доставалось оружие погибшего товарища. Австрийцы в сравнении с ними – слабые вояки, но к ним прибыло немецкое подкрепление...»²⁸

Дневник Уолпола полон описаниями увиденного. Он «нашел» фон для своего романа и, вернувшись в августе 1915 г. в Петроград, 3 октября закончил книгу «Смерть и охотники», посвя-

тив ее Константину Сомову. Многие эпизоды книги были взяты из ежедневных записей, что придало ей достоверность и выразительность. Она вышла в Лондоне и в Нью-Йорке в 1915 г. под названием «Темный лес».

Основное действие романа происходит в Восточной Галиции во время отступления русских под напором немецко-австрийских войск. Два английских персонажа романа – повествователь Джон Дёрворд (из Красного Креста) – ему 31 год, в прошлом журналист, ведущий дневник, и Джон Тренчард – еще моложе, наивный, простосердечный, смешной, оба санитары – две ипостаси автора. В основе романа – любовный треугольник. Тренчард влюблен в молодую обаятельную девушку – русскую медсестру Марию Ивановну Красовскую и, обручившись с нею, счастлив, хотя она нервничает из-за их помолвки. Все трое прибывают из Петрограда в Отряд (полевой госпиталь) – под начало 50-летнего опытного хирурга Алексея Петровича Семёнова, человека сильного, жесткого, своего рода супермена, он влюбляется в Марию, она – в него. И Тренчард, в нем что-то и от князя Мышкина, и от мистера Пиквика, мягкий, добрый, отпускает ее, обвиняя себя во всем. Дёрворд тоже влюблен в Марию, но не показывает своих чувств. Лес С., на краю которого находится их лагерь, – своеобразная метафора войны – страха, смерти, а также сексуальности: Дёрворд наблюдает, как Мария и Семёнов однажды утром уходят из лагеря в лес.

Однако юная, живая, непосредственная, ощущающая себя такой счастливой, Мария погибает от случайной австрийской пули во время обстрела в лесу, это кажется всем нереальным, нелепым, хотя на самом деле описание событий в романе подготавливает к тому, что с кем-то из героев должно произойти нечто роковое, ибо все они находятся в зоне смерти. Окружающим трудно принять смерть Марии – у Уолпола, как и у многих британских писателей, именно русская женщина воплощает жизнь и, в сущности, есть центр жизни; с ее уходом три персонажа, включая повествователя, теряют жизненную опору. И Тренчард, и Семёнов – в отчаянии, оба ищут смерть, надеясь прежде своего соперника соединиться с любимой женщиной в ином мире. Презируя самоубийство (к тому же в православии это большой грех), они ждут, когда смерть настигнет их от врага. И первым погибает – более слабый и человеческий – Тренчард.

В «Темном лесу» реалистическое, даже натуралистическое описание Первой мировой войны дано раньше, чем в известных романах о «потерянном поколении» – «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона и «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя, вышедших в 1929 г.

Дёрворд как заклинание повторяет: «Смерть конечная тайна» и замечает, что враг персонажей – не Германия, а смерть. Русско-английский отряд с его выходами в Лес С., с его потерями – это своего рода микрокосм человечества, бросающего вызов Смерти.

Уолпол уехал из Петрограда в Англию 16 октября 1915 г. А в январе 1916 г. Министерство иностранных дел предложило ему вернуться в Петроград – возглавить британское бюро пропаганды: русские союзники казались слишком восприимчивыми к немецкой пропаганде²⁹.

31 декабря 1915 г. (в Лондоне в издательстве *Martin Secker*), а вскоре и в Нью-Йорке – перед отъездом Уолпола в Петроград – вышел роман «Темный лес», положительно встреченный критикой, роман одобрили Арнольд Беннет и Джозеф Конрад³⁰. Писатель Уильям Леонард Кортни в газете «Дейли телеграф» писал о том, что «высокий уровень художественного видения мира <...> раскрывает свойственные автору способность и возможности, которые мы едва ли в нем прежде подозревали»³¹. Но позднее, в 1918 г., британская писательница Ребекка Уэст (у нее только что вышел роман – «Возвращение солдата» – о солдате, контуженном на Первой мировой войне) в газете «Дейли ньюз» поставила Уолпола в один ряд с английским писателем и путешественником, верившим в святую Русь – Стивеном Грэмом, «как русского ‘идиота-выдумщика’ (Idiot-Manufacturer)»; возможно, «доза» Достоевского в романе Уолпола была для нее слишком сильной. «Темный лес» показался ей «защитой русского идиота»: «Мне стало ясно, – писала она, – что ваша главная идея: идиоты (подобные Тренчарду) обладают высшим запасом духовности, потому что – не ваша ли это фраза – “они больше способны к любви”. <...> Действительно, мне не нравится Ваше произведение; я считаю его неглубоким и лишенным художественного импульса»³². Тем не менее позднее «Обсервер» назвал «Темный лес» «одним из лучших романов нашего поколения»³³.

* * *

В конце сентября 1916 г. Уолпол открыл на Адмиралтейской набережной в Петрограде «Англо-русское бюро», ставшее широко известно как «Офис британской пропаганды» («British Propaganda Office») ³⁴, ориентированный на «противостояние эффективной немецкой пропаганде, которой непрестанно подвергались русские» ³⁵. Среди его сотрудников был корреспондент «Дейли кроникл», хорошо знавший и любивший Россию 38-летний британский журналист, корнуолец Гарольд Уильямс, который существенно помогал Уолполу. Он женился на русской журналистке – Ариадне Тырковой, жил в России с революции 1905 г., свободно владел не менее чем 35 языками, включая диалекты Российской империи, и опубликовал книгу «Россия русских» («Russia of the Russians», 1914). Он работал в бюро, не будучи на государственной службе, не получая жалованья, и был живой энциклопедией, главным источником информации по русским вопросам – всегда в распоряжении и посла, и Уолпола; как никто иной, он понимал, что грозит России ³⁶.

Уолпол работал в Бюро до конца 1916 г. и большую часть 1917 г. посол доверял ему. В дневнике 4 ноября 1916 г. Уолпол записал, что на вопрос Бьюкенена, «что сказать царю по поводу здешних антианглийских настроений», он откровенно ответил: они – результат «родственных связей и денег, и ни то, ни другое мы изменить не можем» ³⁷.

Уолпол вел в Петрограде подробный дневник. 14 марта 1917 г. (он датирует события по григорианскому календарю. – Т. К.) он записал: «...Посол попросил меня написать официальный отчет о Революции. Гарольд <Уильямс> впал в истерику, предчувствуя наступление Коммуны» ³⁸. Но для Уолпола начало обеих русских революций было неожиданностью ³⁹. Тем не менее за сутки – с утра 19 марта и до рассвета следующего утра, закрывшись в офисе, он написал официальный отчет, который 20 марта, включенный в дипломатическую почту посла, он был отправлен в Лондон в Форин-офис (см. приложение к статье).

В письме матери в 1917 г. он отозвался о русской революции как о «несомненно самом значительном событии в этой войне, воздействие которого на всю Европу огромно» ⁴⁰. А меж тем власть

в Петрограде постепенно переходила от Временного правительства к рабочим и солдатским советам. Уолполу дали в помощь британского журналиста и историка Бернарда Пэрса, тогда корреспондента газеты «Дейли телеграф», и прислали дополнительную сумму денег из Лондона. Но, как замечает Р. Харт-Дэвис, «дни Англо-русского бюро уже были сочтены», «новая власть воспринимала бюро как агента реакционной империалистической власти, и Хью постепенно стал впадать в депрессию. Но все-таки наслаждался белыми ночами в мае, а Сомов сводил его в цирк и на борцовские состязания»⁴¹.

В третью неделю июня он уехал в Лондон. А 17 июля 1917 г., навещая семью в Эдинбурге, начал писать «Тайный город».

2 октября 1917 г. он последний раз поехал в Россию. Но вскоре стало ясно, что оставаться в России нет смысла, и 8 ноября 1917 г., на второй день после большевистского переворота, он уехал из Петрограда. В дневнике записал, что из окна кэба, отвозившего его на вокзал, видел, как на улицах возводят баррикады и следы от снарядов, нанесших ущерб Зимнему Дворцу. «Его русское приключение закончилось»⁴².

В Лондоне Уолпол получил работу в Министерстве иностранных дел, в Отделе информации, основанном в начале войны; возглавил его историк, политик, писатель Джон Бакен (John Buchan); к работе в нем привлекались многие писатели, среди них Г. Уэллс, А. Беннет, Уильям Арчер, Джон Мэнсфилд. Уолпол работал в Отделе до февраля 1919 г.⁴³

* * *

Роман «Тайный город» вышел в свет 17 января 1919 г.⁴⁴ Это было своего рода продолжение «Темного леса», ибо в него перешли некоторые персонажи – доктор Семёнов и повествователь – Джон Дёрворд (русские называют его Иван Андреевич). Оба они (Дёрворд раньше, Семёнов позже) вернулись в Петроград. Дёрворд, с детства страдавший хромотой (у него повреждено левое бедро), проболел зиму 1916 г. и восстановился лишь к весне. Он живет в Петрограде уединенно на Лоцманском острове, в конце Екатерингофского проспекта, погруженный в воспоминания о Марии и ее погибшем бывшем женихе – Джоне Тренчарде.

Осенью 1916 г. Дёрворд в гостях познакомился с Николаем Леонтьевичем Маркóвичем, бесталанным изобретателем, и подружился с его семьей (ее прототипом послужила семья, в которой Уолпол жил в Москве). Жена Маркóвича – Вера Михайловна (Семёнов – ее дядя) произвела на него сильное впечатление, он видит в ней настоящую русскую женщину – естественную, решительную, способную защищать слабых⁴⁵, но несчастливую, недаром часты ее ссоры с мужем. Как Маша в «Темном лесу», Вера в «Тайном городе» – центр романа. Дёрворд не влюблен в нее: в ней нет слабостей, наивности, беспомощности, на его взгляд, вызывающих любовь⁴⁶.

Кроме Дёрворда, в романе еще два британских персонажа – смелый, самоуверенный поэт Генри Боун, которому кажется, будто он понимает Россию. Он прибыл в Петроград с той же целью, что и автор романа. Другой персонаж – 32-летний Джерри Лоуренс, знакомый Дёрворда по Кембриджу. Его отец, Стивен Лоуренс, работал управляющим каких-то предприятий в Петербурге, и первые 15 лет жизни Джерри провел в России; власти вспомнили об его знании России и перевели его из Франции в Британскую военную миссию в Петрограде. На пароходе по пути в Россию Боун самоуверенно объясняет Лоуренсу нравственные, психологические, боевые особенности русских; его рассуждения напоминают Стивена Грэма: «Мистицизм русского крестьянина спасет мир. Это обожание Бога...»⁴⁷

В Петрограде Боун сначала жил в гостинице «Франция», которой, как ему кажется, свойствен запах типичной русской гостиницы – щей, семечек, пачулей, канализации, моря, рыбы и мокрых мостовых⁴⁸. Потом он снял комнату у Марковичей. Россия опрокидывает все его представления о ней. В Петрограде пространство города, размеры зданий делают человека незначительным. Боун ощущал там, что он никто. Западный мир казался ему просто несуществующим. Газеты приходили с таким опозданием, что было бессмысленно читать их. Он столько слышал о гостеприимстве русских – это впечатление сложилось особенно в результате чтения книг С. Грэма: «горячие сердца вокруг горячих самоваров»⁴⁹, но Марковичи предоставили его самому себе, и только когда Вера обратила на него внимание, он воспрянул духом и пришел к выводу:

невозможно жить с русскими по соседству и не испытывать к ним симпатии: «Они так похожи на детей»⁵⁰.

Для Дёрворда Петроград – «место с ужаснейшей тайной жизнью», у него нет древней истории, зато в каждом его камне есть душа и дух почвы⁵¹. Лейтмотив романа: «Петроград – странный город». Это замечают и Боун, и Дёрворд, которому это нравится: «...В этом городе, чьи тьма и свет, интрига и внешние проявления, слова и действия, казалось, рождены некой таинственной силой, возникшей из самой почвы, из самого воздуха, малейшее действие обретает чудовищные пропорции». И тут он формулирует важнейшее, ключевое для многих британцев, представление о России: «Когда вы несколько лет живете в России, то перестаете удивляться, что ее жители предпочитают бездействие – почва настолько сильнее, чем люди, которые живут на ней». Петроград показан в романе как очень разнообразный, разноликий город (еврейский рынок – скопление людей разных национальностей – татары, евреи, китайцы, японцы, индусы, арабы, мусульмане и христиане), как город Достоевского – «Бедных людей» и «Преступления и наказания», цирка, Александринского театра, «Маскарада» Мейерхольда, который ставили десять лет⁵². Петроград – город современного искусства, хотя поэзия и проза Серебряного века не близки Дёрворду: Бальмонта он считает претенциозным, эссе Мережковского скучными, «Петербург» Андрея Белого – непонятным (возможно, из-за «недостаточного знания русского», как он признается себе), однако живопись Сомова, Бенуа, Добужинского, Лансере и Остроумовой приводят его к мысли о том, что у русского искусства – «настоящее будущее»⁵³.

Еще один лик Петрограда, одновременно трогательный, зловещий, опасный, предвещающий крайности революции, – прибившийся к Дёрворду бомж, маргинал, анархист Рэт (по-английски – крыса), видимо, в прошлом совершивший немало преступлений (грабеж, насилие, убийство). По словам Дёрворда, он «был, как дикарь в центре Африки», грязный, в лохмотьях, жестокий рот, но «глаза кроткие и добрые, как почти всегда глаза у русского крестьянина». «Он был единственный абсолютно счастливый русский, которого я встретил, – замечает Дёрворд. – У него не было приступов отчаяния»⁵⁴. Но Дёрворд чувствовал, что Рэт, для которого мир делился на бедных и богатых, вполне мог убить его.

Именно Рэт предупредил Дёрворда, что скоро в городе начнутся волнения⁵⁵.

Еще один образ Петрограда – царский сановник Вилдерлинг, у которого снимает комнату Джерри Лоуренс. В его квартире Дёрворд, приглашенный на ужин, ощущает «атмосферу порядка, комфорта, благоустроенности, а главное – безопасности», по контрасту с собственной квартирой и квартирой Маркóвичей⁵⁶. Вилдерлинг представляет наиболее консервативные слои российского общества. По его мнению: «...русский крестьянин не готов к свободе, и если бы, – говорит он Дёрворду, – вы дали ему свободу сегодня, вы погрузили бы страну в самые жуткие муки анархии. <...> Закончим войну и постепенно под мудрым руководством дадим образование каждому мужчине, женщине и ребенку. Наш царь самый либеральный правитель в Европе – и он знает, что хорошо для его детей. <...> Каждому русскому сейчас надо верить в простые вещи – религия, Царь, страна. Допустите ваши реформы, и через неделю каждый говорун в стране встанет вверх ногами, будет говорить, кричать, драться. Немцы оккупируют Россию в удобный момент, и вы на Западе будете разбиты, а цивилизация отброшена на 200 лет назад. Единственная надежда для России – единство, для этого нужен порядок, а для порядка, во всяком случае, в России, нужна авторитарная власть»⁵⁷.

И Дёрворд задумывается, а может быть, барон прав: мир официальной России, порядка – это безопасный мир. А по другую сторону: Рэт, знакомый Маркóвичей – большевик Борис Николаевич Грогов и сам Николай Маркóвич.

Но неотвратимо и подспудно наступает время анархиста Рэта и Грогова, болтливового, демагогичного, всплывающего на революционной волне и занимающего, видимо, важное положение в стане большевиков, потому что к нему домой приходит Ленин. Грогов показан как человек крайне неприятный и в личном плане. Когда к нему как к своему давнему поклоннику прибегает сестра Веры – хорошенькая, смешливая Нина, в шоке ушедшая из дома, узнав, что Лоуренс любит не ее, а Веру, Грогов принимает ее, но жениться не намерен, он – сторонник свободной любви, мучает, бьет ее, держит под надзором кухарки, не выпускающей ее из дому (все это она рассказывает после бегства из дома Грогова).

Февральская революция изображена в романе обыденно – как цепь событий повседневности. Происходит важнейшее историческое событие, но персонажи – и семья Маркóвичей, и британцы – не сразу сознают это. Лишь Дёрворд испытывает смутное чувство тревоги, периодически встречая на улицах Петрограда таинственного крестьянина с черной бородой, видимо, напоминающего о другой, невидимой здесь, скрытой, огромной России, он – своего рода метафора надвигающейся революции.

В романе – лишь несколько ярких революционных эпизодов. После отречения Николая II Вилдерлинг в отчаянии, утратив инстинкт самосохранения, стреляет из окна своей квартиры в революционеров, они настигают его и расстреливают – так показан в романе конец старой монархической России. Еще один эпизод – полицейский ищет убежище в доме Маркóвичей, его преследуют восставшие. Тут Маркóвичи ощутили, что революция «пришла к ним, и не только революция, но странный новый тайный город – Петроград, <...> земля уходила у них из-под ног»⁵⁸.

Еще один «революционный» эпизод: кухарка Дёрворда торжественно сообщает ему, что все теперь будет по-другому – революция! Но вид его больного желтого лица тронул ее, как болезнь и несчастье, замечает Дёрворд, трогают всякого русского, каким бы старым и бедным он сам ни был⁵⁹.

С Дёрвордом – alter ego автора наиболее явно связан цивилизационно-философский дискурс романа, ибо именно Дёрворд пытается разобраться и понять, что такое жизнь, что такое Россия и как она соотносится с Западом: «Суть тайны жизни – изоляция одного человека от другого, и в этом же суть неудовлетворенности; единственная цель жизни – осознать эту изоляцию, любить другого <...>; но у нас, западных людей, есть хотя бы комфорт нашего ожидания, нашего материализма, нашего равнодушия к идеям. Русские, думаю, живут в мире одиночества, населенном только идеями. Их импульсы к исповеди, братству, пороку, цинизму, вере в Бога и презрению к Нему – все рождено этим миром»⁶⁰. «Русская юность – это нечто, о чем западные люди не имеют представления, ибо не привыкли с младенчества купаться в атмосфере, настоенной только на идеях. Ни в одной русской семье не препятствуют детям познавать жизнь, как она есть. И тем не менее русский мальчик или девочка, становясь подростками, не имеют

ни малейшего представления о том, что такое жизнь. <...> Только клубок бессвязных, плохо переваренных идей. <...> Опыт приходит, конечно, но большей частью – несчастливый. Жизнь – трагедия для каждого русского просто потому, что он забывает о повседневности в погоне за конечным смыслом. Мы на Западе научились презирать конечные смыслы как нечто непрактичное <...>⁶¹. И далее Дёрворд замечает: «...Мы любили балет, любили Толстого и Достоевского (переводили их мистицизм в сентиментальность...) <...> Но что бы Россия ни сделала <...> для остального мира, она в конце концов останется одна – изолированная в своей форме правления, идеалах, амбициях, самопожертвованиях. На какой-то момент внешняя политика иностранных правителей, казалось, втянула ее в западный водоворот. Всего мгновение она пробыла там. И выскользнула обратно под своей вуалью тумана и тени. Мы можем торговать с нею, вмешиваться в ее политику, красть ее Искусство, <...> она останется одна, сама по себе, таинственная, <...>»⁶².

Тем не менее сам Дёрворд чувствует себя в России душевно комфортно. Об отношении русских к себе он говорит: «Что-то пассивное и пессимистическое во мне часто приводило к тому, что русские считали меня родственной душой»⁶³. На вопрос Веры, почему он остается в России, Дёрворд отвечает, что ему здесь нравится. Она возражает: «Вы не можете любить ее. В России *ничего* любить». «В ней есть все, – отвечает Дёрворд и добавляет: – И у меня здесь друзья»⁶⁴. Позднее он признается Боуну: «Я полюбил этих людей... Веру, Нину и Николая. Странно все-таки, что можно полюбить русских больше, чем своих соотечественников. Чем глупее они себя ведут, тем больше их любишь – а с соотечественниками все совсем по-другому. О, как я *хочу*, чтобы Вера, Нина и Николай были счастливы!»⁶⁵

Взаимоотношения британцев и русских, тяготеющих друг к другу как две противоположности и отталкивающихся друг от друга, – важный сюжетный вектор романа. Вера и Нина влюблены в Лоуренса, для Нины главное то, что он – англичанин и уже тем самым олицетворяет идею свободы. Как замечает Дёрворд: «Мы, англичане, не очень понимаем, почему русские любят нас за нашу легкую победу над тиранией и презирают нас за то, что мы так мало использовали эту победу <...>»⁶⁶. А Николай Маркóвич

говорит Дёрворду: «О, вы англичане! <...> Вас всегда считают достойными доверия»⁶⁷, имея в виду миф о британской порядочности. По-иному относится к англичанам доктор Семёнов: «Если бы даже вы и понимали нас – а вы не понимаете, – заявляет он Дёрворду, – суть в том, что мы не хотим вас, никого из вас, покровительствующих, похлопывающих нас по плечу, объясняющих нам нас, рассуждающих о наших душах, нашей непунктуальности и способности пить... Прошу вас не приходить в мою семью. Держитесь своих соотечественников»⁶⁸.

Но это не мешает ему, как и многим русским, быть склонным к самобичеванию: «Человеческая раса прогнила; она состоит из эгоизма, порока, подлости; она лицемерна <...> и из всех низких трусливых народов на земле русский народ – самый низкий и трусливый!» «Думаю, наш народ ленив и эгоистичен – его нужно стегать кнутом, чтобы заставить что-то сделать. Думаю, для него идеально немецкое правление, именно это они и получают, если их Революция продлится...». А Николай Маркóвич говорит Боуну: «...У русских нет чувства приличия, и поэтому нас бьют, мы проигрываем, и нас презирает весь мир, и все же мы лучше других...»⁶⁹ и тут же, эксцентрично, шокируя Боуна, бросается к нему и, обдав водочными парами, расцеловывает его в обе щеки. Боун, не привыкший к «сценам» и фамильярности решает, что «Маркóвич “чокнулся”»⁷⁰.

В романе чувствуется сильное присутствие Достоевского. Например, на дне рождения Нины персонажи демонстрируют свою непредсказуемость, эксцентричность в духе героев Достоевского. Маркóвич в отчаянии рассуждает о проигравшей войну России, ее ужасном положении и невозможности восстановления ее несколькими болтливыми бездействующими идиотами. Грогов, большевик, приняв это на свой счет, обзывает Маркóвича трусом, тот обзывает трусом его. Грогов швыряет в Маркóвича стакан, который разбивается о стену. Нина возмущена: день рождения испорчен, но вдруг целует Грогова, тот доволен и просит прощения у Маркóвича⁷¹.

Своего рода реплика Ивана Карамазова – доктор Семёнов. Дёрворд видит в Семёнове особый тип русского человека: сенсуалиста, который всю жизнь занимался тем, что удовлетворял свои аппетиты. «К несчастью для себя он – очень умный человек, и, как

всякий русский, – циник и идеалист одновременно – циник *потому, что идеалист*»⁷². Дёрворд ценит его «силу характера, бесстрашие – качества в стране, где они практически отсутствуют <...>»⁷³. После гибели Марии в «Темном лесу» Семёнов ищет смерти, но, как уже отмечалось, не может покончить жизнь самоубийством и потому цинично хочет использовать для этого Николая Маркóвича, заманив его в психологическую ловушку – сначала Семёнов хвалит его изобретения, потом смеется, издевается над ним, чтобы спровоцировать на убийство, и в конце концов Маркóвич, разочаровавшись во всем, во что верил – в России, в Вере (он видел, как она обнималась с Лоуренсом), попадает в ловушку Семёнова, убивает его из револьвера, а потом стреляет в себя.

В целом же впечатление Дёрворда о России сконцентрировано в его суждении о фильме, увиденном в одном из петроградских кинотеатров. Наблюдая в фильме виды Парижа: Оперу, площадь Согласия, Лувр, Сену, Дёрворд замечает: «Они казались нам странными и, как будто, лишь усиливали нашу изоляцию и ощущение того, что мы находимся в странной полувивилизации»⁷⁴. И позднее замечает: «Петроград это не подлинная Россия. Я не верю, что *существует* подлинная Россия»⁷⁵, возможно, ощущая некую зыбкость, неточность любых национальных обобщений.

Он выходит на экзистенциальный уровень, раскрывая Николаю Маркóвичу метафорический смысл названия романа: «Вы знаете поговорку “В сердце каждого человека свой тайный город. На алтарях этого города возносятся подлинные молитвы”»⁷⁶. У всех свои – тайны: Петроград чреват тайной революции, у Семёнова – тайная причина держать на крючке Маркóвича, у Веры – любовь к Лоуренсу, Дёрворд тоскует по Марии.

Темную, «достоевскую» сторону творчества Уолпола ощутил английский писатель Дж.Б. Пристли, заметивший, что «вдруг приятная легкая сцена делается у него прозрачной и видны яркие искры и красный огонь ада. <...> Неважно, насколько радостным и энергичным он кажется, он явно обладает необычно острым чувством зла»⁷⁷.

После выхода романа еще до появления рецензий пришло письмо от Арнольда Беннета: «Мой дорогой Хью, думаю, в “Тайном городе”, вы посягнули на невозможное. Поэтому не

удивляйтесь – я думаю, вы не достигли его. Конечно, я сужу книгу по высшим стандартам. Не понимаю, как Джозеф Конрад или сам Иисус Христос могли бы успешно изобразить события и людей, которых они знали всего два-три года, и вывести свое произведение на высший эмоциональный уровень. Такие подвиги просто не даются... Вы можете сказать, что сделали это в “Темном лесу”, но та книга была значительно менее амбициозна и масштабна. Более того, вы намеренно увеличили свои трудности, задумав сюжет (линия Маркóвич – Семёнов) огромнейшего психологического смысла, но фантастически щекотливый, зыбкий, чтобы изобразить его убедительно». Уолпол ответил ему: «Я нашел путь к изображению того, что хотел, – это своего рода история о призраке, символизирующем начало революции. Я ни в коей мере не претендовал на истинный, единственно возможный взгляд на людей или события, только на то, что это мой взгляд...»⁷⁸

А в 1919 г. после уик-энда у Джозефа Конрада, более чувствительного к русской тематике, Уолпол записал в дневнике: «Конрад сказал много замечательного о книге: он потрясен ее искусством, уровень замечателен, у нее настоящий стиль и т.д. Я слушал, как во сне»⁷⁹. В рецензиях, которые вышли вскоре, высказывались аналогичные мнения. Уолпол стал первым лауреатом шотландской премии Tait Black Memorial Prize за лучшее произведение, опубликованное в 1919 г.⁸⁰

Однако в бочке с медом были и ложки дегтя. Как заметил критик Дуглас Голдринг: «Россия была могилой многих репутаций, и наш Наполеон романа гостиных преуспел не больше, чем другие будущие завоеватели этой выбивающей из равновесия земли»⁸¹. Голдрингу русские и английские персонажи Уолпола показались клишированными стереотипами – на его взгляд, таких людей не бывает. Рецензент же в журнале «Панч», наоборот, писал: «Я консультировался у одного очень чуткого русского, и, по его мнению, если мистер Уолпол не преуспел в создании подлинного среднестатистического русского, он преподнес нам типажи, недостатки и достоинства которых передают атмосферу современной ситуации»⁸².

* * *

Пребывание в России изменило взгляд Уолпола на жизнь. В одном из писем, 9 марта 1916 г., он писал, что до войны верил: главное это Генри Джеймс и георгианские поэты, а лондонский литературный круг – это лучшее, что есть в мире⁸³. Теперь у него другие приоритеты и ценности. В России он ощутил связь, существующую между, казалось бы, далекими друг от друга по культурно-цивилизационной идентичности народами, осознал глубину общечеловеческого начала. Он не только был полезным на войне, «он, как заметил его биограф, принимал участие в огромной человеческой катастрофе, в которой глубокое чувство братства с русским народом питало его дух»⁸⁴.

Впоследствии Уолпол вернулся на круги своя и писал о том, что хорошо знал – об Англии. По типу творчества он находится где-то в переходе от эдвардианского реализма к модернизму. Недаром, друживший с Г. Уэллсом, Д. Голсуорси, С. Моэмом, он увлекался М. Прустом, а в его дружбе с Вирджинией Вулф присутствовала нота смирения перед ее художественным гением⁸⁵. На родине Уолпола оценили высоко: в 1937 г. он получил титул рыцаря от короля Георга VI.

Друзья в России и его восхищение русской литературой сохранились у Уолпола на протяжении всей жизни. В 1919–1920 гг. в программу его турне с лекциями по Америке вошла и лекция: «Россия». Позднее в течение 17 лет выступления о русских писателях – часть его репертуара, но к «России» как отдельной теме он более не обращался – большевики, ленинизм, сталинизм были для него неприемлемы, собственно это было очевидно уже в том, как он изобразил большевика Грогова в «Тайном городе».

¹ *Walpole H. The Secret City.* – N.Y.: George H. Doran Co, 1919. – P. 13.

² *Hemingway E. The Three Day Blow // Complete Short Stories.* – N.Y.: Scribner, 1987. – P. 88.

³ Как заметил в 2011 г. английский журналист и писатель Питер Хитченс: «Генри Джеймс и Джон Бакен хвалили его. Джозеф Конрад, Т.С. Элиот и Вирджиния Вулф хорошо о нем отзывались. Более того, его книги широко распродавались по обе стороны Атлантики, он <...> стал очень богат...», но

потом был забыт (*Hitchens P. Holiday Reading // The Mail on Sunday. 2011. 8 August 2011. Электронный ресурс: <http://www.hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2011/.../holiday-reading.h...>*) В 2013 г. Би-би-си отметило признаки возрождения интереса к творчеству Уолпола, переиздания его романов в Британии и США, в их числе «Темный лес» и «Тайный город» (*Youngs I. Author Hugh Walpole comes in from the cold // BBC, 28 March 2013. Электронный ресурс: <http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-21829409>*).

4 *Hart-Davis R. Hugh Walpole. A Biography. – L.: Macmillan & Co.Ltd., 1952. – P. 117–119.*

5 *Ibid. – P. 39.*

6 *Walpole H. A Prefatory Tale // Famous stories of five centuries / Eds. Walpole H., Wilfred Partington. – New York, 1934. – P. 10.*

7 *См.: Steele E. Hugh Walpole. – London: Twayne, 1972. – P. 15.*

8 *Hart-Davis R. – P. 10–11.*

9 *Ibid. – P. 110–112.*

10 *Karsavina T. Theatre Street, 1930. Цит. по: Hart-Davis. – P. 152–153.*

11 *Ibid. – P. 119.*

12 *Цит. по: Hart-Davis. – P. 125–126.*

13 *Ibid. – P. 126.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid. – P. 129.*

16 *Цит. по: Hart-Davis. – P. 130–131.*

17 *Ibid. – P. 127.*

18 *Ibid. – P. 132.*

19 *Цит. по: Hart-Davis. – P. 134.*

20 *Ibid. – P. 135.*

21 *Цит. по: Steele E. Hugh Walpole. – London: Twayne. Steele, 1972. – P. 55.*

22 *Hart-Davis. – P. 136.*

23 *Ibid. – P. 137.*

24 *Цит. по: Hart-Davis. – P. 141.*

25 *Ibid. – P. 139.*

26 *Эту боевую награду за участие в войне на передовой генерал Платон Алексеевич Лечицкий вручил Уолполу позднее по дороге в Петроград, куда он отправился 15 августа 1915 г. (Hart-Davis. – P. 139, 143).*

27 *Ibid.*

28 *Ibid. – P. 140.*

29 *Alexander T., Verizhnikova T. Ransome in Russia – Arthur's Adventures in Eastern Europe. Fareham, Hampshire: Portchester, 2003. – P. 65–66; Hart-Davis. – P. 148.*

30 *Hart-Davis. – P. 149, 168.*

31 *Цит. по: Hart-Davis. – P. 149.*

32 *Ibid. – P. 172, 173.*

33 *«The Secret City» // The Observer, 9 February 1919. – P. 4.*

34 *Hart-Davis. – P. 156.*

35 *Ibid. – P. 148.*

- ³⁶ Ibid. – P. 151.
³⁷ Ibid. – P. 157; *Steele E.* – P. 58.
³⁸ *Hart-Davis.* – P. 169.
³⁹ Ibid. – P. 171.
⁴⁰ Ibid. – P. 161.
⁴¹ Ibid. – P. 162.
⁴² Ibid. – P. 163–164.
⁴³ Ibid. – P. 181.
⁴⁴ Ibid. – P. 178.
⁴⁵ Ibid. – P. 30, 59.
⁴⁶ Ibid. – P. 134.
⁴⁷ *Walpole H.* *The Secret City.* – N.Y.: George H. Doran Co, 1919. – P. 20.
⁴⁸ Ibid. – P. 23.
⁴⁹ Ibid. – P. 54–55.
⁵⁰ Ibid. – P. 303.
⁵¹ Ibid. – P. 45.
⁵² Ibid. – P. 96, 122, 125, 127, 157.
⁵³ Ibid. – P. 57.
⁵⁴ Ibid. – P. 89, 91.
⁵⁵ Ibid. – P. 132.
⁵⁶ Ibid. – P. 114.
⁵⁷ Ibid. – P. 116, 117.
⁵⁸ Ibid. – P. 252.
⁵⁹ Ibid. – P. 302.
⁶⁰ Ibid. – P. 162.
⁶¹ Ibid. – P. 179.
⁶² Ibid. – P. 315.
⁶³ Ibid. – P. 66.
⁶⁴ Ibid. – P. 163.
⁶⁵ Ibid. – P. 337.
⁶⁶ Ibid. – P. 179.
⁶⁷ Ibid. – P. 70–71.
⁶⁸ Ibid. – P. 167.
⁶⁹ Ibid. – P. 152.
⁷⁰ Ibid. – P. 217, 240 (152–153).
⁷¹ Ibid. – P. 143–145.
⁷² Ibid. – P. 307.
⁷³ Ibid. – P. 87.
⁷⁴ Ibid. – P. 63.
⁷⁵ Ibid. – P. 159.
⁷⁶ Ibid. – P. 347.
⁷⁷ *Priestley J.B.* *Hugh Walpole* // *The English Journal.* 1928. Vol. 17, N 7. September. P. 529–536.
⁷⁸ Цит. по: *Hart-Davis.* – P. 178.

⁷⁹ Ibid. – P. 179.

⁸⁰ The Times, 18 January 1921. P. 13.

⁸¹ *Goldring D.* Reputations – Essays in Criticism. – L.: Chapman and Hall, 1920. – P. 54–58.

⁸² Our Booking Office // *Punch*, Volume 156, 12 February 1919. P. 131.

⁸³ *Hart-Davis*. – P. 152.

⁸⁴ Ibid. – P. 141.

⁸⁵ Ibid. – P. 291, 290.

Хью Уолпол

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Депеша его высочества посла в Петрограде – о русской революции в марте 1917 г.¹

Сэр Джордж Бьюкенен мистеру Бальфуру [министру иностранных дел] (получено 5 апреля [23 марта]²)

Петроград, 20 [13] марта 1917 г.

Сэр, имею честь передать вам детальный отчет о русской революции с краткой оценкой ее причин. Этот отчет был составлен по моей просьбе мистером Уолполом. <...> Я благодарен за этот поразительный документ и д-ру Гарольду Уильямсу, который, благодаря тесным связям с многими ведущими членами Временного правительства и пребыванию в Думе день и ночь в течение минувшей недели, смог оказать уникальную помощь мистеру Уолполу в создании отчета.

Я и сам поделился с мистером Уолполом некоторыми мнениями, и, смею надеяться, доклад окажется точным отчетом о событиях последних десяти дней. Честь имею и т.д. Джордж У. Бьюкенен.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1. 16 [3 марта] марта 1917

1. Каковы бы ни были непосредственные причины, приведшие к революции в России, ее успех стал возможным только благодаря изменению с 1905 г. отношения общества к Трону

и правительству. Первые четыре года после так называемой новой Конституции разрушили веру в искренность обещаний императора; выяснилось, что он просто представитель своего бюрократического окружения, и таким образом постепенно он оказался на заднем плане политической ситуации, а его место заняло правительство.

На короткое время в начале войны страну действительно объединил единый идеал, внутренний разлад был забыт, но неожиданно проявившиеся значительность народа, его духовный подъем и сила, таившаяся в единстве цели, вызвали недоверие у правительства. Тем не менее, пока все шло хорошо, люди были довольны, но неудача в Галиции породила первые ростки недоверия к компетентности министров. Тогда стало ощущаться, что на правительство влияют два мотива, а именно – явный прогерманизм и сосредоточенность на интересах бюрократии, эти страхи подтвердила замена разоблаченных предателей людьми той же ориентации. Назначение Штюрмера премьером и министром иностранных дел окончательно разрушило доверие к правительству, с этого момента стало очевидно, что внутренняя борьба имеет первостепенное значение.

2. Настроения, распространившиеся в империи, впервые явно проявились в Думе, собравшейся в августе 1915 г.; правительство подверглось обвинениям и в Думе, и в прессе. Следующий инцидент произошел в ноябре 1916 г. на открытии Думы, которое правительство оттягивало как можно дольше. Пример Франции и Англии по реформированию кабинетов министров в то время дал дополнительный импульс и впервые с 1905 г. воля народа возобладавала – Штюрмер был отстранен. Разоблачения, сделанные Милюковым и Пуришкевичем о «темных влияниях» на Трон и правительство, породили не только в верхних слоях среднего класса, но даже у знати и духовенства те же настроения, что в народе, так что все покинули правительство, кроме крайних реакционеров и людей, настроенных прогермански. Ненадолго ситуация улучшилась с премьерством Трепова, но когда его быстро сменил Голицын, стало ясно, что недовольство всех классов, вплоть до широко известных партий, либо игнорировалось, либо презиравлось бюрократией. Последняя была представлена небольшой, но всем хорошо известной группой, во главе с Протопоповым в Совете

министров; Щегловитовым – в Совете Российской империи, которого уволили из министров тогда же, когда и Сухомлинова; Марковым II – в Думе; в Церкви – Питиримом, митрополитом Петроградским; а при дворе – императрицей и Распутиным. После смерти Распутина реакционеры сплотились вокруг Протопопова.

3. Каждого русского, озабоченного судьбами страны с 1905 г., не покидала мысль о Конституции. После первых военных неудач эта озабоченность особенно усилилась. Чувствовалось, что правительство неэффективно ведет войну. Главной проблемой был транспорт, а беспорядок, порожденный недостаточностью и неудовлетворительностью железных дорог, усиливался разделением транспорта на гражданскую и военную сферы. Таким образом, гражданское население обслуживалось неадекватно. <...>

Чтобы противостоять этой дезорганизации Земский и Городской союзы и Военно-промышленный комитет проводили неоценимую работу. Их значение и влияние усиливались с каждым днем и поэтому вызвали тревогу правительства, которое всеми возможными средствами тормозило их деятельность. Штюрмер, будучи у власти, издал несколько указов, препятствовавших их деятельности, а после его отставки, Протопопов продолжил ту же политику и в декабре 1916 г. запретил съезд этих союзов в Москве на том основании, что они вторгаются в деятельность правительства. Другая мера, направленная против этих организаций, – 87-я статья Конституции, дающая полиции право присутствия на всех собраниях любой организации.

Недовольство полицией нарастает во всех классах. В той же статье Конституции Протопопов повысил полномочия полиции по всей стране, обеспечив ее любым видом вооружения вплоть до армейских пулеметов.

В начале февраля он передал все управление внутренними делами двум своим помощникам, а сам целиком занялся полицией и цензурой прессы.

Цензура, всегда строгая, стала просто невыносимой. В нарушение закона цензуре подвергались даже выступления депутатов в Думе, и в январе прессе запретили отзываться о правительстве негативно. Короче, все ощутили, что правительство максимально использует войну, чтобы усилить себя за счет гражданских свобод.

4. В армии недовольство было не менее сильным. Деятельность армии как военной машины повседневно осложнялась из-за неэффективности военного руководства. Не делалось никаких усилий в национальном масштабе, чтобы обеспечить армию снарядами, пушками, вооружением, как во Франции и Англии, и было известно, что многое из того, что союзники посылали в Россию для фронта, до него не доходило по халатности или намеренно. Увольнение великого князя Николая с поста главнокомандующего произвело гнетущее впечатление на армию: ему полностью доверяли, в отличие от императора, которого из-за жены подозревали в симпатиях Германии.

Однако в стране не было идеи революции – она лишь усилила бы дезорганизацию и сработала на руку врагу. Более того, не было уверенности в успехе революции. Не было уверенности в поддержке армии; кроме того, в стране невероятно возросли полномочия полиции.

Вера правительства в инертность, пассивность народа укрепилась после того, как спокойно был воспринят указ Николая II в январе 1917 г. об отсрочке возобновления заседаний Думы. С этого момента очевидно, что правительство прибегало к любым провокациям, ибо верило, что может справиться с любыми беспорядками.

9 февраля [27 января] была арестована рабочая группа Военно-промышленного комитета, ее обвинили в заговоре против Трона и без судебного разбирательства посадили в тюрьму. На фабриках появились социал-демократические агитаторы, убеждавшие рабочих бастовать и выражать свое недовольство. В ожидании беспорядков при возобновлении работы Думы 27 февраля [14 февраля] на ключевых позициях были установлены пулеметы для обстрела улиц, и хотя Дума успешно предприняла все меры по обеспечению спокойствия, пулеметы не были убраны. Попытки спровоцировать бунт продолжались. И когда господин Милюков написал письмо в прессу об опасностях беспорядков, его сначала запретили публиковать. То же произошло и с аналогичным призывом рабочей группы не прекращать работу.

5. Одновременно в целях провокации и предосторожности – для самозащиты, правительство вывело Петроград из ведения командования Северного фронта и объявило его самостоятельным

военным округом. Это вызвало негодование жителей, и когда новый губернатор, генерал Хабалов, обнародовал свое первое обращение к ним, предупреждающее их, якобы для их же пользы, о наказаниях за беспорядки, это было воспринято просто как намеренный дополнительный вызов народу.

6. К этому времени начался продуктовый и топливный кризис. В течение крайне суровой зимы люди ежедневно выстаивали многочасовые очереди, чтобы получить совершенно недостаточный хлебный паек. К началу марта даже этот источник начал иссякать – возникла проблема голода. Так же не хватало топлива. Люди терпели, сколько могли. В хлебных очередях они убеждали друг друга переносить трудности ради войны, пока более уже не могли терпеть и вышли на улицы, требуя необходимого для жизни.

II. Прелюдия (четверг, 8 марта [23 февраля] – воскресенье 11 марта [27 февраля])

Четверг, 8 марта [23 февраля] 1917. После полудня люди, толпами ходившие туда-сюда по Невскому проспекту, к своему удивлению, увидели небольшую группу казаков, на полной скорости галопом проскакавших по проспекту к Адмиралтейской набережной. Мгновенно возник слух, что, возможно, на той стороне реки взбунтовались рабочие, по одним слухам, из-за серьезного хлебного кризиса, по другим – из-за гнусного правительственного кризиса, и тут же об этом эпизоде забыли. Значительных новостей не было; уже долгое время не приходили вести с Восточного фронта, а недавние успехи на Западном фронте были слишком частными, чтобы обычный русский человек понял их значение. В это время мало или вообще не говорили о русской революции; некоторые ожидали, что открытие Думы 27 [14] февраля послужит сигналом для беспорядков, но открытие прошло спокойно. Дума вела скучные и долгие споры с министром сельского хозяйства Риттихом, который обосновывал меры по решению продовольственного кризиса.

Одной из тем, занимавших петроградскую «интеллигенцию» во второй половине четверга, была недавняя *премьера* в Александринском театре – возобновленный лермонтовский *«Маскарад»*; эта роскошная постановка готовилась десять лет, ее богатство

и необычность не соответствовали страдающей и обедневшей России. Погода была прекрасная, длинные очереди женщин крестьянского типа у хлебных магазинов уже казались обычными, и поговаривали, что раз уж люди так долго проявляли примерное терпение в столь отчаянных ситуациях, возможно, они смогут еще потерпеть.

Но те проскакавшие галопом по Невскому казаки ознакомили собой начало русской революции. В четверг днем и вечером были ограблены хлебные магазины в бедных районах города; и небольшая процессия студентов и женщин спокойно прошла по Невскому, соблюдая все правила приличия и порядка – тем не менее это был знак и предзнаменование.

Пятница, 9 марта [24 февраля]. На следующее утро стало ясно, что начались волнения. Несколько ежедневных газет: биржевая газета, «Русская Воля», «День» не вышли в тот день. <...>

Тем временем в Думе дебаты о продовольствии были свернуты, чтобы выяснить в правительстве, какие меры были приняты для обеспечения продовольствием Петрограда. Правительство ответило, что управление продовольственным снабжением Петрограда передали в Петроградский городской департамент общественных дел.

В пятницу утром на Невском и других больших улицах города царила праздничная атмосфера. Толпы двигались туда-сюда, следуя главным образом за группами студентов или рабочих, у которых, казалось, была осознанная цель движения. Наблюдателя несомненно поразило бы полное отсутствие тревоги, страха; везде смеялись и шутили, а бодрящие краски яркого зимнего дня дополняли это чувство веселья и уверенности. В то же время казаки явно патрулировали улицы. Но когда они получали приказ рассредоточить толпу, было заметно, что действовали они медленно и осторожно; толпа в свою очередь всегда уступала им дорогу и приветствовала их. Кое-где можно было увидеть группы казаков, стоявших подле своих лошадей и со смехом разговаривавших с рабочими, женщинами и студентами. Они уверяли людей, что, даже если и получат приказ офицеров, стрелять не будут.

Такая позиция солдат утром и днем в пятницу явно знаменует собой этап в революции. Ни одно восстание не может рассчитывать на успех, если армия не на его стороне; и наоборот, все

возможно при поддержке армии. С того момента, как солдаты перешли на сторону народа, у правительства возникли все основания для серьезного беспокойства.

Тем временем было очевидно враждебное отношение к полиции. Утром в пятницу у Казанского собора в полицейских бросали камнями и битыми бутылками, и офицер на лошади четыре раза выстрелил из револьвера. Более того, на некоторых улицах поломали и опрокинули трамваи, возникли небольшие столкновения между полицией и толпой. Днем произошел значительный инцидент: арестовали двух рабочих вожakov и доставили в один из участков на Казанской. Толпа разозлилась и попыталась штурмовать участок, чтобы их освободить. Солдаты, защищавшие участок, уже стояли с винтовками наизготовку у плеча, целясь людям в ноги, и офицер поднял руку, чтобы дать сигнал стрелять, но тут появилась большая группа казаков, разогнала толпу, освободила рабочих лидеров, и они скрылись в толпе.

Однако никто не сознавал, что революция уже началась. Дух любопытства сохранялся с начала до конца революции, так что даже в понедельник и вторник можно было видеть женщин и детей в центре уличных схваток, широко открытыми глазами смотревших на все, будто они наблюдали мелодраму в одном из кинотеатров – и это настроение доминировало до полудня в пятницу.

Все ждали, что же произойдет, и кроме стычек с полицией, проявляли юмор и дружелюбие. О политике упоминалось очень редко. К вечеру в пятницу – посреди Невского рабочий, стоя на перевернутой бочке, обратился к толпе: «Надо избавиться от Штюмеров, Голицыных, Протопоповых, которые правят нами. Людям нужен хлеб; они не могут работать без хлеба». Когда кто-то в толпе закричал: «Долой войну!», он ответил: «Помните, что кровь наших братьев не должна быть пролита напрасно. Сперва надо избавиться от этого правительства; и мир, когда его заключат, должен быть достойным». Он призвал людей избегать бунта и любых стычек с полицией: «Не бить окна, не бросать камни, ибо в цеха могут придти провокаторы и призывать рабочих к бунту. Это агенты правительства; правительству нужен предлог, чтобы сокрушить народ. Не бунтуйте – не играйте им на руку, сохраняйте спокойствие; главное – заставить правительство уйти».

Потом он убедил толпу разойтись по домам «с песнями». Его выступление, длившееся от 15 до 20 минут, вызвало аплодисменты, и, пока он говорил, более сотни казаков на лошадях собрались по краям толпы и слушали, не прерывая выступающего. Эта речь, хотя и более политическая, чем все, что тогда говорили, была типична по своей терпимости и добродушному настрою, царившим повсюду в пятницу во второй половине дня.

Суббота, 10 марта [25 февраля]. Утром в субботу город проснулся в иной ситуации. Всем было ясно, что митинги, шествия и выступления в пятницу не подавлялись, а поддерживались солдатами. К этому субботнему утру реакционеры осознали, что дела очень серьезны, и действительно любая прогулка по городу свидетельствовала об изменениях в атмосфере города. По-прежнему царили любопытство и пассивное, даже дружественное отношение к силам порядка и закона; но люди уже говорили друг другу, что было бы преступлением пропустить этот момент решительного и организованного протеста. Каждый поглядывал на соседа, пытаясь понять, как далеко он готов пойти.

Первыми с организованным протестом выступили рабочие. Суббота — день их получки, и каждый из них, получив ее, присоединялся к товарищам и обсуждал ситуацию. В результате началась почти всеобщая забастовка, и в субботу днем в толпе на Невском явно преобладали уже не женщины и студенты, как в четверг и пятницу, а серьезные, полные решимости рабочие.

Но настрой людей был мирным, хотя веселость и смех исчезли. Толпы на Невском стали огромными, странность происходящему теперь придало прекращение движения трамваев и саней. Кто-то пытался проехать на авто, но их обычно останавливала толпа; однако ничего важного днем не произошло. Вечером раздавались выстрелы, но люди не верили в то, что стреляли солдаты; говорили, это скорее полиция, переодетая в солдат.

Вечером открылись театры, заполнились кинотеатры; вид города, если не считать отсутствия трамваев, казался вполне обычным. Но везде собирались группы людей, обсуждали ситуацию, рабочие проводили митинги, в Думе царили мрачные предчувствия и ожидание.

«Завтра будет величайший день в нашей истории», – сказал один русский своему английскому другу. Едва ли он полной мере сознавал, насколько был прав.

III. Импульс к революции

Воскресенье, 11 марта [26 февраля]. В воскресенье рано утром сразу стало ясно, что правительство решилось на крайние меры. По всему городу распространялись листовки, подписанные военным губернатором города – Хабаловым: если рабочие в понедельник утром не вернутся на работу, их немедленно пошлют на фронт; запрещалось также собираться толпами на улицах, в противном случае полиция и военные будут разгонять толпы всеми доступными им средствами.

На улицах явно усилилось патрулирование, вызвали войска. Несмотря на предупреждение полиции о возможности применения оружия, толпы везде были огромными. А день – светлым и чудесным, никто не чувствовал опасности; многие женщины пришли с маленькими детьми, бегавшими в толпе и без страха стоявшими близ лошадей вооруженных винтовками казаков и конной полиции. Предупреждения и приказы властей явно не были эффективны, и, вероятно, именно тогда, в воскресное утро 11 марта [26 февраля] правительство решилось на непосредственные и, как оно надеялось, решительные действия; хотя серьезных оснований для гнева у него не было: люди собирались в толпы, но их митинги и шествия были спокойными, достойными и сдержанными.

Они лишь требовали гарантий принятия немедленных, практических мер по преодолению ужасной нехватки продовольствия, для чего у правительства были все возможности, что понимали каждый мужчина, женщина и ребенок в Петрограде.

В течение дня одна из рот Павловского полка отказалась, несмотря на приказ, стрелять в толпу. Эта первая, открыто взбунтовавшаяся рота, была разоружена Преображенским полком. Днем около 4.20 началась стрельба около гостиницы «Европа» и Аничкова дворца. Как теперь удалось установить: причин для расстрела толпы не было, но к концу дня убили около 200 человек; тем не менее эти действия оказались достаточными, чтобы придать революции патриотический и законный характер.

Даже в воскресенье утром отношение толпы ко всем, кроме полиции, было терпимым. Ранним вечером Невский совершенно очистили от народа, все контролировалось гвардией. Но было поздно. Движение явно обрело политический характер: «Сколько же мы вынесли от этого правительства. Теперь они расстреливают нас, хотя мы не сделали ничего плохого. И уж тут мы не остановимся, пока правительство не уйдет в отставку».

В то же время многие русские в этот воскресный вечер с грустью думали о том, что революция уже закончилась, обреченная, как все русские революции. «Видите, – сказал один русский, глядя на яркий великолепный Невский проспект, охраняемый патрулями и совершенно обезлюдевший, – мы проиграли. Они слишком сильны».

Тем временем в Думе произошли серьезные события, и днем ее председатель – Родзянко послал царю телеграмму: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца. РОДЗЯНКО».

Одновременно Родзянко информировал командующих разными фронтами об этой телеграмме и призвал их поддержать свои действия. Правительство весь день было в растерянности, не зная, что делать. Наконец, вечером оно решило временно прервать работу Думы, у премьера – князя Голицына был запасен бланк для такой акции в случае необходимости. Узнав об этом, некоторые члены Думы отказались прекратить работу, продолжали оставаться в зале заседаний и выбрали Временный комитет.

Таким образом, к вечеру в воскресенье революция получила конституционное признание. Еще никто не знал, какую она примет форму, но никто не сомневался, что началось движение, которое надо довести до конца.

IV. Решительный день
(понедельник, 12 марта [27 февраля])

Понедельник, 12 марта. В воскресенье ночью были сильные волнения среди рабочих и особенно в казармах. Солдаты поняли, что их нечеткая позиция предшествующих дней больше не могла сохраняться, возникали жестокие споры, заканчивающиеся одинаково. Они не хотели повиноваться приказам – стрелять в своих отцов, матерей и сестер; если завтра будут даны такие приказы, они знали, что делать.

И последовал неизбежный результат. В понедельник утром солдаты Преображенского – лучшего из гвардейских полков, неизменная гордость русской монархии, получив приказание стрелять, выстрелили в собственных офицеров. Усмирить преображенцев сразу же послали части Волынского полка, но они присоединились к бунтарям. Некоторое время царил хаос. Солдаты не знали, куда идти и что делать. Их офицеры чувствовали себя бессильными. Поначалу взбунтовавшиеся войска бродили по округе, не грабя, но крича, веселясь и обсуждая происходящее. Наконец, в понедельник утром под предводительством рабочих и революционеров они штурмовали арсенал. По словам очевидцев, его взяли быстро. Почти без сопротивления. Несколько офицеров убили, и военный арсенал, со всеми его винтовками, пистолетами, пулеметами, боеприпасами, перешел в руки народа.

События развивались с быстротой, захватывающей дух. Все полки, посланные на подавление восстания, к середине понедельника перешли на сторону народа: Волынский, Преображенский, Литовский и Кексгольмский и Саперный – всего 25 000 человек.

Однако в центре города утром того же понедельника жизнь казалась почти нормальной. Правда, не ходили трамваи, по-прежнему оставались закрытыми большинство магазинов и люди толпились на Невском проспекте, но многие прохожие спешили по своим обычным делам, дети гуляли с нянями, а на катках Фонтанки конькобежцы, казалось, забыли само слово «революция».

Приведем впечатления англичанина, чей дом находился на углу Фонтанки и Невского проспекта – они типичны для многих жителей Петрограда в тот день. Утром он был по делам в дальнем конце города. Вернувшись домой к обеду, услышал неподалеку

винтовочные выстрелы. Поскольку накануне он не видел, что реально происходило, то воспринял их как отголоски неудавшегося, легко подавленного бунта рабочих. Около четырех часов дня, когда он уже сидел в своем офисе, его удивил сильный шум на соседней улице – крики, стрельба, вопли, выкрики «ура» и стрекот пулемета. Выйдя на балкон, он попал в другой мир – невероятной, почти смехотворной мелодрамы. С моста и из-за угла на его улицу с криками вторглась поразительная разнородная толпа солдат, гражданских, женщин, студентов. Солдаты – часть из них на грузовиках – держали винтовки наперевес, а к штыкам привязаны и подняты красные флаги; студенты размахивали обнаженными шашками, крестьянки пели, а за грузовиками катилась бурлящая толпа солдат, выкрикивающих одновременно: «Туда!», «Нет, туда!», «По той улице», «К арсеналу!», «К Думе!»

Сторонний наблюдатель не мог и представить себе, что это серьезная революционная армия или, если и революционная, едва ли она способна добиться серьезных результатов. Он наблюдал за ними со смехом. Увидев его, они прокричали ему что-то непонятное. И тут же пуля пробила окно за его спиной, заставив его понять, что он – не просто зритель, а участник этой мелодрамы. Осознав серьезность событий, он решил пойти в гостиницу «Астория», где остановились его друзья, чья судьба его беспокоила. Выйдя из дома, он сразу попал в орущую, выкрикивающую «ура!» толпу. На каждом углу происходили сцены, столь фантастично контрастировавшие с обычной жизнью, что он не мог поверить своим глазам. На одном углу огромный казак, стоя на стремянах, с красным носовым платком на фуражке, размахивая шашкой, призывал толпу: «За нами, следуйте за нами. Нужно сделать все, как во Франции. Граждане, это дело не только солдат. Да здравствует славная революция!» На другом углу солдаты развели костер и образовали своего рода пикет, отдыхая, поставив винтовки перед собой. Не было насилия, грабежа, пьяных. Англичанин зашел за угол знакомой улицы и внезапно увидел человека, лежащего на снегу лицом вниз, две женщины пронзительно кричали, припав к стене; он услышал треск пулемета на другой стороне канала. Пока он колебался, человек в гражданской одежде пробежал мимо него и внезапно, без звука упал лицом вниз и затих. Наступили сумерки и, казалось, в каждом темном углу скрывался пулемет.

Тогда он бросился бежать, спасая жизнь; у него больше не было сомнений в том, что революция – реальность.

В тот понедельник и многие другие осознали, что происходит, а настоящие революционеры в эти часы творили великие дела.

В 11 утра в понедельник подожгли здание суда, а перед ним построили баррикаду. Отряды солдат, рабочих и студентов направились в тюрьмы. Сначала открыли тюрьму предварительного заключения: освободили несколько политзаключенных и толпу уголовников. Затем на Выборгской стороне открыли «Кресты»: освободили и политических, и уголовников. Тюремю подожгли. Наконец, открыли пересыльную тюрьму.

Днем взбунтовался гарнизон Петропавловской крепости и после слабого сопротивления одного из нескольких полков, все еще сохранявших верность, он перешел на сторону восставших. Сожгли несколько полицейских участков – сгорело много полицейской документации.

Наконец, и, пожалуй, самое главное в этот богатый событиями день – захватили здание тайной (политической) полиции, эпицентр реакции, *гнездо провокаторов*, шпионов и немецких агентов, выбросили на улицу ее картотеку и документы и сожгли их. Разгром этой полиции для многих был важен с разных точек зрения. В глазах общества в эту паучью сеть пытались втянуть каждого честного патриота и политика. К этому месту относились с почти фанатической ненавистью, и вид сожженных полицейских документов означал для всей России и даже для всего мира за ее пределами, что русские стали свободным народом, и каковы бы ни были их ошибки в будущем, они, во всяком случае, будут действовать сами, в своих интересах, защищая свою свободу. Сожжение досье тайной полиции для России означало то же, что взятие Бастилии для Франции.

К сожалению, немало интересных документов погибло в этом костре, но многое удалось спасти, чтобы неопровержимо и полно доказать преступные небрежности, мошенничества и измену некоторых членов последнего правительства.

Тем временем события в Думе развивались очень быстро. Депутаты, которые всю ночь оставались на местах, несмотря на приказ о перерыве в работе Думы, теперь при виде бездеятельности правительства, обсуждали, какие шаги надо предпринять.

Родзянко, хотя до сих пор не получил ответ на первую телеграмму, послал царю вторую: «Положение ухудшается. Необходимо принять срочные меры, потому что завтра уже будет поздно. Наступил последний час, когда решается судьба Родины и династии».

Ответа непосредственно от царя не было, но к полудню Дума узнала, что император прислал телеграмму генералу Беляеву, в которой сообщал, что возвращается из Ставки, назначив командующим Иванова, и его приказы должны безоговорочно исполняться; царь же очень скоро вернется в Петроград с большим резервом войск для подавления бунта. Он добавил, что если бы произошли только гражданские бунты, можно было бы принять другие меры, но солдаты нарушили клятву верности императору и должны ответить по всем правилам жесткой дисциплины.

Это был первый знак, который царь подал с начала революции, и он не был рассчитан на умиротворение восставших.

Тем временем рано утром в понедельник господа Гучков и Родзянко посовещались и началось заседание Исполнительного комитета. В целом же первую часть понедельника многие члены Думы были в полной растерянности и слонялись, обсуждая волнующие события, полностью захваченные врасплох, как и большинство жителей Петрограда.

К Думе прибыла делегация восставших войск, чтобы выяснить позицию, занятую представителями народа. Господин Родзянко проинформировал делегацию о единодушной решимости Совета. Он сказал, что в настоящем критический момент отмечен уходом старой власти и приходом новой и Дума в этом процессе примет активное участие, но необходимо соблюдать порядок и спокойствие.

Одновременно председатель Думы представил делегатам текст телеграммы, посланной императору в Ставку, начальнику штаба Алексееву и трем командующим фронтам.

Около 1.30 первый небольшой отряд военных подошел к входу в Думу, сопровождаемый рабочими. К ним вышли заместители председателя – Керенский (трудолик) и Чхеидзе (социалист), им аплодировали. Они приветствовали войска, просили их сохранять порядок, предотвращать злоупотребления и твердо защищать дело свободы.

Керенский, который с этого момента выступает в этом кризисе как самый сильный, способный и дальновидный из всех депутатов, попросил солдат охранять Думу. Они соответственно заняли свои посты, и по распоряжению Родзянко обычную охрану Думы удалили, чтобы избежать неприятностей.

В 2.30 за закрытыми дверями прошла конференция – решили сформировать Исполнительный комитет со всеми полномочиями поддержания порядка и проведения дисциплинарных мер во время кризиса. Членами этого Комитета избрали 12 человек: Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милуков, Караулов, Львов и Ржевский.

И с этого момента на протяжении дня войска прибывали к Думе. Первую роту Преображенского полка привел гражданский еврей, видимо, революционер. Постепенно Думу заполнили солдаты, рабочие, евреи, студенты, девушки. Солдаты начали приводить полицейских, реакционных чиновников и разных мелких чинуш. Вечером произошли важные аресты, а именно – господина Щегловитова, председателя Государственного совета Российской империи, бывшего министра юстиции, одного из самых ненавидимых людей во всей России.

Наконец, к 11.15 вечера около Думы какой-то жалкого вида человек в запачканной грязью шубе заговорил со студентом:

– Вы студент?

– Да.

– Прошу вас отвести меня в Комитет Думы. Я – бывший министр внутренних дел, Протопопов. Я желаю благополучия своей стране и потому сдаюсь добровольно.

Так закончился насыщенный событиями понедельник, 12 марта. В течение этого дня вопрос, стоявший перед всеми, изменился. Он звучал уже не так, как вчера: «Это революция? Поддержат ли ее солдаты, чтобы это действительно была революция?» Вопрос получил ответ. Это *была* революция, и ее совершила армия в Петрограде. А что с армией за пределами? Что остальная Россия? Какие силы шли с царем? В понедельник вечером всем казалось, что следующий день принесет кровавейшую гражданскую войну в истории.

V. ДУМА. 13 марта [28 февраля]

Однако вопреки ожиданиям, центром событий следующего дня, вторника, стала Дума. Нападений извне, как все опасались, не последовало по одной простой причине – не на кого было нападать.

Войска, которые прибывали из соседних районов – Ораниенбаума, Стрельны и других мест – неизменно переходили на сторону революционеров. Они сразу же поднимали красный флаг и шли к Думе.

Тем временем в Думе становилось все яснее, что противостояния следует опасаться не столько извне, сколько изнутри – все более обострялся раскол между Исполнительным комитетом и Социал-демократической группой рабочих. Первый настаивал на конституционной форме правления, второй – на республике. Сами демократы разделились на умеренных и экстремистов, но их разделение в данный момент не казалось острым. За Думским комитетом были авторитет и репутация Думы, тогда как социал-демократов поддерживали массы с их революционным настроем и солдаты с их демократическим откликом.

Становилось все яснее, что борьба за форму правления – конечная цель революции, исход которой, возможно, решится в русской истории через много лет. Но большинство уже сознавало, что в ситуации, когда немцы уже на границах, а монархическая партия – за «воротами», нет времени для дальнейшего гражданского раскола, способного породить Русскую коммуну – нужен компромисс. Два социалиста – Чхеидзе и Керенский – служили связными между Думой и Социал-демократической группой. Думский комитет привлек на свою сторону князя Львова, главу Земства, человека, которого все уважали, им восхищались, ему доверяли во всей России. В последние дни его имя было у всех на устах, и он приехал из Москвы, чтобы помочь Думе. Теперь Исполнительным комитетом Думы руководили Гучков, Струве и князь Львов; Родзянко по-прежнему много значил для решения проблем внешней политики, но внутри Думы оказался на вторых ролях.

Группа рабочих сразу выдвинула демократические требования. Думская группа надеялась установить умеренную систему Конституционного правления, но влияние Рабочей группы росло

с каждым часом и усиливалось с прибытием новых войск из глубин страны, присягавших на верность Думе. Она стала центром объединения этих войск, но, добравшись до нее, они, в сопровождении ликующих рабочих, быстро переходили под крыло социал-демократов.

Невозможно адекватно передать, какой была Дума в этот вторник утром и днем. Она являла собой абсолютный вавилон агитаторов, амбиций, споров и союзов. На трибуне господствовали агитаторы-социалисты, целый день выступавшие перед солдатами. Поначалу Родзянко и другие члены Думы пытались противостоять им, но их голоса затерялись, тогда как голоса социалистов звучали все громче и громче. Выступали все – солдаты и рабочие, евреи, биржевики, торговцы и адвокаты.

Все это время прибывали и убывали полки, ликуя, крича и размахивая красными флагами. Пространство перед Думой было запружено автомобилями, бронеавтомобилями, пулеметами, запасами провианта, бумаги, муки, хлеба, буфетами для кормления солдат и т.д. Возникали разные комитеты – комитет по снабжению, паспортный комитет, комитет журналистов, комитет студентов, комитет помощников женщин. Можно было видеть, как солдаты выбирают своих представителей, как вводят заключенных, звенят колокольчики, люди поют песни. Поразительное зрелище, длившееся практически с этого вторника до субботы; казалось, невозможно восстановить хоть какой-то порядок.

В течение дня в Думу приходили многие офицеры – предлагали помощь. Полковник Энгельгардт стал председателем думского Военного комитета и сразу взялся за наведение порядка в военном делах. В этот день произошло несколько важных арестов, прежде всего господ Штюмера, Курлова и митрополита Питирима; к позднему вечеру во вторник арестовали так много членов старого правительства, что оно практически перестало существовать.

За пределами Думы произошло лишь два значительных события. Одно – захват революционными войсками Адмиралтейства. Это здание, в котором располагались отделы Морского министерства, играло важную роль как последний оплот старого режима. С началом революции генерал Хабалов, командующий войсками округа, послал в это здание части всех видов войск. Во дворе

Адмиралтейства установили 14 пушек и 12 пулеметов. Там появились отряды казаков, конной полиции и др.

Революционные войска осаждали Адмиралтейство почти весь день, правительственные войска отвечали им непрерывным огнем из винтовок и пулеметов. Борьба продолжилась ночью. Утром 13 марта морской министр, адмирал Григорович получил ультиматум: если через 20 минут Адмиралтейство не сдастся, его разрушат огнем тяжелой артиллерии из Петропавловской крепости, захваченной Кексгольмским полком. Морской министр проинформировал об этом Хабалова и потребовал время отвести свои войска из Адмиралтейства, поскольку разрушение здания приведет к потерям, невозстановимым для флота. Хабалов согласился и приказал прекратить огонь. Войска, которыми он командовал, сдались. Генерала арестовали вместе с его штабом, а на воротах и дверях Адмиралтейства повесили объявление: «Под защитой Государственной думы».

Другое событие утром во вторник – нападение на гостиницу «Астория». Долгое время на особых условиях там останавливались офицеры разных родов войск, в том числе из армий союзников. Как заметил один русский в понедельник вечером – как раз было время ужина: «Удивляюсь, что они не идут туда. Извозчик в трактире выкладывает два рубля пятьдесят за отвратительный ужин. А там за два пятьдесят – чудесный ужин, если хотите, с вином». Однако нападение солдат на «Асторию» произошло по более серьезным причинам, чем желание пограбить. Во вторник в 8.45 утра группа солдат с красным флагом и играющим оркестром вошла в гостиницу. Вдруг раздались выстрелы, совершенно безошибочно – с крыши «Астории». Солдаты мгновенно разнесли высокие окна от пола до потолка, и гостиница оказалась в их власти. Последовала неразбериха. Одной даме пуля попала в шею; генерала, который стрелял в солдат, убили. Английские офицеры, спустившиеся по лестнице вниз, заявили протест. «Прошу прощения, – вежливо ответил им солдат, – но это наше дело». Нельзя переоценить вежливость по отношению ко всем офицерам-союзникам. Они, особенно англичане, могли делать что хотят; женщины и слуги в гостинице, увидев это, заявили, что находятся под английским покровительством.

Практически не было грабежей, солдаты держались очень предупредительно, хотя для них роскошь и расточительность, царившие в «Астории», таили в себе большой соблазн. Когда солдат вошел в комнату к одной даме, та бросилась к нему с горстью денег в руках. «Зачем это? – сказал он. – У нас здесь совсем другая работа».

Ни один англичанин, бывший в тот вторник свидетелем всего происходившего в гостинице «Астория», не забудет впечатления, которое русские солдаты произвели на них. «Люди, которые могут вести себя так в такой день, – сказал кто-то, – способны завоевать мир».

Столкновения в городе в течение четверга свелись к перестрелке между полицией и солдатами. Как теперь выяснилось, пулеметы, которые должны были быть в распоряжении Русской армии, были присвоены Протопоповым для полиции и еще несколько недель назад установлены ею на крышах домов в Петрограде. Говорят также, он предлагал полицейским по 100 рублей за каждый день обороны. Правда это или нет, но на крышах бесчисленных петроградских домов стоят пулеметы и стрельба продолжалась в течение вторника и среды.

В целом же вполне очевидно, что в Петрограде во вторник к вечеру революция завершилась. Старое правительство перестало существовать, а вся армия в Петрограде и его окрестностях перешла на сторону революции. Тем не менее ощущалась большая тревога относительно будущего. Царя ждали в среду утром. Борьба между социал-демократами и Думой нарастала с каждым днем. Из Финляндии ожидали монархически настроенные войска. На самом деле все складывалось так удачно, настолько превосходило самые безумные надежды, что нельзя было не думать о возможности резкого возвращения на круги своя. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

VI. Конец революции

(среда, 14 марта до пятницы 16 марта [1–3 марта])

Среда, 14 марта. Цели революции теперь стали полностью политическими. Сколько бы войск ни привел с собой генерал Иванов, было ясно, что он столкнется с хорошо организованным

сопротивлением. Пришли вести о том, что Москва приняла революцию без борьбы.

Теперь наиболее драматичной стала борьба между социал-демократами и Исполнительным комитетом. Некоторое представление о целях и надеждах социал-демократов дают фрагменты прокламаций, которые они распространили в разное время в минувшие три дня:

«Народу! Наконец, наступило долгожданное время, когда великое дело свободы почти осуществлено. Мы дорого заплатили за это. Многие из наших товарищей убиты и ранены, многие отдали жизни за народное дело – да будет священной память о них!

Те из нас, кто остался живыми, должны знать и помнить, что враг еще не обращен в бегство; в Зимнем дворце, этом старом гнезде царизма, злейшие враги народа собрали вокруг него горсточку солдат, которые не понимают, ни что они делают, ни против кого выступают, когда стреляют в народ...

Лучше умереть за свободу, чем остаться в постыдном рабстве у дома Романовых.

Да здравствует великая революционная Россия!»

А вот прекрасная прокламация:

«Солдатам!

Солдаты, народ России благодарен вам за защиту дела свободы.

Вечная память павшим!

Солдаты, некоторые из вас все еще колеблются, стоит ли присоединиться к восстанию ваших и наших товарищей.

Солдаты, вспомните о своей тяжелой жизни в деревнях, на фабриках, в мастерских, где правительство душило и угнетало вас. Присоединяйтесь к народу, и он даст вам и вашим семьям новую свободную жизнь и счастье.

Солдаты, если вы ушли из казарм, идите к Думе; там вы найдете товарищей и разделите их радости и печали.

Солдаты, не стреляйте на улицах наугад. На крышах домов и в частных квартирах прячутся остатки полицейских отрядов, черносотенцы и другие мерзавцы. Попытайтесь настичь их прицельной стрельбой или целенаправленной атакой.

Солдаты, везде сохраняйте порядок. Создавайте отряды и занимайтесь всеми военными делами, направленными на поражение врага.

Солдаты, не позволяйте хулиганам издеваться над мирными гражданами. Не допускайте ограбления магазинов и частных квартир. Такого не должно быть.

За всей информацией и приказами обращайтесь в Думу, где постоянно находится Военная комиссия Петрограда.

Будьте тверды и непреклонны в своей борьбе за свободу насмерть.

Лучше смерть, чем победа врага. Россия никогда не забудет жертвы, ваши дела и вашу честь. Да здравствует свобода!»

А вот некоторые фрагменты прокламации, более сомнительного свойства:

(1) Приказам Военного комитета следует подчиняться, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и предписаниям Совета рабочих и солдатских депутатов.

(2) В частной жизни отменяется стойка смиренно и обязательное приветствие во внеслужебное время.

(3) Также отменяются обращения к офицерам «Ваше Превосходительство», «Ваша Честь» и т.д., они заменяются обращением «господин генерал» и т.д.

(4) Запрещается грубое поведение по отношению к солдатам всех воинских званий и обращение к ним на «ты». А также во всех случаях недопонимания, конфликта между офицерами и солдатами, последние должны докладывать о них в комитеты подразделений.

Из этих фрагментов можно понять, как далеко простираются амбициозные цели социал-демократов. В течение среды они делали все возможное, чтобы расширить свои требования. Тем не менее благодаря разумной дальновидности таких людей, как Керенский, были предприняты некоторые меры по созданию Временного правительства, а пришедшие извне новости укрепили это намерение.

Ожидали, что царь прибудет из Ставки в Царское Село утром в эту среду. Однако стало известно, что царский поезд остановили на небольшой станции Бологое; сначала будто солдаты, а потом выяснилось — комитет рабочих разобрал рельсы на пути царского поезда.

Узнав об этом, Родзянко немедленно послал великому князю Михаилу манифест с просьбой уговорить императора подписать его. По этому манифесту император даровал Конституцию и отказывался от права формировать кабинет министров. В этом, первом манифесте не было ни слова об отречении царя от власти.

В тот же день позднее господин Гучков поехал к царю и предложил отречься в пользу сына. Царь ответил: «Я не расстанусь с сыном», и, в конце концов, согласился отречься, если сына исключат из ряда престолонаследников. Гучков вернулся и рассказал об этом, тогда он и господин Милюков пришли к выводу, что Трон надо предложить великому князю Михаилу.

Весь вечер в среду прошел в живых и зачастую резких спорах о свержении царя с престола.

Четверг, 15 марта [2 марта]. Утром в четверг город был совершенно спокоен. Но работали только маленькие магазины, трамваи еще не ходили. Во многих отношениях это был революционный город. Женщины и дети прикрепили к одежде красные банты. Повсюду развевались красные флаги. Художники и музыканты уже пылко обсуждали чудесную новую эру, которая преобразит мир искусства. В городе царил раскол из-за спора о форме правления — конституционной или демократической. Но всех объединяло чувство победы революции, причем почти без крови (считалось, что погибло около 4000 человек), и сознание того, что лучше все что угодно, чем новые беспорядки. Солдаты мало что понимали в реальной ситуации. Слышали, как один солдат сказал другому: «Республика! Конечно, у нас должна быть республика, но нужен хороший царь, который бы присмотрел за ней». Демократы шумно требовали немедленных всеобщих выборов; Дума считала, что всеобщие выборы в данный момент наверняка приведут к победе немцев. Окончательным стало решение: «Будем довольны тем, чего добились в настоящем; у нас будет республика».

Особо стоит отметить — почти никто не горевал. Русский всегда сочувствует «побежденной стороне», но тогда даже не возникал вопрос, кто же «побежденная сторона». К Щегловитову и Протопопову толпа относилась с добродушным презрением.

Однако в четверг после полудня всех взбудоражила речь в Думе господина Милюкова. В ней он назвал имена новых министров: князя Г.Е. Львова, премьера и министра внутренних дел (здесь восторжествовала поразительная справедливость, потому что его предшественник на этом посту был его главным притеснителем); А.Ф. Керенский (ему только 32 года), министр юстиции; сам Милюков, министр иностранных дел; Гучков, министр

военный военно-морской; Шингарёв, министр сельского хозяйства. Затем он продолжил:

«Я слышу, меня спрашивают: “Кто вас выбрал?” Нас никто не выбирал, ибо, если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власти из рук врага. Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, враг успел бы организовать и победить и вас, и нас. Нас выбрала русская революция. Так посчастливилось, что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которых пала старая власть. Но мы слишком хорошо помним, что сами мы еще недавно защищали начала ответственности власти перед народными избранниками.

Мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть других людей, более заслуживающих их доверия. Поверьте, господа, власть берется в эти дни не из слабости власти. Это не награда и не удовольствие, а заслуга и жертва. И как только нам скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдем с благодарностью за данную нам возможность. Но не отдадим этой власти, когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда, упавшая из наших рук, она может достаться врагу».

Речь сопровождалась бурными аплодисментами. Вот наиболее спорная часть этой речи: «Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей».

После этого началась волна возмущения, и Милюков был вынужден признать, что говорил в данном случае от имени лишь части Временного правительства.

В четверг к вечеру стало казаться, что последствия этой речи могут быть крайне серьезными. Однако вновь ситуацию спас господин Керенский. Пришли новости, что царь настаивал на отречении, как своем, так и своего сына. Императрица, которая ухаживала за заболевшими детьми, вышла к революционным войскам и сказала: «Теперь я не императрица, а просто сестра милосердия, ухаживающая за своими больными детьми». Но вечером

в четверг казалось, что едва ли предложение Милюкова могло быть рассмотрено. Керенский использовал это как преимущество и, наведавшись в Совет рабочих, занятый жаркими спорами, вскочил на стол и закричал: «Товарищи, я назначен министром юстиции. Нет более горячего республиканца, чем я; но мы должны выждать. Нельзя сделать все сразу. Мы получим республику, но нам нужно выиграть войну. Тогда мы можем сделать, что захотим»³.

Так он повлиял на ход событий. Демократы проголосовали за поддержку Временного правительства до конца войны. За это проголосовало значительное большинство: 1000 против 15.

Когда в пятницу утром стало известно, что царь отрекся в Пскове, а великий князь Михаил заявил, что будет ждать наследования трона до выражения воли народа в его пользу – однажды и навсегда, стало ясно, что русская революция завершилась.

Здесь не место говорить о многих обширных и сложных проблемах, порождаемых этим кризисом. Последствия этих дней 8–16 марта являются основополагающими для событий будущих веков.

Свидетелю же этих дней следует сделать один комментарий. Сдержанность, выдержка, дисциплина, проявленные русскими людьми в эту неделю, были гораздо большими, чем мог ожидать самый оптимистичный их сторонник. То, что люди, которые месяцами страдали от жестокой и необъяснимой нехватки продовольствия, у которых отняли все гражданские свободы, которых вынуждали отказываться от каждого министра, проявлявшего о них подлинную заботу, а затем в течение четырех дней их расстреливала полиция, насчитывавшая, по меньшей мере, 28 000 человек, то, что эти люди, когда наступил час мщения, не допустили насилия и контролировали в себе любой алчный импульс и склонность к незаконному присвоению, всегда будет одной из великих страниц истории.

*Перевод с англ. и публикация
Т.Н. Красавченко*

-
- ¹ Перевод (с незначительными сокращениями) публикуется по книге: *Hart-Davis R. Hugh Walpole. A biography.* – L.: Macmillan & Co., 1952. – Р. 449–469, где он напечатан с разрешения британского Министерства иностранных дел.
- ² В отчете даты приводятся по принятому в Европе григорианскому календарю; Россия тогда жила еще по юлианскому календарю, поэтому в квадратных скобках указаны даты, принятые в России тогда. – *Прим. пер.*
- ³ Цит. по: *Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата 1910–1918* / Пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2006. – С. 251.

ИЗ ИСТОРИИ ЦИТАТ

К.В. Душенко

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ГОГОЛЕВСКОЙ «ШИНЕЛИ»

Известно, что эта фраза, обычно приписываемая Достоевскому, появилась в серии статей французского критика Эжена Вогюэ «Современные русские писатели», опубликованных в парижском «Двухмесячном обозрении» («Revue des Deux Mondes») в 1885 г., а затем вошедших в книгу Вогюэ «Русский роман» (1886).

Уже в начале первой из этих журнальных статей («Ф.М. Достоевский») Вогюэ замечает, пока еще от себя: «...между 1840 и 1850 годами все трое [т.е. Тургенев, Толстой и Достоевский] вышли из Гоголя [sortis de Gogol], творца реализма»¹. В той же статье читаем: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» [Nous sommes tous sortis du Manteau de Gogol], – справедливо говорят русские писатели»². Наконец, в статье о Гоголе, опубликованной в ноябрьском номере журнала, Вогюэ дает третью формулировку: «Чем больше я читаю русских, тем лучше я вижу истинность слов, которые мне говорил один из них, тесно связанный с литературной историей последних сорока лет: “Все мы вышли из гоголевской “Шинели”»»³.

В первом переводе на русский (1887) изречение передано путем косвенной речи: «Русские писатели справедливо говорят, что все они “вышли из “Шинели” Гоголя»»⁴. Но уже в 1891 г. в биографии Достоевского, написанной Е.А. Соловьевым для серии Павленкова, появляется канонический русский текст изречения: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”», – причем здесь оно безоговорочно приписано Достоевскому⁵.

Вопрос об атрибуции фразы обсуждался в статье С. Рейсера 1968 г. и отклике на нее С. Бочарова и Ю. Манна⁶. Рейсер считал, что это «суммарная формула», созданная самим Вогиюэ в результате бесед с разными русскими писателями. С. Бочаров и Ю. Манн склонялись к мнению об авторстве Достоевского.

Мы полагаем, что вопрос об авторстве изречения неразрывно связан с вопросом о его форме. До перевода статьи Вогиюэ оборот «Мы вышли из...» в значении: «Мы вышли из школы (или: принадлежим к школе, направлению) такого-то», насколько нам известно, не встречался по-русски. Зато мы находим его в классическом произведении французской литературы, причем в форме, весьма близкой к формуле Вогиюэ. В романе Флобера «Госпожа Бовари» (1856) читаем: «Он [Ларивьер] принадлежал к великой хирургической школе, вышедшей из фартука Биша (*sortie du tablier de Bichat*)»⁷. Имелся в виду хирургический фартук знаменитого анатома и хирурга Мари Франсуа Биша (1771–1802). Вслед за Флобером это определение неизменно цитируется во Франции, когда речь идет о французской хирургической школе, а нередко и о французской медицине вообще.

Переводчикам «Госпожи Бовари» оборот «*sortie du tablier de Bichat*» представлялся настолько необычным, что «фартук Биша» они просто выбрасывали. В первом (анонимном) русском переводе (1858): «Ларивьер принадлежал к великой хирургической школе Биша»⁸. В переводе А. Чеботаревской под редакцией Вяч. Иванова (1911): «Ларивьер был одним из светил славной хирургической школы Биша»⁹. В «каноническом» советском переводе Н.М. Любимова (1956): «Ларивьер принадлежал к хирургической школе великого Биша»¹⁰. То же мы видим в переводах на английский язык.

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что формула «выйти из (некоего предмета одежды)» в значении «принадлежать к школе такого-то» была создана Флобером и два десятилетия спустя использована де Вогиюэ применительно к Гоголю. Нет оснований не верить французскому критику, что русские писатели в беседах с ним говорили нечто подобное. Но конкретное словесное оформление этой мысли едва ли принадлежало русскому автору.

Так что прав был скорее Рейсер, а не его оппоненты: перед нами «суммарная формула», созданная самим Вогюэ (теперь мы можем добавить: по флюберовскому образцу).

-
- ¹ Revue des Deux Mondes. – Paris, 1885. – № 1. – P. 312.
 - ² Ibid. – P. 320.
 - ³ Revue des Deux Mondes. – Paris, 1885. – № 10. – P. 258. (Перевод С. Бочарова и Ю. Манна, которые, однако, считали, что эта фраза появилась лишь в 1886 г. в книге Вогюэ «Русский роман».)
 - ⁴ Вогюэ Э. Современные русские писатели: Толстой – Тургенев – Достоевский. – М., 1887. – С. 16 (3-я паг.).
 - ⁵ Соловьев Е.А. Ф.М. Достоевский: Его жизнь и литературная деятельность. – СПб., 1891. – С. 89.
 - ⁶ Рейсер С. «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» // Вопросы литературы. – М., 1968. – № 2. – С. 184–187; Бочаров С., Манн Ю. Все мы вышли из гоголевской «Шинели». – Там же. – 1988. – № 6. – С. 183–185.
 - ⁷ Flaubert G. Madame Bovary: Moeurs de province. – Paris, 1858. 2-me partie. – P. 449.
 - ⁸ Библиотека для чтения. – СПб., 1858. – № 8. Приложение. – С. 201.
 - ⁹ Флобер Г. Госпожа Бовари. – СПб., 2008. – С. 348.
 - ¹⁰ Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. – М., 1971. – Т. 1. – С. 352.

ЗАМЕТКИ КОТА УЧЁНОГО

КОТ УЧЁНЫЙ О СОВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Недавно К. У. прочитал неизданные письма замечательного нашего философа и критика Ивана Киреевского. Он в молодости, в 24 года, поехал почти на год в Германию, где слушал лекции Гегеля, Шеллинга и других профессоров Берлинского университета, встречался и беседовал с ними у них дома. Так бывало в прежние времена.

Коммунисты славят советское образование, не вдаваясь в иные особенности его. А для некоторых эти особенности бывают особенно важны. Закончив сразу после окончания войны школу с золотой медалью (тогда это было впервые и золотые медали ценились), К. У. не смог поступить в вузы Москвы, в МГУ, потому что был в детстве в немецкой оккупации. Не он один. Полстраны было в оккупации у немцев. Не помогло и ходатайство академика Н.Д. Зелинского. Установка была дана свыше и ее не преjdeши.

В Ленинграде в те годы (еще до Ленинградского дела, после которого мороз покрепчал) люди не были столь партийно строги и жертву оккупации приняли в Ленинградский университет.

Перейдя со временем из ЛГУ в МГУ, К. У. окончил университет и писал диссертацию по английской литературе. Поехать слушать лекции в Оксфорде или Кембридже он тогда, конечно, не мог. Хороший знакомый, коммунист, прошедший войну, объяснил тогда К. У.-му, почему его не посылают ни в Оксфорд, ни в Кембридж:

«Когда в Англии будет советская власть, ты как специалист будешь руководить литературным делом в Англии (бедные

британцы!). Ну, а пока там капитализм, идеализм, ехать еще рано, не обязательно. Да и чему там научишься?» Такие настали времена.

Вот почему К. У., занимаясь английской литературой, попал в Англию только в наше время по частному приглашению. В Англию ездить теперь легко, если есть деньги. Но ожидать деньги для работы научной молодежи не приходится. В государстве наука ныне в забытии по сравнению с временами советскими.

ПУШКИН И 100-ЛЕТИЕ 1917 ГОДА

Известно, что Пушкин писал П.Я. Чаадаеву: «...ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

К. У. тоже не хотел бы иметь другую историю России. В ней был слабовольный царь, оставивший во время Первой мировой войны страну на разгром уголовникам-большевикам, подбравшим валявшуюся власть на целых семь десятилетий. Конец коммунистическому беспределу положили два выходца из того же осинового гнезда большевизма, оказавшиеся в нужном месте и ограбившие народ благодаря олигархам. В новом веке установился в стране государственный порядок, но коррупция во власти захлестнула всё.

Вот такой нам Россию Бог дал ныне.

Пушкин поставил вопрос русской истории таким образом раньше других.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Бирюкова *Маргарита Анатольевна*, писатель, библиограф, краевед. Окончила МХТИ им. Д.И. Менделеева (1992). Совместно с А.Н. Стрижёвым опубликованы библиографические разыскания о незаслуженно забытых русских писательницах Евгении Тур и М.Ф. Львовой-Ростовской.
rittabiruikova@mail.ru

Душенко *Константин Васильевич* (р. 1946), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела культурологии ИНИОН РАН. Составитель справочников цитат и крылатых выражений, антологий афоризмов: «Мастера афоризмов от Возрождения до наших дней» (3-е изд., 2006), «Цитаты из всемирной литературы от Гомера до наших дней» (2007), «Цитаты из русской литературы от “Слова о полку...” до Пелевина» (2-е изд., 2007), «Всемирная история в изречениях и цитатах» (2-е изд., 2008), «Большой словарь цитат и крылатых слов» (2011), «Большая книга афоризмов» (2012), «Большой словарь латинских цитат и выражений» (в соавт., 2013), «Последние слова знаменитых людей: Легенды и факты» (2016) и др.
kdushenko@nlm.ru

Едошина *Ирина Анатольевна*, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой теории и истории культур Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. Специалист в области истории и теории театра, театральный критик. Автор книг: «А я душа театра...» (2013) и др.
entechia@ksu.edu.ru

Красавченко Татьяна Николаевна, доктор филол. наук, ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения ИНИОН РАН. Область научных интересов: английская литература и литературная критика, литература русского зарубежья, имагология, сравнительное литературоведение. Автор книги «Английская литературная критика XX в.» (1994); составитель, автор послесловия и комментариев в двухтомнике Т.С. Элиота «Избранное: Религия, культура, литература» (2004); составитель, автор предисловия в собрании сочинений Г. Газданова: В 5 т. (2009); составитель и ответственный редактор двухтомника В.Б. Земскова: «О литературе и культуре Нового Света» (2014), «Образ России в современном мире и другие сюжеты» (2015); составитель, автор предисловия в кн.: Варшавский В. Ожидание: проза, эссе, литературная критика (2016).

tatianakras@mail.ru

Курабцев Василий Леонидович (р. 1950), доктор филос. наук, профессор кафедры философии Московского государственного областного университета. Автор монографий: «Хижина в джунглях. Философские размышления и афоризмы» (2000), «Миры свободы и чудес Льва Шестова: жизнь мыслителя, “странствования по душам”, философия» (2005), «Платон: агатофилософия» (2016).

kurabtsev@mail.ru

Криволапова Елена Михайловна, доктор филол. наук, профессор кафедры литературы Курского гос. ун-та. Сфера научных интересов – русская литература конца XIX – начала XX в., автодокументальная литература. Автор книг: «“Преодолеть без утешенья”: Зинаида Гиппиус и ее время» (2006), «Литературный дневник “русской смуты”: 1917–1919» (2012), «Дневник круга писателей В.В. Розанова (1893–1919)» (2012), «“Вечные друзья” и оппоненты В.В. Розанова. По материалам дневников русских писателей» (2016).

Elena_vroblevska@mail.ru

Махлин Виталий Львович (р. 1947), доктор филос. наук, профессор кафедры философии МПГУ, член-корреспондент Академии гуманитарных исследований при Институте философии РАН, член

редколлегии журнала «Вопросы литературы». Автор монографий «Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии» (2009), «Большое время: Подступы к мышлению М.М. Бахтина» (2015), многочисленных статей и переводов. Исследователь творчества М.М. Бахтина.
vitmahlin@mail.ru

Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), доктор филол. наук, гл. научный сотрудник ИНИОН РАН. Автор 12 монографий по американистике и истории русской литературы.
anikolyukin1928@yandex.ru

Олейник Виталий Трофимович (р. 1946), кандидат филол. наук, переводчик; сотрудник издательства «Весь мир», медиакомпании Hearst Shkulev Media. Автор статей по английской и русской литературе, литературной критике.
oleynik4646@bk.ru

Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН. Автор 14 монографий, среди которых: «Политическая культура пореформенной России» (1994), «Русская Система» (в соавт., 1995), «Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети XX столетия» (1997), «Русская политика в ее историческом и культурном отношении» (2006), «Два века русской мысли» (2006), «Русская политическая традиция и современность» (2006), «Русское настоящее и советское прошлое» (2014).

Ранчин Андрей Михайлович (р. 1964), доктор филол. наук, профессор МГУ, специалист по древнерусской литературе и литературе Нового времени. Автор монографий: «На пиру Мнемозины: (Интертексты Бродского)» (2001), «Вертоград Златословный» (2007), «Борис и Глеб» (2012) и др.
aranchin@mail.ru

Стрижёв Александр Николаевич (р. 1934), писатель, библиограф. Сфера научных интересов – библиография русских писателей, в том числе Е.И. Замятина, Л.Ф. Зурова, В.К. Тредиаковского,

М.М. Хераскова, А.С. Шишкова, А.Ф. Лабзина и многих других. Научно-исследовательские работы собраны в кн.: Собрание сочинений: В 5 т. (2007). Совместно с М.А. Бирюковой опубликованы разыскания о Евгении Тур и М.Ф. Львовой-Ростовской.
astrizhev.mbiriukova@mail.ru

Федякин Сергей Романович (р. 1954), кандидат филол. наук, доцент кафедры новейшей русской литературы Литературного института им. А.М. Горького, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына. Автор книги «Русская литература конца XIX – начала XX века и первой эмиграции» (1998) (в соавторстве), «Художественная проза Василия Розанова. Жанровые особенности» (2014). Область научных интересов: русская литература, русская музыка.
serofed@yandex.ru.

Хлебников Георгий Владимирович (р. 1949), кандидат филос. наук, заведующий Отделом философии ИНИОН РАН. Область научных интересов: история философии, теология, культура, литература. Автор книг: «Аристотель Онассис» (1998), «Античная философская теология» (2014).
gwvoloshin@mail.com

Юшкевич Михаил Андреевич (р. 1984), аспирант кафедры философии, Институт социально-гуманитарного образования МПГУ (Москва).
mickle-yoush@yandex.ru

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2017 – № 41

Рукописи представляются в редакцию в печатном и электронном виде. К тексту статьи прилагаются: краткая аннотация на русском и английском языках и список ключевых слов, а также справка об авторе с указанием ученой степени, должности, места работы и контактной информации. Публикуемые рукописи рецензируются.

**Корректор М.П. Крыжановская
Компьютерная верстка Н.М. Власова**

Свидетельство о регистрации журнала № 003610 от 25.02.2000
Адрес редакции: 117418, Москва, Нахимовский просп., 51/21,
ИНИОН РАН. Отдел литературоведения
liter@inion.ru

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.0.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 31/VII-2017 г. Формат 60х84/16
Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 20,5 Уч.-изд. л. 16,5
Тираж 400 экз. Заказ № 45

**Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел./Факс +7(925) 517-3691
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9